

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

---

ВОПРОСЫ  
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1983

## СОДЕРЖАНИЕ

Панфилов В. З. (Москва). Карл Маркс и основные проблемы современного языкознания . . . . .	3
Ярцева В. Н. (Москва). Проблема вариативности и взаимоотношение уровней грамматической системы языка . . . . .	17
Михайловская Н. Г. (Москва). О теоретических и практических задачах изучения русского языка как средства межнационального общения . . . . .	25

### ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Адмони В. Г. (Ленинград). Нулевая связка, связочный глагол и грамматика зависимостей . . . . .	34
Спивак Д. Л. (Ленинград). Язык в условиях измененных состояний сознания . . . . .	43
Гвенцадзе Ц. А. (Тбилиси). Консонантность и вариативность фонотактических элементов . . . . .	50
Файзов М. (Душанбе). К вопросу о количественной характеристике гласных в современном таджикском литературном языке . . . . .	59
Локшанова Л. М. (Москва). О структуре грамматической категории наклонения в датском языке . . . . .	70

### МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Алпатов В. М. (Москва). К типологической характеристике айнского языка . . . . .	81
Кямилев С. Х., Мельников Г. П. (Москва). Проблема минимальных смыслоразличительных и значащих единиц в языках семитского строя . . . . .	87
Федорова Л. Л. (Москва). О двух референтных планах диалога . . . . .	97
Гриनावецкис В. З. (Вильнюс). К вопросу о развитии вокализма говоров литовского языка . . . . .	102

### КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

#### Обзоры

Александрова О. В., Минаева Л. В., Миндрул О. С. (Москва). Основные аспекты изучения языка на XIII Международном конгрессе лингвистов . . . . .	110
Лейчик В. М. (Москва). Новое в советской науке о терминах . . . . .	118

#### Рецензии

Федоров А. И. (Новосибирск). <i>Филин Ф. П.</i> Истоки и судьбы русского литературного языка . . . . .	128
Слюсарева Н. А. (Москва). <i>Svoboda A.</i> Diatheme . . . . .	130
Домашнев А. И. (Ленинград). <i>Маковский М. М.</i> Английские социальные диалекты (онтология, структура, этимология) . . . . .	134
Алексеев А. А., Крючкова Т. Б. (Москва). <i>Kommunikation und Sprachvariation</i> . . . . .	138
Мячинская Э. И. (Ленинград). <i>Воронкова Г. В.</i> Проблемы фонологии . . . . .	140

### НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки . . . . .	143
--------------------------------	-----

### РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,  
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,  
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева,  
В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),  
О. Н. Грубачев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,  
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78  
Зав. редакцией И. В. Соболева

## К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ КАРЛА МАРКСА

ПАНФИЛОВ В. З.

### КАРЛ МАРКС И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В процессе создания К. Марксом и Ф. Энгельсом *диалектического материализма* и исторического *материализма* (концепции *материалистического* понимания истории), включая диалектико-материалистическую гносеологию, проблемы сущности, природы языка, его места среди общественных явлений, взаимоотношения языка и мышления, языка и сознания, его роли в познавательной деятельности человеческого мышления, его исторического развития и многие другие занимали большое место. Ими проводились также и исследования конкретных языковых материалов, имеющие значение как собственно лингвистическое, так и для решения многих философских вопросов<sup>1</sup>.

Философия диалектического и исторического материализма и концепция классиков марксизма-ленинизма о языке как ее органическая составная часть представляет собой философскую основу современного советского языкознания.

«Марксизм — не догма, — пишет Ю. В. Андропов, — а живое руководство к действию, к самостоятельной работе над теми сложными задачами, которые ставит перед нами каждый новый поворот истории. И чтобы не отстать от жизни, коммунисты должны во всех направлениях двигать и обогащать учение Маркса, творчески применять на практике разработанный им метод материалистической диалектики, по праву называемой живой душой марксизма» [18].

Творческое применение марксизма-ленинизма является непременным условием успешного решения коренных проблем современного теоретического языкознания; вместе с тем это в свою очередь должно способствовать дальнейшей разработке марксистско-ленинской теории познания, более углубленному и конкретному исследованию категорий диалектического и исторического материализма.

При этом лингвистам, как и специалистам в других областях знания, следует иметь в виду, что «коммунистам не пристало прельщаться хлесткими фразами всевозможных „улучшателей“ Маркса, цепляться за фабрикаты буржуазной науки. Не размывать марксистско-ленинское учение, а, наоборот, бороться за его чистоту, творчески развивать его — вот путь к познанию и решению новых проблем» [18].

Марксистско-ленинская философия, включая учение классиков марксизма-ленинизма о языке, имеет также основополагающее значение для критического анализа таких течений современной буржуазной философии, как лингвистическая философия, герменевтика и экзистенциализм,

<sup>1</sup> Эта сторона творческого наследия К. Маркса, Ф. Энгельса, а также В. И. Ленина получила освещение в ряде работ как в советском языкознании, начиная с 30-х годов [1—9], так и в некоторых исследованиях, изданных в социалистических странах в 70-е и 80-е годы [10—17]. В настоящее время группа философских проблем Института языкознания АН СССР подготавливает монографию «Классики марксизма-ленинизма о языке», включающую в себя корпус их высказываний о языковых проблемах, введение, в котором излагается их концепция языка, комментарии и справочный аппарат.

а также ряда смыкающихся с ними направлений в современном языкознании (неогумбольдтианства, структуральной лингвистики, хомскианства и других) и семиотике<sup>2</sup>.

Преодолевая идеалистический подход в понимании процессов исторического развития человеческого общества, согласно которому его определяющим фактором является развитие идей, сознания, «духа», абсолютной идеи, и в противоположность ему К. Маркс и Ф. Энгельс выдвинули положение о том, что таким решающим в конечном счете фактором является развитие материальных условий жизни человеческого общества. Это положение было сформулировано ими уже в «Немецкой идеологии», в ходе критического анализа философии неогегельянцев, сводивших историческое развитие человеческого общества и его определяющие факторы к борьбе идей, к развитию сознания, «духа». К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривают в этой связи четыре основных момента материальной жизни человеческого общества: 1) производство средств, необходимых для удовлетворения элементарных потребностей людей в еде, питье, жилище и т. п.; 2) возникновение новых потребностей людей в результате удовлетворения этих элементарных потребностей; 3) производство самих людей и формирование отношений между мужем и женой, родителями и детьми, т. е. возникновение семьи; 4) наличие определенного способа производства, определенной промышленной ступени, связанной с определенным способом совместной деятельности [24, с. 26—29].

«Таким образом, — заключают К. Маркс и Ф. Энгельс, — уже с самого начала обнаруживается материалистическая связь людей между собой, связь, которая обусловлена потребностями и способом производства и так же стара, как сами люди, — связь, которая принимает всё новые формы, а следовательно представляет собой „историю“... Лишь теперь, после того, как мы уже рассмотрели четыре момента, четыре стороны первоначальных, исторических отношений, мы находим, что человек обладает также и „сознанием“. Но и им человек обладает в виде „чистого“ сознания не с самого начала. На „духе“ с самого начала лежит проклятие — быть „отягощенным“ материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [24, с. 28—29].

Это высказывание К. Маркса и Ф. Энгельса содержит в себе ряд основополагающих принципов, которые получили дальнейшее развитие в их научном творчестве. Во-первых, здесь в аспекте исторического материализма утверждается вторичность сознания, «духа» по отношению к общественному бытию, что в дальнейшем вылилось в классическую формулу К. Маркса, согласно которой «не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [25]. Диалектический характер постановки вопроса о соотношении материальных условий жизни и общественного сознания как факторов развития человеческого общества в рамках материалистического понимания истории, разработанного К. Марксом и Ф. Энгельсом, состоит в том, что, указывая на решающую роль первых, они вместе с тем отметили, что второе, т. е. общественное сознание, также оказывает активное воздействие на ход исторических процессов. Так, Ф. Энгельс в письме к В. Боргиусу следующим образом характеризовал соотношение этих

---

<sup>2</sup> С позиций марксистско-ленинской философии эти направления буржуазной философии, языкознания и семиотики уже были предметом серьезного критического рассмотрения (см., например, [19—23] и целый ряд других исследований). Однако они до сих пор пользуются большим влиянием в зарубежной философии, языкознании и семиотике, и, в известной степени, также в соответствующих отраслях и советской науки, почему задача их критического преодоления остается актуальной и в настоящее время.

двойного рода факторов: «а) Политическое, правовое, философское религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на экономическом развитии. Но все они также оказывают влияние друг на друга и на экономический базис. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является *причиной*, что только оно является *активным*, а все остальное — лишь пассивное следствие. Нет, тут взаимодействие на основе экономической необходимости, в *конечном счете* всегда прокладывающей себе путь» [26]. Это положение в еще более развернутом виде формулируется Ф. Энгельсом в письме к Блоху [27, с. 394—395].

Положение марксизма-ленинизма о диалектическом соотношении материального базиса человеческого общества и общественного сознания является тем методологическим принципом, из которого следует исходить и при решении таких вопросов, как соотношение общества и языка, являющегося продуктом общественного развития, взаимоотношения общественно-трудовой деятельности, мышления и сознания, а также языка в процессе их возникновения и развития. Так, при решающей роли экстралингвистических общественных факторов в развитии языка должна учитываться и активная роль языка в процессах общественного развития; точно так же признание определяющей роли общественно-трудовой деятельности не означает отрицания активной роли мышления, сознания и языка. Аналогичным образом решается вопрос о соотношении языка и мышления как в диахронном, так и в синхронном плане: не будучи определяющим компонентом в том диалектически противоречивом единстве, в которое он входит, язык оказывает известное обратное влияние на мышление и сознание, на познавательную деятельность человеческого мышления.

Вместе с тем в приведенном выше высказывании К. Маркса и Ф. Энгельса из «Немецкой идеологии» первичность материального и вторичность идеального усматривается не только в том, что идеальное есть результат отражения существующей независимо от человека действительности и является продуктом мозга как наиболее высокоорганизованной формы материи (эти аспекты основного философского вопроса получили обоснование и развитие в позднейших работах К. Маркса, Ф. Энгельса, а затем В. И. Ленина), но и в том, что язык функционирует как средство осуществления абстрактного, обобщенного мышления. Это же положение выдвигается и в некоторых других, более ранних работах К. Маркса. Так, в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» им сформулировано следующее положение: «Даже элемент самого мышления, элемент, в котором выражается жизнь мысли — *язык*, — имеет чувственную природу» [28, с. 125].

В это положение К. Маркса и Ф. Энгельса в настоящее время могут быть внесены некоторые дополнения. Так, в качестве необходимого средства осуществления абстрактного, обобщенного мышления выступает не только материальная, чувственная сторона естественного языка, но и другие, невербальные формы материальных, чувственных по своей природе знаков, как, например, язык жестов у глухонемых, воспринимаемые посредством осязания жесты у слепоглухонемых [29], математические символы и др.

Кроме того, следует иметь в виду, что познание происходит не только в процессе абстрактного, обобщенного мышления, осуществляемого в форме понятий, суждений, умозаключений и т. п. В этом процессе на его определенных, особенно начальных, ступенях большую роль играет и образное, чувственно-наглядное по своей природе мышление, которое не нуждается в вербальных средствах своего осуществления<sup>3</sup>. Такой двойственный характер мышления и познавательного процесса, их различная природа, в частности, проявляющаяся в отношении к языку или материальным знакам невербального типа, особенно наглядно демонстрируется установленным в последние два десятилетия фактом

<sup>3</sup> Это положение было нами обосновано еще в 1957 г. [см. 30].

функциональной асимметрии правого и левого полушарий головного мозга. Суть этого явления состоит в том, что у правшей левое полушарие головного мозга ведаёт абстрактным, обобщенным мышлением, логическими рассуждениями, а вместе с тем вербальной речью, а также письмом и счетом, в то время как правое полушарие функционирует как материальный субстрат образного, чувственно-наглядного мышления, и в том числе музыки.

Указанное выше положение К. Маркса и Ф. Энгельса из «Немецкой идеологии» некоторые авторы истолковывают буквально, в том смысле, что к языку ими якобы относится только материальная, знаковая сторона. Однако эти авторы не учитывают контекста, в котором это положение выдвинуто: К. Марксу и Ф. Энгельсу в противоположность неогегельянцам, декларирующим положение о существовании некоего «чистого» сознания, «духа» как первичной, определяющей сущности, здесь было важно подчеркнуть зависимость идеального от *материальной* стороны языка. Ошибочно понятое положение К. Маркса и Ф. Энгельса используется этими авторами для обоснования тезиса о том, что не только фонемы, но и такие языковые единицы, как морфема, слово, словосочетание и предложение, не включают в свой состав значений того или иного рода, являющихся особыми идеальными образованиями. Поэтому, по их мнению, неверно также говорить, что в языке в той или иной степени закрепляются результаты познавательной деятельности человеческого мышления, ввиду чего названные выше языковые единицы и объявляются ими знаковыми по своей природе.

Если бы дело обстояло подобным образом, то, к примеру, такие отрасли языкознания, как семасиология и лексикология, оказались бы беспредметными. Что касается К. Маркса и Ф. Энгельса, то известно, что в процессе занятий многими философскими вопросами они проводили обширные исследования значений слов как в синхронном, так и в диахронном плане и много занимались этимологическими исследованиями. Известно также, что В. И. Ленин рассматривал язык в его историческом развитии как один из основных источников по истории человеческого познания, что, по его мнению, наряду с историей развития отдельных наук, умственного развития ребенка и животных история развития языка входит в число тех областей, «из коих должна сложиться теория познания и диалектика» [31, с. 314]. В «Философских тетрадах» В. И. Ленин указывает также, что «всякое слово (речь) уже *обобщает*», что «чувства показывают реальность; мысль и слово — общее» [31, с. 246].

В нередко цитируемом высказывании К. Маркса, согласно которому «название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом. Точно так же и в денежных названиях — фунт, талер, франк, дукат и т. д. — изглаживается всякий след отношения стоимостей» [32, с. 110], имеется в виду только материальная сторона слова (название!), но, конечно, не отрицается наличие у нарицательного слова значения, которое является образом соответствующей вещи и потому подобно, сходно с ней. Не случайно поэтому, что в цитате в качестве примера К. Маркс приводит собственное имя *Яков*. Ведь как раз собственное имя вне акта соотнесения с соответствующим объектом не имеет какой-либо идеальной стороны в виде образа соответствующего объекта — в этом состоит его существенное отличие от нарицательного имени<sup>4</sup>.

Таким образом, не может быть сомнений в том, что классики марксизма-ленинизма рассматривали язык как такое общественное явление, которое наряду с материальной стороной включает в себя идеальную сторону, и что в ней, по их мнению, результаты познавательной деятельности человеческого мышления, осуществляющейся в процессе общественной практики человека, фиксируются в виде образов (в гносеологическом смысле), имеющих ту же природу, что и содержательная сторона абстрактного, обобщенного мышления.

<sup>4</sup> См. подробнее [33].

Во-вторых, в приведенном выше высказывании К. Маркса и Ф. Энгельса из «Немецкой идеологии» отмечается, что сознание, а следовательно, и мышление становятся реальными, действительными, существующими и для других и лишь тем самым также и для самого субъекта явлениями только потому, что они осуществляются посредством языка, одна из сторон которого имеет материальный, чувственный характер. В другом месте К. Маркс и Ф. Энгельс в этой связи пишут: «Язык есть непосредственная действительность мысли» [24, с. 448].

В-третьих, здесь сформулировано положение о том, что ни язык, ни человеческое сознание и мышление не предшествуют друг другу в генезисе во временном отношении — они возникают одновременно.

Вместе с тем К. Маркс и Ф. Энгельс выступили с критикой абсолютизации роли языка в процессах мышления и познания, против положения о том, что язык есть единственная данная человеку реальность, положения, которое является краеугольным камнем ряда современных философских буржуазных направлений (лингвистической философии, герменевтики, экзистенциализма), предшественниками которых с полным основанием можно считать уже неогегельянцев. Критикуя неогегельянцев по этому вопросу, К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Так же, как философы обособили мышление в самостоятельную силу, так должны были они обособить и язык в некое самостоятельное, особое царство» [24, с. 448]. Между тем «...ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства... они — только *проявления* действительной жизни», — писали они в этой же работе [24, с. 449]. Это высказывание К. Маркса и Ф. Энгельса звучит весьма злободневно, если иметь в виду также и некоторые лингвистические направления, например, неогумбольдтианство как в его европейской разновидности (Вайсгербер и др.), так и в его американской форме (этнолингвистика Сепира — Уорфа), основной тезис которых состоит в том, что любой язык якобы *жестко* детерминирует характер познавательной деятельности носителя соответствующего языка, определяет сам тип его мышления, создает особую «языковую картину мира», за пределы которой его носитель якобы не может выйти. Тем самым для сторонников этих направлений в философии и языкознании теряет всякий смысл вопрос об объективности познавательной деятельности человеческого мышления и даже вопрос о том, существует ли вне человека как носителя того или иного языка некая объективная действительность. Иначе говоря, эти направления представляют собой особую разновидность идеалистической философии, которую есть все основания квалифицировать как лингвистический идеализм. Особую форму семиотического идеализма представляет собой и то направление в семиотике, в котором сущность человеческого познания сводится к оперированию со знаками того или иного рода, а его результаты, в том числе и любая наука, рассматриваются лишь как система знаков.

Далее, из приведенного выше высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса следует, что язык не может рассматриваться и как основная причина или решающий фактор возникновения специфически человеческого мышления. Противоположную точку зрения развивают некоторые советские исследователи, как, например, Б. Ф. Поршнев. Уже в «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали: «Людей можно отличать от животных по сознанию, по религии — вообще по чему угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, как только начинают *производить* необходимые им средства к жизни, — шаг, который обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые им средства к жизни, люди косвенным образом производят и самую свою материальную жизнь» [24, с. 19]. В последующих трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, и в особенности в работе последнего «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», это положение об общественно-трудовой деятельности как факторе, сыгравшем решающую роль в становлении самого человека и возникновении абстрактного, обобщающего мышления, а вместе с тем и языка, получило фундаментальное обоснование. Как писал Ф. Энгельс, труд — «первое основное условие всей человеческой жизни,

и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека» [34, с. 486]. Вместе с тем следует иметь в виду, что возникновение языка является необходимым условием становления абстрактного, обобщенного мышления, поскольку последнее могло осуществляться, только опираясь на язык, включающий в свой состав материальную сторону, которая только и могла выступать в знаковой функции, т. е. в качестве заместителя, представителя для мышления возникающего человека таких абстрактных образований, как формирующиеся понятия о классах предметов и явлений объективной действительности. Нельзя также не учитывать, что, возникнув вместе с абстрактным, обобщенным мышлением, язык в свою очередь начинает оказывать известное обратное воздействие на развитие этого первого члена того диалектически противоречивого единства, которое они образуют в совокупности, т. е. становится одним из факторов дальнейшего развития специфически человеческого мышления и его субстрата, т. е. мозга. Так, Ф. Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» писал по этому поводу следующее: «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который при всем своем сходстве с обезьяньим далеко превосходит его по величине и совершенству» [34, с. 490].

В-четвертых, в данном высказывании К. Маркса и Ф. Энгельса из «Немецкой идеологии» по существу уже выделены две функции языка — 1) «язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание» и 2) «и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [24, с. 29]. Иначе говоря, с одной стороны, язык выступает как средство осуществления специфически человеческого мышления, т. е. в экспрессивной функции<sup>5</sup>, а с другой стороны, как средство общения, средство удовлетворения потребности в общении, т. е. в коммуникативной функции.

В последнее время широко дискутируется вопрос о соотношении этих языковых функций. Очевидно, что потребность в общении, потребность сказать что-либо кому-либо предполагает наличие в мышлении говорящего того, что он намерен сообщить собеседнику, и акт коммуникации, следовательно, есть вместе с тем акт осуществления специфически человеческого мышления. Таким образом, в процессе общения одновременно осуществляется и экспрессивная функция языка. Специфический характер в этом отношении имеет только частный случай осуществления коммуникативной функции, а именно, так называемая фатическая «функция» языка.

Можно также предполагать, что в начальный период возникновения и становления абстрактного, обобщенного мышления и языка любой акт мышления осуществлялся в форме внешне выраженной речи независимо от наличия или отсутствия адресата и, следовательно, в этот период существовала лишь одна неотдифференцированная языковая функция. Вместе с тем, имея в виду, что сознание и язык возникают лишь в результате появления потребности в общении, можно полагать, что на первых этапах становления и развития человека такие внешне выраженные акты речи имели место только в процессе общения, т. е. при наличии адресата.

---

<sup>5</sup> Единого, устоявшегося термина для обозначения этой функции в языковедении не существует. Особенно много различных терминов для ее обозначения было предложено в последнее десятилетие. Некоторые из них явно неудачны, как, например, термин *гносеологическая функция*, который употребляется как синоним термину *познавательная функция*. Гносеология есть теория познания, философское учение о познании, и термин *гносеологическая функция* в переводе на русский язык буквально означает *теоретико-познавательная функция*, что, во-первых, не отвечает природе обозначаемой функции, а во-вторых, отнюдь не является синонимом термина *познавательная функция*.

Наконец, наиболее существенным компонентом концепции К. Маркса и Ф. Энгельса о языке, развитой ими в «Немецкой идеологии», а затем и в более поздних работах, является трактовка языка вместе с сознанием как общественных, социальных по своей природе явлений. Социальная природа языка усматривалась ими не только, и, может быть, не столько в том, что он возникает благодаря появлению потребности в общении и используется в человеческом обществе как средство общения, как это полагают представители так называемого социологического направления в зарубежной лингвистике. Вопрос о природе языка рассматривался К. Марксом и Ф. Энгельсом как часть более широкой проблемы социальной сущности самого человека.

Концепция социальной природы человека является важнейшим составным компонентом марксистско-ленинской философии. Характеризуя социальную сущность человека, К. Маркс писал: «Человек есть в самом буквальном смысле ζῷον πολιτικόν\*, не только животное, которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе и может обособляться. Производство обособленного одиночки вне общества — редкое явление, которое может произойти с цивилизованным человеком, случайно заброшенным в необитаемую местность и динамически уже содержащим в себе общественные силы, — такая же бессмыслица, как развитие языка без совместно живущих и разговаривающих между собой индивидуумов» [35, с. 710].

В другой работе К. Маркса это положение получает дальнейшее развитие и еще более обобщенную и глубокую трактовку. Он писал по этому поводу следующее: «...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [36, с. 262].

Социально детерминированы и сама способность человека к абстрактному, обобщенному мышлению, и, следовательно, результаты мыслительной деятельности человека, т. е. его сознание. Этим обусловлено то качественное различие, которое существует между характером отражения действительности человеком, с одной стороны, и любым, даже самым высокоорганизованным животным, вроде человекообразных обезьян, с другой стороны.

В зоопсихологии и антропологии по вопросу о характере познавательной деятельности животных сравнительно с таковой же человека в настоящее время высказываются прямо противоположные точки зрения. Некоторые зоопсихологи (Л. А. Фирсов) выдвинули положение, согласно которому высшие человекообразные обезьяны так же, как и человек, способны к понятийному мышлению. Таким образом, отрицается наличие какого-либо принципиального различия между мыслительной деятельностью человека и таких животных, как человекообразные обезьяны. Но тем самым ставится под сомнение и то положение марксистско-ленинской философии, что мышление человека есть продукт его длительного социального развития, что человеческий мозг, способный к понятийному мышлению, сформировался под воздействием социальных факторов в процессе его общественно-трудовой деятельности, о наличии которой у высших человекообразных обезьян едва ли возможно говорить — у них есть лишь орудийная деятельность, и она, к тому же, не имеет сколько-нибудь систематического характера. Что касается экспериментальных данных, которые послужили Л. А. Фирсову основой для такого рода выводов, то они могут получить и иное объяснение [37, с. 35]. Поэтому сохраняет свою актуальность следующее положение, сформулированное К. Марксом и Ф. Энгельсом еще в «Немецкой идеологии»: «Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животное не „относится“ ни к чему и вообще не „относится“, для животного его отношение к другим не существует как отношение. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди» [24, с. 29].

\* — общественное животное (Аристотель. «Политика», т. I, гл. 1). Ред.

По существу те же основополагающие философские принципы марксистско-ленинской теории социальной сущности человека не учитываются и сторонником другой крайней точки зрения по этому вопросу, Б. Ф. Поршневым, известным советским историком и антропологом, по мнению которого понятийное мышление возникло лишь 30—40 тысяч лет тому назад, когда сформировался современный антропологический тип *Homo sapiens*, т. е. со времени появления кроманьонца, причем решающая роль в этом процессе им отводится возникновению языка. Что касается неандертальцев и тем более других, более ранних предков человека, то, по мнению Б. Ф. Поршнева, они не обладали способностью к понятийному мышлению, не имели языка, а их трудовая деятельность целиком носила инстинктивный характер, подобно орудийной деятельности животных [38].

Концепция Б. Ф. Поршнева находится в явном противоречии с многочисленными археологическими данными, особенно последнего десятилетия. Так, археологами установлено, что неандертальцы не только изготавливали различные орудия труда, но и строили настоящие жилища (раскопки в окрестностях Ниццы и Терра Амата, раскопки на Днестре) и у них уже имелись зачатки изобразительного искусства. Установлено, что даже австралопитеки более 1,5 млн. лет тому назад не только умели использовать огонь и поддерживать его, но и пользовались кремневыми кресалами для того, чтобы развести костер (археологические находки в Кении около озера Баринчо).

Марксистская концепция социальной природы человека, согласно которой в его происхождении и формировании решающую роль играли социальные, а не биологические факторы, находит свое подтверждение и в генетических исследованиях последнего времени. Так, исследуя гены человека, шимпанзе и гориллы, биохимик А. С. Вильсон, антрополог В. М. Сарих из Калифорнийского университета в Беркли (США) установили, что эти виды по своему наследственному веществу, т. е. генам, отличаются друг от друга только на 1 или 2 процента, причем различия в этом отношении между человеком и шимпанзе, человеком и гориллой не больше, чем между шимпанзе и гориллой. Таким образом, те громадные различия между человеком и шимпанзе или гориллой, которые имеются между ними, нельзя считать биологически, наследственно закрепленными в генетическом веществе как субстрате биологического наследования, по крайней мере, в их основных параметрах [39]. Следовательно, то, что можно считать специфически человеческим, фиксируется не биологическим механизмом наследования в виде генов, а обусловлено принципиально новым по сравнению с животным миром механизмом наследования, а именно социальным [40].

Сушествено, что аналогичные результаты получены при исследовании белков крови (антигенов) человека и человекообразных обезьян. При их введении в организм кролика по характеру реакции его организма, а именно выработке антител на введенные антигены, можно судить о степени сходства этих последних. Эта степень определяется как индекс непохожести (ИН). У любых двух человек этот индекс будет равен единице, что свидетельствует об идентичности белков их крови. Между же человеком и шимпанзе этот индекс непохожести равен всего 1,17 единицы, в то время как между человеком и капуцином он равен 4,64 единицы, человеком и макакой-резусом — 2,38 единицы. Это свидетельствует о том, что человек, шимпанзе и горилла имеют общих предков, т. е. что они являются как бы двоюродными братьями<sup>6</sup>. Интересно, что индекс непохожести между человеком и гиббоном оказался значительно большим, чем между человеком и шимпанзе, т. е. родство между человеком

<sup>6</sup> Некоторые палеонтологи (Р. Лики и Р. Ловин) в последнее десятилетие выдвинули точку зрения, согласно которой человек происходит от ископаемых рамапитеков, живших 15—20 млн. лет назад. Данные молекулярной антропологии свидетельствуют пользу другой, ранее сформулированной концепции о том, что человек и шимпанзе (гориллы) имеют общих предков и что их отделение от общей ветви эволюции произошло около 5 млн. лет тому назад [39].

и гиббоном следует считать более отдаленным, чем между человеком и шимпанзе или гориллой [39].

Если человек есть продукт социального развития, то и язык есть явление социальное по своей природе, продукт социального развития. К. Маркс в этой связи, в частности, указывает на ту существенную близость, которая обнаруживается между таким сугубо общественным явлением, как стоимость, и языком. Так, останавливаясь на том, как отражается в мозгу индивидуальных производителей двойственный характер общественного труда, создающего потребительные стоимости, а тем самым и стоимости, он пишет: «Следовательно, люди сопоставляют продукты своего труда как стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь вещными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот. Приравнивая свои различные продукты при обмене один к другому как стоимости, люди приравнивают свои различные виды труда один к другому как человеческий труд. Они не сознают этого, но они это делают<sup>27</sup>. Таким образом, у стоимости не написано на лбу, что оно такое. Более того: стоимость превращает каждый продукт труда в общественный иероглиф. Впоследствии люди стараются разгадать смысл этого иероглифа, проникнуть в тайну своего собственного общественного продукта, потому что определение предметов потребления как стоимостей есть общественный продукт людей не в меньшей степени, чем, например, язык» [32, с. 84].

Существенно, что здесь К. Марксом проводится аналогия между характером отношения стоимости к потребительной стоимости, с одной стороны, и характером отношения между материальной стороной языковой единицы, т. е. знаком, или иероглифом в терминологии К. Маркса, и тем значением, которое он представляет, репрезентирует. Как стоимость сама по себе ничего не говорит о характере потребительной стоимости, так и материальный языковой знак не имеет ничего общего с тем значением, знаком которого он является. Как стоимость создается только тогда, когда в процессе труда производится определенная потребительная стоимость, т. е. общественно полезный продукт, так и тот или иной материальный объект становится знаком только в том случае, если для адресанта и адресата речи он представляет какое-либо определенное значение и тот объект, который отражается в этом значении.

Концепция К. Маркса и Ф. Энгельса о социальной сущности языка получила свое концентрированное выражение в их уже ранее приведенной формуле, согласно которой «...ни мысли, ни язык не образуют сами по себе особого царства, ...они — только *проявления* действительной жизни» [24, с. 449]. Вместе с тем язык является одним из необходимых условий и факторов происхождения и развития человека как социального существа. Язык возникает в силу настоятельной потребности в общении формирующихся людей. Без такого средства общения люди не могли бы возникнуть и развиваться как социальные существа, и в этом смысле язык является необходимым условием становления и существования самого человеческого общества.

Социальная сущность и роль языка состоят и в том, что благодаря ему становится возможным и само специфически человеческое абстрактное, обобщенное мышление и сознание, что только благодаря ему они становятся действительными, реальными явлениями.

Существенная социальная роль языка состоит и в том, наконец, что он, наряду с материальной и духовной культурой, общественным производством и совокупностью общественных отношений, является одним из важнейших компонентов механизма социального наследования, который возникает вместе с возникновением человека и развитием человеческого общества как более высшая, социальная форма наследования по сравнению с биологической формой наследования, существующей в животном и растительном мире.

Для того, чтобы судить о значимости того вклада, который внесли не только в философию, но и в языковедение К. Маркс и Ф. Энгельс, выдвинув и обосновав концепцию социальной природы языка, следует

имств в виду, что в современном им языкознании получил широкое распространение ряд направлений, базирующихся на ином понимании природы языка как предмета языкознания. В частности, возникновение дарвинизма оказало свое влияние и на языкознание того времени, что нашло свое выражение в создании так называемого натуралистического направления, виднейшими представителями которого были Август Шлейхер и Макс Мюллер. Это направление рассматривало язык как своего рода организм, возникновение и развитие которого происходит по тем же биологическим законам, что и в животном и растительном мире.

Концепция К. Маркса и Ф. Энгельса о языке как социальном по своей сущности явлении противостояла и другому направлению в языкознании того периода — психологическому, которое рассматривало языкознание как психологическую науку.

В современном зарубежном языкознании последних лет также развиваются теории, имеющие немало общего с основными принципами натуралистического языкознания XIX в. Это можно сказать, например, о лингвистической концепции Леннеберга и, в известной степени, Н. Хомского. Поэтому разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом концепция социальной сущности языка является весьма актуальной и плодотворной и на современном этапе развития лингвистики.

В зарубежном и советском языкознании уже многие десятилетия ведется оживленная дискуссия о том, является ли языкознание гуманитарной, естественной или естественно-гуманитарной наукой. Высказанные по этому вопросу прямо противоположные точки зрения базируются на определенном понимании языка как предмета языкознания. Если вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом исходить из того, что язык есть социальное по своей природе явление, то по этому вопросу может быть дан однозначный ответ — по своему предмету языкознание есть гуманитарная наука. Факт наличия в языке наряду с идеальной стороной также и материальной стороны не противоречит этому положению, ибо материальная сторона языка, его фонетический строй также социализованы. Язык представляет собой одну из разновидностей высшей формы движения материи — социальной, и в этом качестве он и выступает как предмет языкознания.

В основе любой более высокой формы движения материи лежат низшие формы ее движения. Разграничивая объект и предмет науки, правомерно полагать, что лежащие в основе языка как объекта низшие формы движения материи могут и должны быть предметом других наук. Так, например, звуковая сторона языка входит в предмет исследования акустики как раздела физики. Артикуляции органов речи могут быть предметом исследования физиологии и т. д.

Более того, высшие формы движения материи должны быть объяснены путем исследования низших форм ее движения. Однако при таком объяснении не должна быть утеряна специфика высшей формы движения материи. Эти общие принципы имеют силу и при решении вопроса о природе языка как предмета языкознания, о характере языкознания как науки и его соотношении с естественными науками.

Признание языка социальным явлением не означает отрицания внутренних законов его развития и функционирования, на что в свое время обратил внимание еще Ф. Энгельс. «Едва ли удастся кому-нибудь, не сделавшись посмешищем, — писал он, — объяснить экономически... происхождение верхненемецкого передвижения согласных, превратившего географическое разделение, образованное горной цепью от Судет до Таунуса, в настоящую трещину, проходящую через всю Германию» [27, с. 395].

Решение этого вопроса с позиций марксистско-ленинской философии состоит в том, что, не отрицая в отличие от вульгарного социологизма наличия внутренних законов развития языка, не объясняя его развитие одними лишь экстралингвистическими факторами, эти внутренние законы следует рассматривать как один из видов социальных законов, который обладает некоторыми специфическими чертами по сравнению с законами

развития других социальных явлений. В этом, очевидно, и состоит диалектика соотношения экстралингвистических и внутрилингвистических факторов возникновения, функционирования и развития языка как социального явления особого рода.

Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф. Энгельса представляет собой качественно новый этап в развитии философского материализма. Уже в одной из своих наиболее ранних работ К. Маркс писал: «Главный недостаток всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме *объекта*, или в форме *созерцания*, а не как *человеческая чувственная деятельность, практика*, не субъективно. Отсюда и произошло, что *деятельная сторона*, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой» [41; см. также 24, с. 44].

Деятельностный подход был осуществлен К. Марксом и Ф. Энгельсом и при решении проблемы происхождения и развития мышления и сознания человека, а вместе с тем и языка. О плодотворности этого подхода и его новаторском характере свидетельствует то обстоятельство, что он получил свое применение и дальнейшее развитие в современной психологии и языкознании. К. Маркс в одной из своих более поздних работ определяет деятельностный подход к исследованию мышления и языка следующим образом: «Но люди никоим образом не начинают с того, что „стоят в этом теоретическом отношении к предметам внешнего мира“. Как и всякое животное, они начинают с того, чтобы *есть, пить* и т. д., т. е. не „стоять“ в каком-нибудь отношении, а *активно действовать*, овладевать при помощи действия известными предметами внешнего мира и таким образом удовлетворять свои потребности. (Начинают они, таким образом, с производства.) Благодаря повторению этого процесса способность этих предметов „удовлетворять потребности“ людей запечатлевается в их мозгу, люди и звери научаются и „теоретически“ отличать внешние предметы, служащие удовлетворению их потребностей, от всех других предметов. На известном уровне дальнейшего развития, после того как умножились и дальше развились тем временем потребности людей и виды деятельности, при помощи которых они удовлетворяются, люди дают отдельные названия целым классам этих предметов, которые они уже отличают на опыте от остального внешнего мира. Это неизбежно наступает, так как они находятся в процессе производства, т. е. в процессе присвоения этих предметов, постоянно в трудовой связи между собой и с этими предметами, и вскоре начинают также вести борьбу с другими людьми из-за этих предметов. Но это словесное наименование лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся деятельность превратила в опыт, а именно, что людям, уже живущим в определенной общественной связи {это — предположение, необходимо вытекающее из наличия речи}, определенные внешние предметы служат для удовлетворения их потребностей. Люди только дают этим предметам особое (родовое) название, ибо они уже знают способность этих предметов служить удовлетворению их потребностей, ибо они стараются при помощи более или менее повторяющейся деятельности овладеть ими и таким образом также сохранить их в своем владении; ...

Итак: люди фактически начали с того, что присваивали себе предметы внешнего мира как средства для удовлетворения своих собственных потребностей и т. д. и т. д.; позднее они приходят к тому, что и *словесно обозначают их как средства удовлетворения своих потребностей*, — каковыми они уже служат для них в практическом опыте, — как предметы, которые их „удовлетворяют“» [42].

В этом высказывании К. Маркса сформулирован ряд принципов, получивших дальнейшее развитие в работе Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» и в исследованиях, посвященных проблеме формирования сознания и языка человека в антропогенезе и онтогенезе. Во-первых, здесь конкретизируется выдвинутое

в «Немецкой идеологии» положение о роли практической, общественно-трудовой деятельности в происхождении абстрактного, обобщенного мышления человека и языка как средства его осуществления. Во-вторых, здесь по существу сформулировано положение об интериоризации как принципе превращения актов общественно-трудовой деятельности в соответствующие умственные действия, т. е. механизме возникновения понятий и других абстрактных образований в процессе антропогенеза.

Есть все основания полагать, что путем интериоризации внешне выраженной речи возникла и внутренняя речь, которая в процессе своего дальнейшего развития приобрела некоторые специфические особенности по сравнению с внешне выраженной речью.

Внутренняя речь современного человека как интрасубъектное явление имеет весьма различный характер (ср. такие ее полюсы, как внутренняя речь в процессе формирования мысли, с одной стороны, и проговаривание про себя, с другой стороны). Это затрудняет ее определение как особого предмета исследования, выделяемого в ее противопоставлении внешне выраженной речи как интерсубъектному явлению. Однако все виды внутренней речи объединяет то, что они представляют собой внутрисубъектные явления. В этом качестве все они противопоставляются внешне выраженной речи как объективному явлению в ее материальной части и потому доступной восприятию адресата. Это дает достаточные основания выделять внутреннюю речь, несмотря на различия, которые существуют между различными ее видами по их структуре и функциональной роли в процессах мышления, как особое явление, противопоставляемое внешне выраженной речи. Очевидно, что и само понятие интериоризации как в антропогенезе, так и в онтогенезе приобретает существенное теоретическое значение только в случае признания наличия сущностного различия между внутренней речью в совокупности ее разновидностей и внешне выраженной речью.

Как основа механизма формирования психики в процессе онтогенеза интериоризация рассматривается и в современных концепциях умственного развития ребенка. Исследования, посвященные умственному развитию слепоглухонемых детей [см. 29] в процессе их обучения, также показали, что решающую роль в этом играет формируемая воспитателем практическая деятельность этих детей с последующей интериоризацией ее компонентов.

Таким образом, последующие исследования в ряде различных направлений науки показали большое методологическое значение принципов, сформулированных в этой и ряде других работ К. Маркса и Ф. Энгельса, для решения проблемы антропогенеза, и, в частности, формирования специфически человеческого абстрактного, обобщенного мышления и языка; проблемы умственного развития в онтогенезе; проблемы формирования сознания и языка у слепоглухонемых детей и др.

XIX век характеризуется утверждением принципа историзма в различных областях знания, согласно которому те или иные явления надлежало рассматривать в их историческом изменении. Сравнительно-исторический метод становится основным при исследовании таких явлений культуры, как язык, фольклор и этнография. К. Маркс и Ф. Энгельс высоко оценивали сравнительно-историческое языкознание XIX в. и сами немало сделали в области сравнительно-исторического изучения ряда языковых семей. Ф. Энгельс выступил с резкой критикой Е. Дюринга, который чисто описательные грамматики рассматривал как высший этап развития языкознания. «Но ведь „материя и форма родного языка“, — писал Ф. Энгельс, — становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если не уделять внимания, во-первых, его собственным отмершим формам и, во-вторых, родственным живым и мертвым языкам» [43, с. 333].

В материалистической диалектике понятие исторического изменения любого явления сопряжено с понятием его исторического развития, предполагающего переход от одного качественного состояния к другому,

и притом не только прогрессивного, но и регрессивного характера, не только от простого к сложному, но и от сложного к простому [43, с. 22—23; 44, с. 354, 363, 621]. Оно противостоит, в частности, трактовке языкового изменения в структуральной лингвистике, поскольку представители этого направления в языкознании по существу исключают из него понятие исторического развития, что связано с пониманием языка как системы чистых отношений [45].

У К. Маркса мы находим прямые высказывания, свидетельствующие о том, что языки рассматривались им как исторически развивающиеся явления, характеризующиеся разной степенью своего развития. Так, говоря о законах материального производства вообще и различных его типов, К. Маркс пишет: «*Производство вообще* — это абстракция, но абстракция разумная, поскольку она действительно выделяет общее, фиксирует его и потому избавляет нас от повторений. Между тем это *всеобщее* или выделенное путем сравнения общее само есть нечто многократно расчлененное, выражающееся в различных определениях. Кое-что из этого относится ко всем эпохам, другое является общим лишь некоторым эпохам. Некоторые определения общие и для новейшей и для древнейшей эпохи. Без них немыслимо никакое производство; хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, все же именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие» [35, с. 711].

К. Маркс и Ф. Энгельс уделяли большое внимание проблеме развития языка, обусловленного сменой различного типа исторических общностей людей (рода, племени, народности и нации), также в рамках разработанной ими концепции исторического развития человеческого общества, перехода от одной общественно-исторической формации к другой. В частности, ими фундаментально разработаны вопросы о формировании национального и литературного языков при переходе от феодализма к капитализму, соотношении литературного языка и территориальных диалектов, роли единого национального языка в процессах возникновения наций. В «Немецкой идеологии» они писали: «...в любом современном развитом языке естественно возникшая речь возвысилась до национального языка отчасти благодаря историческому развитию языка из готового материала, как в романских и германских языках, отчасти благодаря скрещиванию и смешению наций, как в английском языке, отчасти благодаря концентрации диалектов в единый национальный язык, обусловленной экономической и политической концентрацией» [24, с. 427].

Проблема формирования национальных языков, принципы национальной языковой политики при решении национального вопроса в условиях капитализма и социализма получили дальнейшую разработку в трудах В. И. Ленина.

Концепция К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина о языке не охватывает всего круга теоретических вопросов, бывших предметом исследования в современном им языкознании и на последующих этапах его развития. Но созданная ими философия диалектического и исторического материализма имеет непреходящее значение для правильного решения всего комплекса теоретических и, в особенности, философских вопросов современного языкознания.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Туров Т. М. Хрестоматия по языкознанию. Вып. 1. Высказывания классиков марксизма-ленинизма о языке. Благовещенск, 1932.
2. Ленинская хрестоматия о языке. Сост. Ломтев Т. и Лойя Я. Под ред. Бочарова М. Н. и Данилова Г. К. М.—Л., 1932.
3. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин о проблемах языка и мышления. С предисловием Марра Н. Я. Л., 1933.
4. Иванов П. Г. Вопросы языка в высказываниях Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, академика Марра и Максима Горького. Саранск, 1934; 2-е изд.—1935.
5. Рыт Е. М. Ленин о языке и язык Ленина. М., 1936.

6. Классики марксизма-ленинизма о языке и стиле.— В кн.: Язык газеты. Под ред. Кондакова Н. М. М.—Л., 1941.
7. Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 1970.
8. Энгельс и языкознание. М., 1972.
9. *Дмитриев П. А., Мокшенок В. М.* Классики марксизма-ленинизма и славянская филология. Л., 1982.
10. Marx, Engels, Linjin o jeziku. Izbor, redakcija i predovor Mr. Mirko Čanadonović, prevod Mirjana Roškov. Beograd, 1970.
11. Karl Marx, Friedrich Engels über Sprache, Still und Übersetzung. Berlin, 1974.
12. Problémy marxistické jazykovědy. Praha, 1962.
13. O marxistickú jazykovědu v CSSR. Bratislava, 1974.
14. K marxistické metodologii v jazykovědě. Praha, 1980.
15. *Petr J.* Slavistické zájmy K. Marxe a V. Engelse. Praha, 1976.
16. *Petr J.* Klasikové marxismu-leninismu o jazyce. Úvodní studie a výběr textů z Marxova, Engelsova a Leninova díla. Praha, 1977.
17. *Petr J.* Filozofie jazyka v díle K. Marxe a V. Engelse. Praha, 1980.
18. *Андропов Ю.* Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР.— Коммунист, 1983, № 3, с. 22.
19. *Ермолаева Л. С.* Неогумбольдтианское направление в современном буржуазном языкознании.— В кн.: Проблемы общего и частного языкознания. М., 1960.
20. *Гузман М. М.* Лингвистическая теория Л. Вейсгербера.— В кн.: Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
21. *Albrecht E.* Bestimmt die Sprache unser Weltbild? Zur Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Sprachphilosophie. Berlin, 1972.
22. *Панфилов В. З.* Язык, мышление, культура.— ВЯ, 1975, № 1.
23. *Чесноков П. В.* Неогумбольдтианство.— В кн.: Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977.
24. *Маркс К. и Энгельс Ф.* Немецкая идеология.— Соч. 2-е изд., т. 3.
25. *Маркс К.* К критике политической экономии.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 13, с. 7.
26. *Энгельс Ф. В.* Боргиусу. 25 января 1894 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 39, с. 175.
27. *Энгельс Ф.* Йозефу Блоху. 21 [22] сентября 1890 г.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 37.
28. *Маркс К.* Экономическо-философские рукописи 1844 года.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 42.
29. *Мещеряков А. И.* Слепоглухонемые дети. Развитие психики. М., 1974.
30. *Панфилов В. З.* К вопросу о соотношении языка и мышления.— В кн.: Мышление и язык. М., 1957.
31. *Ленин В. И.* Философские тетради.— Полн. собр. соч., т. 29.
32. *Маркс К.* Капитал. Т. I. Кн. 1.— *Маркс К. и Энгельс Ф.*, Соч. 2-е изд., т. 23.
33. *Панфилов В. З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982, с. 62—63, 66.
34. *Энгельс Ф.* Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20.
35. *Маркс К.* Введение (Из экономических рукописей 1857—1858 годов).— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 12.
36. *Маркс К.* Тезисы о Фейербахе (текст 1845 года).— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 42.
37. *Панфилов В. З.* О некоторых аспектах социальной природы языка.— ВЯ, 1982, № 6.
38. *Поршнев Б. Ф.* О начале человеческой истории. М., 1974.
39. *Черфас Дж. и Гриббин Дж.* Когда появились первые люди на Земле?— За рубежом, 1983, № 3.
40. *Дубинин Н.* Наследование биологическое и социальное.— Коммунист, 1980, № 11.
41. *Маркс К.* Тезисы о Фейербахе.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 3, с. 1.
42. *Маркс К.* Замечания на книгу А. Вагнера «Учебник политической экономии».— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 19, с. 377—378.
43. *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20.
44. *Энгельс Ф.* Диалектика природы.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20.
45. *Будагов Р. А.* Что такое развитие и совершенствование языка? М., 1977, с. 215—237.

ЯРЦЕВА В. Н.

ПРОБЛЕМА ВАРИАТИВНОСТИ И ВЗАИМОТНОШЕНИЕ  
УРОВНЕЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА

В истории языкознания, как и в истории любой науки, наблюдается определенная закономерность в смене идей и направлений, вызываемая прежде всего практическими потребностями изменяющейся исторической действительности. Если при этом иногда возникает чрезмерная одно-сторонность в трактовке реальных фактов языка, то с течением времени неизбежно наблюдается известное выравнивание и новый, более высокий виток в развитии данной науки. Так, с нашей точки зрения, произошло в языкознании, когда на смену атомистической трактовке языка в начале XX в., и особенно в 20—30-е годы нашего столетия, пришло понимание языка как системы. Это совпало с вовлечением в орбиту лингвистики множества языков различных континентов — Азии, Африки, Америки, Австралии, — не имевших письменной исторической традиции и вместе с тем требовавших своего описания для целей преподавания и упорядочения во все расширяющихся сферах коммуникации.

Введение понятий системы, ее упорядоченности, гармоничного соответствия ее частей в большой мере способствовало успехам синхронного описания языков и, в частности, составлению серии грамматических и фонологических работ по различным языкам мира. Однако вскоре обнаружилось несоответствия в формах организации отдельных областей языковой системы и были выявлены специфические черты, характеризующие отдельные уровни системы языка. Хорошо известно постепенное умножение и дробление таких уровней, однако эта тенденция своеобразных «поправок» к идее монолитности языковой системы довольно быстро исчерпала свои возможности.

Гетерогенность языковой системы, ярче всего проявляющаяся в процессе ее функционирования, является прежде всего результатом ее исторического развития, сосуществования на синхронном срезе элементов нарождающихся и элементов отмирающих. Таким образом, исторический подход при рассмотрении структурных особенностей и системы любого языка вновь привлек внимание лингвистов. Однако в историческом понимании своеобразия системы языка в целях ее адекватного объяснения было заложено нечто совершенно отличное от историзма XIX в.

Сравнительно-историческое языкознание, в значительной мере унаследовавшее при своем возникновении традиции филологической науки, опиравшейся в первую очередь на интерпретацию письменных памятников, лишь в очень небольшой мере оперировало понятием функции в применении к тому или иному элементу языка. Между тем стремление показать функционирование системы языка в целом через призму функционирования ее отдельных частей все больше и больше проявлялось в языкознании 60-х годов и заставило с неизбежностью поставить вопрос о причинной обусловленности функциональных особенностей языка. На фоне все увеличивающегося внимания к содержательной, семантической стороне языка это направление лингвистических исследований оказалось весьма плодотворным.

Варьирование языка в различных сферах и условиях его коммуникативного использования стало одной из задач новой отрасли языкознания — социолингвистики, а соотносительность парадигматических и синтагматических вариантов все больше помогала создать адекватные

описания при исследовании грамматических особенностей отдельных языков. Идея вариантности (или, как иногда говорят, вариативности) языка породила множество задач, поскольку необходимо было пересмотреть некоторые старые и устоявшиеся понятия и термины грамматики в свете новых представлений, с одной стороны, и разрабатывать те новые пласты языковых данных, которые обнаруживались при использовании идеи вариантности, с другой.

Что такое вариант и варианты? Необходимо ли при этом всегда иметь инвариант или можно обойтись без обязательного выделения инварианта? Одинаково ли понятие варианта для различных уровней системы языка? До каких пределов могут варьироваться элементы структуры языка и когда наступает тот рубеж, пройдя который возникают р а з н ы е элементы на базе расхождения вариантов? Последнее можно в равной мере отнести и к расхождению семантических вариантов многозначного слова, и к вариантам грамматической формы, и к развитию вариантов языковой системы в целом, и, наконец, к появлению разных языков на основе некогда единого языка.

Задач и вопросов много, но за завесой неизбежных и необходимых частных исследований нельзя скрывать фундаментальные теоретико-методологические проблемы самой идеи вариативности языка, обусловленной в первую очередь коммуникативной направленностью самого языкового процесса, его содержательностью, его семантической ценностью.

Накопление материала и его обобщение в плане теоретическом — вот путь для понимания того, что кроется за вариантами и варьированием. Весьма важно учитывать при этом, что человеку для полноты выражения приходится не только использовать варианты, предоставленные ему в структуре языка, но также и их разнообразные комбинации, что приводит к качественно новым ступеням исторического развития языков. При изучении явлений языковой вариативности одну из труднейших проблем представляет выбор тех параметров, которые позволяют отграничить элементы вариативности от конструкций, относящихся к качественно различным языковым образованиям. В области содержательной грамматики этот вопрос возникает прежде всего в тех случаях, когда одна и та же понятийная сфера представлена в языке несовпадающими формами ее реализации и с разной степенью подробности. Известно, например, что в отдельных языках ирреальность действия передается рядом варьирующихся форм, в то время как другие семантико-грамматические категории однозначно парадигматичны.

Под морфологической категорией мы понимаем систему взаимоотношений морфологических форм, передающих определенные грамматические значения. Подобное определение может показаться слишком узким, но оно помогает избежать той «эрозии» чисто грамматических значений, которая иногда наблюдается в современной грамматике при попытках (в целом правомерных) внедрить принцип функциональности в области морфологии.

С содержательной стороны вариативность проявляется прежде всего в условиях контекстуальной сочетаемости, когда структурные парадигматические варианты обнаруживают отсутствие семантического тождества. В процессе сравнения двух языков морфологическая вариативность может проявиться при наложении полей, в целом общих для этих языков по своему грамматическому значению, т. е. как бы совпадающих по своим семантико-грамматическим контурам, но не тождественных в своем внутреннем членении. Последнее можно наблюдать даже в тех случаях, когда речь идет о языках, принадлежащих к одной и той же генетической группировке.

Морфологическая вариативность возникает как следствие объединения в одном парадигматическом ряду грамматических форм, одновременных по своему происхождению (архаизмы и неологизмы) или различных по своей грамматической структуре (формы синтетические и аналитические). Такая вариативность наблюдается и в результате включения диалектных

форм в нормативное литературное употребление. Далеко не всегда отбор варьирующихся форм определяется семантико-стилистическим заданием данного текста. Грамматические, ритмические и общие структурные условия построения текста могут диктовать выбор одной из двух или нескольких параллельных морфологических форм, существующих в языке. Однако то, что можно было бы назвать «просветлением значения» данной формы, наступает только в узком, а иногда в более широком синтаксическом окружении, а степень распространенности этого окружения в целом должна соответствовать типологической принадлежности языка. Бинарные конструкции при всем своем значении с точки зрения языковой валентности не всегда удовлетворяют требованиям языков, бедных по своим морфолого-синтетическим ресурсам, вследствие чего для элиминирования последствий так называемой «синтаксической неопределенности» приходится оперировать отрезками большей синтаксической протяженности.

Нет сомнения в том, что процессы варьирования морфологических и иных элементов в языковой структуре играют большую роль в историческом развитии любого языка. Если отбор одного из вариантов, бытующих в данном языке, или количественное нарастание вариантов вызывается в конечном счете экстралингвистическими условиями, приводящими к специфическим случаям функционирования варьирующихся форм, то распределение вариантов между областями морфологии и синтаксиса должно оцениваться прежде всего в плане синхронии. Поэтому соотношение одних и тех же элементов языка в различные исторические периоды его развития дает совершенно разную картину их распределения.

Известно, что в парадигме личных местоимений современного английского языка нет противопоставленности единственного и множественного числа для 2-го л., которое обозначается одной и той же формой *you*. Исторически *you* восходит к формам дат./вин. падежа 2-го л. мн. числа древнеанглийского личного местоимения *ēow*. В современном английском языке сохранилась форма им. пад. этого личного местоимения *ye* (из др.-англ. *ze*), однако ее употребление очень ограничено [1]. В XVI—XVII вв. формы *ye/you* чередовались в функции подлежащего без стилистической отмеченности и, следовательно, могли считаться морфологическими вариантами на синхронном срезе языка того времени. В морфологической парадигме современного английского языка они, строго говоря, тоже присутствуют, но их функциональный статус глубоко различен.

При трактовке проблемы функционирования грамматических, а в особенности морфологических вариантов, по происхождению представляющих собой сведение в одном ряду исторических и аналогических форм, лингвисты не всегда четко дифференцируют функционирование этих форм в данном языке в целом и употребление, привычное для речи того или иного члена данного языкового коллектива. Конечно, говорящий сам может располагать определенным набором вариантов, употребляя в своей речи то один, то другой в зависимости от сложившейся речевой ситуации и стилистического задания, однако часто наблюдается «приверженность» говорящих к той или иной варьирующейся форме данного элемента языка, и эти моменты при исследовании проблемы вариативности следует очень строго учитывать, т. к. именно это помогает правильно оценить перспективы эволюции языка в плане влияния экстралингвистических факторов (например, роль социальных и возрастных групп населения, передвижение населения в пределах географических диалектных зон).

В одной из своих статей Л. Хэбер пробует статистическим путем определить, можно ли сформулировать общее правило при выборе того или иного варианта для претерита английских глаголов типа *to leap* «прыгать», *to creep* «ползать» и им подобных. Хотя в современном языке глаголов типа *to leap* (претерит *leaped/leapt*) немного, все же они составляют определенную подгруппу в морфологии английского глагола и, казалось бы, что говорящий, употребляющий для глагола *to leap* нерегулярную, архаическую форму претерита *leapt*, должен в такой же мере употреблять нерегулярный вариант для глагола *to creep*, т. е. *crept*. Однако, опросив

60 информантов, Л. Хэбер приводит подсчеты, из которых следует, что для *to leap* нерегулярную форму претерита *leapt* употребляет 33% информантов, а для глагола *to creep* с нерегулярной формой претерита *crept* этот процент повышается до 73%. Статистическая пестрота характеризует употребление морфологических вариантов претерита и других глаголов указанного типа. Из группы опрошенных информантов 83% употребляют нерегулярную форму для глагола *to speed* «ускорять» и только 13% его регулярную форму, но для глагола *to plead* «просить» нерегулярную форму употребляет только 27%, а регулярную 72% опрошенных. В итоге Л. Хэбер приходит к заключению, что морфологического шаблона для данной группы глаголов установить нельзя, т. к. «каждый глагол воспринимается как самостоятельная лексическая единица, сопровождаемая формулой вариативности у каждого отдельного говорящего» [2].

Действительно, невидно, чтобы качество корневого конечного согласного или такие грамматические категории, как переходность или непереходность глагола, лицо и число подлежащего, влияли на выбор формы претерита. По мнению Л. Хэбера, нельзя также заметить в группе опрошенных им лиц влияние пола и возраста информантов или самих условий опроса (т. е. письменной или устной формы предлагаемого текста). Весьма возможно, что анализ частотности употребления тех или иных глаголов с точки зрения их лексического значения мог бы пролить свет на причины преимущественного употребления одного из морфологических вариантов претерита, но нас в подсчетах, проведенных в указанной выше статье, интересует другое: если в системе современного английского языка в целом бытуют о б а морфологических варианта претерита, то для каждого отдельного говорящего на первый план в употреблении выступает о д и н из них.

В приведенном выше примере английских глаголов варианты были «замкнуты» пределами морфологии языка, однако гораздо чаще при функционировании варьирующихся структур обнаруживается взаимодействие морфологического и синтаксического уровней строения языка, а также воздействие ритмических, стилистических и иных факторов при выборе того или иного варианта. В качестве примера можно привести полные и усеченные формы вспомогательных глаголов в английском языке, т. е. корреляты *will/'ll*, *have/'ve*, *is/'s*, *had/'d*.

Для литературного языка в его разговорной разновидности частотность приведенных форм неодинакова, но морфологическое тождество полной и усеченной форм касается всех глаголов. Хронологически подобное употребление восходит к языку шекспировской эпохи, но для современного английского языка, особенно если учитывать его региональные разновидности, можно установить определенные социально-функциональные условия распределения полных и усеченных вариантов [3]. Можно также обратить внимание на один, на первый взгляд незначительный, но представляющий интерес случай варьирующихся форм для 1-го л. ед. числа будущего времени: *I shall do*, *I will do*, *I'll do*. Только *I will* и *I'll* могут считаться соответственно полным и усеченным вариантами, т. к. с фонетической точки зрения возведение *I'll* к *I shall* невозможно. Квёрк и его соавторы дают следующую парадигму для конструкций со вспомогательными глаголами, служащими для передачи понятия будущего: *shall* + инфинитив (только для 1-го л., главным образом, в британском английском), *will* или *'ll* + инфинитив для всех лиц, включая 1-е л. Далее дается разъяснение, что «*shall* в значении будущего ограничено 1-м лицом в нормативном британском английском, в то время как *will* может употребляться в этом значении для всех лиц во всей области распространения английского языка. Значительное влияние на использование *shall* оказал узус предписывающей грамматики» [1, с. 87]. Из всего этого следует, что для вариантов план того, что можно было бы назвать формальным варьированием, и план содержательный дают иногда очень сложное переплетение парадигматических и синтагматических факторов. Для британского английского сочетание *I will* + инфинитив сохраняет некоторый «семантический привесок» модальности, желательности и доброй воли,

в то время как *I shall* + инфинитив этим оттенком не обладает. Но куда с семантической точки зрения отнести *I'll* + инфинитив? Имеет ли конструкция *I'll do it for you* (пример Квёрка) или *Say that I'll write to him* (пример из произведения E. Waugh, *A handful of dust*) оттенок желательности или это просто констатация факта, решить может только широкий контекст.

Включение исторических диалектизмов в литературный язык часто служит источником возникающего варьирования, но и в этих случаях важно учитывать различные исторические срезы языка. Например, в раннесреднеанглийском личное местоимение 3-го л. женского рода *he* (из др.-англ. *heo*) и *sko*, давшее современное английское *she* и не вполне ясное по происхождению, довольно строго были локализованы по диалектам (юг — *he*, север — *sko*). Однако для XIV и первой половины XV вв. эта диалектная локализация уже стирается. Еще быстрее диалектное различие исчезает в 3-м л. мн. числа, где *hi/he* из др.-англ. *hie* (с дат. пад. *hem*) употребляется параллельно с северной диалектной формой *thei* (дат. пад. *them*), пришедшей как скандинавское заимствование. Но возникает вопрос, можно ли для современного английского языка считать формы *them/ 'em* (из *hem*) морфологическими вариантами, объединенными в одной парадигме, или этому препятствует их социолингвистический статус. Ведь если *them* — нормативная литературная форма, повсеместно употребляемая, то *'em* — не только обиходно-разговорная, но также форма, стоящая уже на грани внелитературного употребления, типичная для кокни. Следовательно, то или иное решение вопроса зависит от того, строим ли мы парадигму для языка в целом, не обращая внимания на его социолингвистическую вариативность, или ограничиваем исследование одним из его социолингвистических и функционально-стилистических вариантов.

Весьма сложно определить в качестве вариантов формы синтетические и формы аналитические, по значению иногда иногда близкие друг другу. Дело не только в том, считать ли тот или иной набор аналитических форм подлинно морфологической парадигмой или определять (как это делают некоторые лингвисты) как словосочетания грамматизованного типа, но и в самом понимании вариативности в ее связях с проблемой грамматической синонимии. Если продолжить иллюстрации, взятые из материала английского языка, то атрибутивные словосочетания *John's book* и *the book of John* «книга Джона» семантически вполне эквивалентны, но тем не менее не дают морфологических вариантов, поскольку нет оснований выделять в английском языке парадигму предложного аналитического склонения. В указанной выше грамматике современного английского языка Квёрк и его соавторы определяют конструкции типа *My bicycle is better than John's* «мой велосипед лучше, чем у Джона» как «эллиптический родительный» (elliptic genitive) и поясняют, что «в этой конструкции ведущее слово не дано, но оно эксплицируется или имплицитруется контекстом [1, с. 87]. Однако что же в данном случае оказывается подверженным варьированию? Видимо, не сама форма родительного падежа, а разные формы генитивного словосочетания в его двухэлементной структуре. Для определения уровня формальной и семантической вариативности, характерной для того или иного языка, иногда приходится искать ее показатели в пограничных, «межуровневых» сферах языка, что тесно связано с типологической характеристикой грамматического строя данного языка.

Соотношение морфологии и синтаксиса всегда было (и остается) «трудным вопросом» теории грамматики. Очевидно, что эти области взаимосвязаны, но одновременно они и различны. Где же проходит демаркационная граница между областями, подведомственными учению о синтаксических моделях языка, и тем, что следует отнести к морфологии, одинаковы ли или, наоборот, различны критерии, по которым выделяются явления морфологии и явления синтаксиса, и в какой мере большая или меньшая емкость вышеуказанных разделов грамматики зависит от типологической принадлежности исследуемого языка? Последний вопрос привлек к себе внимание, и в последние десятилетия много работ было посвящено анализу грамматических категорий в типологически разнотипных языках.

Типология того или иного языка не может не сказываться на специфике моделирования грамматических классов и грамматических конструкций, однако рассмотрение соотношения морфологии и синтаксиса исключительно в рамках проблемы типологии языков может привести к неверному представлению, что общей морфологии и общего синтаксиса вообще не должно быть. Между тем от понимания сущности морфологических структур и сущности синтаксических конструкций зависят направление и методы изучения грамматического строя конкретных языков.

История языкознания показывает, что вышеупомянутое понимание изменялось много раз. Иногда морфологию сужали до уровня перечисления формальных парадигм, относя всю содержательную часть грамматики в область синтаксиса. На смену этого понимания пришла концепция функциональной морфологии и определение значений ее единиц, исходя из общего (узкого или широкого) смыслового контекста. Синтаксис, построенный на базе категорий формальной логики, потеснился в пользу идей об актуальном членении предложения, а затем методика трансформационной грамматики привела к значительной нивелировке различий между морфологией и синтаксисом. До сих пор среди многих лингвистов бытует убеждение, что именно синтаксис является той генерирующей средой, где возникают новые значения, впоследствии подвергающиеся процессам генерализации и парадигматизации. В значительной мере это положение правильно: именно при употреблении и тех или иных лексем или тех или иных моделей возникают условия для сдвига старых и появления новых значений. Однако не следует забывать, что выбор той или иной единицы языка обусловлен присущим ей значением (лексическим или грамматическим), которое создает возможность ее употребления в определенных контекстах коммуникативной направленности. Следовательно, двусторонность связей данного речевого образования, переплетение самих понятий «значение» и «употребление» вынуждают исследователя языка обращать внимание на многоаспектность проблемы «связь формы и содержания» и рассматривать каждый из участков строя языка с позиции диалектики языкотворческого процесса.

Рассматривая сферы действия морфологии и синтаксиса, нельзя забывать, что границы между ними подвижны. Проявляется это не только в плане диахронии (грамматизация с возможной впоследствии парадигматизацией словосочетаний, процессы переразложения или опрощения единиц морфологии и синтаксиса), но и в плане синхронии. Последнее подтверждается теми трудностями, на которые наталкивались лингвисты при попытках сформулировать правила, действующие со стопроцентным охватом языкового материала того или иного уровня структуры языка.

Стратификация языка и распределение языковых фактов по уровням лексики, морфологии и синтаксиса (мы оставляем в стороне важные явления морфологии и фонеморфологии, а также всю область просодики) предполагает одновременно взаимодействие и связь этих уровней — отсутствие этой связи исключало бы использование языка как средства коммуникации. Почти каждое, а может быть, и каждое явление, принадлежащее к одному уровню языка, имеет свою точку опоры в другом уровне языка. Согласование как средство выявления синтаксической связи слов в словосочетании и в предложении использует морфологические формы словоизменения. Категориальные понятия одушевленности и неодушевленности, активности деятеля и пассивности реципиента действия во многих языках передаются при сочетании лексических, морфологических и синтаксических приемов. В каждом подобном случае полезно различать центр и периферию, ведущее начало и сопровождающие факты. При определении такого ведущего начала становится ясным, к какой области грамматики следует в первую очередь отнести данное явление, нередко спорное и противоречивое.

Разберем в этой связи статью Хадсона [4]. В морфологии современного английского языка для категории глагола, включающего подразряды — обычные переходные и непереходные глаголы, модальные глаголы, глагол *to be* («быть»), оказывается чрезвычайно трудным сформулировать

одно правило, в равной мере действенное для всех типов (подразрядов) глагола. Соответственно возникает трудность в нахождении абсолютно единообразного соотношения для глагола морфологических и синтаксических правил, которые уподоблялись бы зеркальному отражению двух вышеуказанных уровней языка. Морфологические парадигмы глагола *to be*, модальных глаголов и всех прочих «обычных» глаголов неодинаковы, а синтаксическое использование в роли сказуемых-предикатов типично для всех вышеуказанных глаголов. Возникает вопрос: каким путем единообразно и с достаточной степенью последовательности представить для всех видов глаголов морфологические и синтаксические отношения по их формальным показателям. Следует ли подразделить, т. е. разбить синтаксическое правило сообразно каждому из указанных типов глаголов, или искать другие способы решения возникшей проблемы.

В одной из своих статей Хадлстон [5] пробует опереться на правило трансформации, регулирующее согласование подлежащего и сказуемого (*subject-verb agreement*), но, по-видимому, это правило неэффективно в данном случае, что показывают простейшие примеры, особенно если вовлекается еще категория числа. Возражая Хадлстону, Хадсон приводит в пример такие слова, как *the committee*, которое может иметь согласование и по единственному, и по множественному числу, *scales* «весы», относительно которого он пишет: «Есть случаи, когда подлежащее принимает согласование по множественному числу, хотя при этом по содержанию не существует отношения более чем к одному предмету (*The bathroom scales are broken*)». Если же обратиться к правилам согласования подлежащего, представленного однородными членами предложения, то семантические и формальные признаки предикатов-глаголов и согласуемых с ними подлежащих создают еще более сложную ситуацию. *The boy and the girl* в качестве подлежащего должно иметь глагол-сказуемое во множественном числе, а *the boy or the girl* — в единственном. Зависит это от того, будет ли связь в подлежащем соединительной (*conjunct*) или разъединительной (*disjunct*). А как быть с таким примером, как *the boys or the girl...?* То же положение вещей складывается и в области категории лица: *you and I* трактуется по первому лицу, но *you and he* — по второму лицу [4, с. 76].

Безусловно, что осложнения возникают не только из-за морфологического своеобразия глагола *to be*, но также из-за его полисемантизма (и поэтому того, что можно было бы назвать полифункционализмом). В приводимых Хадсоном примерах (1) *John is working*, (2) *John is beaten whenever he plays squash*, (3) *John is to leave soon*, (4) *John is angry*, (5) *John is in the house* глагол, выполняя предикативную функцию, тем не менее очень разнолик по своему статусу. В примерах (1) и (2) это вспомогательный элемент аналитической глагольной формы, в (3) имеет значение долженствования — модальность, равную по значению модальному глаголу *ought*, в (4) это связка, в (5) — глагол бытия. Поэтому в какой-то мере прав Хадсон, указывая, что объяснить всю совокупность морфологических и синтаксических потенций всех типов глаголов одинаковым образом, исходя из принципов «*subject-verb agreement*» (как это предлагает Хадлстон), действительно невозможно.

Но что же предлагает Хадсон? Два его постулата построены как расширение зоны морфологии в область явлений, обычно трактуемых грамматистами как относящиеся к зоне синтаксиса: 1) «морфологические правила, которые определяют форму английского глагола, должны также указывать на субъект глагола (вне зависимости от того, стоит ли он рядом или нет); 2) действенность синтаксических правил может быть снижена в результате трактовки некоторых явлений согласно морфологическим, а не синтаксическим, правилам» [4, с. 73]. По мнению Хадсона, можно в этой связи вспомнить, что отдельные факты морфологии, не объяснимые системно действующими морфологическими правилами, принято выводить в область лексики. Кстати сказать, это давно использовалось в нормативных курсах морфологии, где при соответствующих параграфах, в которых излагались правила грамматики, помещались списки «исклю-

чений» из данного правила. Хадсон также заключает, что «морфология *be* скорее должна рассматриваться в словаре (lexicon), чем при морфологических правилах как таковых» [4, с. 82]. Из этого неизбежно следует, что морфологические правила применимы только к таким словам, формообразование которых целиком и без исключений может быть подчинено данному правилу. Столь «ригористическое» понимание области морфологии очень обедняет морфологию, не только потому, что сужает ее границы, но, главным образом, из-за того, что не учитывает ее функционально-семантических сторон и игнорирует явление вариативности форм передачи грамматических значений.

Что касается замечания Хадсона по поводу необходимости указывать при морфологических описаниях в словарной статье также отношение к синтаксическим категориям предложения, то это неизбежно должно приводить к весьма зыбкому разграничению уровней структуры языка. Хорошо известна и вполне закономерна связь лексико-грамматических подрядов с синтаксическим построением предложения и изменением грамматического оформления членов предложения (подлежащего, сказуемого, дополнения) при заполнении их позиций теми или иными разрядами лексических единиц, но, видимо, эту сторону лексического состава языка надо упоминать не в словаре общего типа, а в каких-то работах, посвящаемых проблемам синтаксической валентности членов словосочетания. Ведь в языках определенных типов, в которых представлено словоизменение частей речи, функционирующих в качестве определений, согласование отражено в атрибутивных словосочетаниях. В согласовании предикативного атрибута с подлежащим преодолевается неясность синтаксической связи, возникающая при дистантном расположении вышеуказанных членов предложения.

Формальная и смысловая связь элементов структуры различных уровней языка проявляется в том, что потенциальные возможности одного уровня находят себе реализацию в построении моделей другого уровня. Синтаксические конструкции должны опираться на морфологические формы слов, заполняющих те или иные позиции в модели предложения. Однако парадигматические ряды на уровне морфологии создают определенный резерв для синонимических замен, что в плане диахронии дает толчок к грамматизации словосочетаний или, наоборот, к превращению их во фразеологические единства. Представляется, что трудности в вопросе разграничения области морфологии и синтаксиса, с которыми сталкиваются лингвисты, чаще всего возникают из-за непонимания самой сущности этих областей грамматики, непонимания содержательной стороны синтаксических отношений, а также возможностей, которые таит в себе функциональный подход к явлениям языка. Не случайно, что для полного понимания связи морфологического и синтаксического уровней строения системы языка, определения границ варьирования элементов, их составляющих, и оценки их семантики в плане функционального использования приходится привлекать некоторые положения типологии. Типологическая принадлежность данного конкретного языка неизбежно проявляется во всех звеньях его системы. Однако для определения степени формальной и семантической вариативности, характерной для того или иного языка, нередко приходится искать ее показатели в пограничных «межуровневых» зонах языковой системы. Проблема вариативности в области грамматического строя языка не может быть решена исключительно в пределах функциональной морфологии, т. к. неизбежно происходит ее вторжение в область функционального синтаксиса.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A grammar of contemporary English. London, 1972, с. 208.
2. Haber L. R. Leaped and leapt. A theoretical account of linguistic variation.— In: Foundations of language, 1976, v. 14, № 2, p. 231.
3. Labov W. Contraction deletion and inherent variability of the English copula.— Language, 1945, v. 45, № 4.
4. Hudson R. The power of morphological rules.— Lingua, 1977, v. 42.
5. Huddleston R. D. Homonymy in the English verbal paradigm.— Lingua, 1975, v. 37.

МИХАЙЛОВСКАЯ Н. Г.

**О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ИЗУЧЕНИЯ  
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВА  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ**

Актуальность вопросов, связанных с исследованием русского языка как средства межнационального общения, бесспорна не только для отечественной лингвистики, но и для ряда других областей науки и практики — социологии, экономики, преподавания и культуры. В работах, опубликованных за последнее время, социологи, философы, экономисты и методисты постоянно обращаются к этой проблеме в аспекте своих специальностей. Так, социологи и философы рассматривают вопросы русского языка как средства межнационального общения в плане социальных изменений структуры советского общества, а также в плане межличностных отношений; экономисты делают упор на экономических преобразованиях и миграционных процессах; методисты ставят данную проблему и в рамках русского языка как предмета преподавания в национальной школе, и в границах других школьных и вузовских дисциплин; исследователи и деятели искусства обращаются к этой проблеме при изучении культурных связей между народами Советского Союза.

Это аспекты нелингвистических областей, представляющие, однако, значительный интерес и для языковеда, потому что в них по существу определяются основные пути распространения русского языка в данном статусе, указываются главные процессы, обуславливающие его распространение, причем сам характер этих процессов, несомненно, влияет на некоторые особенности русского языка при его функционировании на территории страны. Постановка вопроса о русском языке как средстве межнационального общения в нелингвистических трудах, еще раз подчеркивая актуальность проблемы в целом, одновременно является своего рода ориентиром при анализе теоретических сторон данной проблемы.

Очевидно, что большой общественный интерес к лингвистической проблематике вызван объективными причинами: 60 лет, прошедшие со времени создания Союза Советских Социалистических Республик, ознаменовались коренными социально-экономическими и культурными преобразованиями в стране при совместной деятельности всех народов СССР. Это сотрудничество в любой области современной жизни страны подготовило, сформировало и определило новый этап в развитии русского языка — в качестве средства общения между нациями и народами Советского Союза.

Сама формулировка «русский язык как средство межнационального общения между народами СССР» включает в себе и наименование темы, которая локализована социально — поскольку речь идет о русском языке в социальной среде новой исторической общности, в среде советского народа, и постановку проблемы, которая определяется прежде всего коммуникативной функцией названного объекта. С лингвистических позиций в данной формулировке содержится учет системно-структурных признаков и учет признаков речевых характеристик.

Вместе с тем разграничение признаков по названным двум направлениям, т. е. по направлению системности языка и по направлению его функционирования при общении, более, пожалуй, условно, чем при исследовании русского языка в среде породившего его национального коллек-

тива. Следование принятой формулировке «русский язык как средство межнационального общения» необходимо актуализирует коммуникативную функцию, причем и в ее потенциальном состоянии свойства языковой системы, и в ее конкретной реализации речевых актов.

Признак «межнациональный» выводит русский язык в сферы контактов народов СССР в различных областях общественной жизни. На первый же взгляд здесь возникает известная корреляция данного признака с признаком «национальный». Соотношение этих признаков может рассматриваться в аспекте содержания определенных понятий, которые требуют уточнения как понятий, обусловленных лингвистически и экстралингвистически. В данном случае речь идет о главных терминах, используемых при анализе проблемы. Следует заметить, что терминология в этой области в настоящее время нуждается в конкретизации. Необходимость такой конкретизации вызывается задачами дальнейшего совершенствования лингвистической теории и практики и становится все более острой в связи с увеличением статей, монографий и диссертаций, посвященных исследованию русского языка в данном статусе.

Нет сомнения, что уточнение понятий является неперенным условием развития в каждой научной области. Строгость терминологии становится частичным свидетельством совершенствования научного аппарата. Но вместе с тем нельзя проходить мимо и такого явления, когда возникающая понятийно-семантическая диффузность обозначений заставляет пристальнее и внимательнее всматриваться в существо и характер обозначаемого явления. Этот вопрос ставится не только в русле лингвистической проблематики, но и в связи с общей теорией познания. Ср. мнение А. Л. Андреева: «Казалось бы, мы здесь сталкиваемся с теоретическим парадоксом. С одной стороны, многозначность, интуитивность и связанная с ними нередко смысловая расплывчатость концептуального аппарата науки — отрицательные факторы, подлежащие всемерному устранению, с другой — они неустранимы и, более того, полезны для развития научного знания. Конечно, тут налицо определенное противоречие, обусловленное противоречивыми тенденциями самого научного познания» [1].

Вопрос о терминологии чрезвычайно существен при разработке темы «русский язык как средство межнационального общения» потому, что многие важные ее стороны так или иначе связаны с понятийным содержанием и объемом ряда обозначений, принятых в этой области.

Итак, вопрос о терминологии встает в связи с корреляцией признаков «межнациональный (язык)» — «национальный (язык)». Последующая корреляция включает и признак «мировой (язык)». В условной иерархии этих признаков понятие «межнациональный» занимает как бы положение среднего звена в цепочке: «национальный» — «межнациональный» — «мировой». Для того, чтобы определить содержание «среднего звена», следует обратиться к содержанию первого и третьего понятий.

Начнем с понятия «мировой». Свойства и качества мирового языка так, как их определяет В. Г. Костомаров, сводятся в основном к четырем тезисам: 1) глобальность распространения с учетом того, что данный язык находит применение на территориях, географически далеких друг от друга; 2) сознательность принятия данного языка и как этическая характеристика авторитетность его; 3) изучение данного языка «академическим путем», т. е. через сеть организованного преподавания, а не его усвоение от поколения к поколению; 4) выполнение общественных функций, не свойственных национальным языкам, и невыполнение общественных функций, им свойственных (или выполнение постольку, поскольку данный мировой язык является языком национальным, т. е. родным языком своей нации) [2]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Следует отметить, что при рассмотрении отдельного национального языка на положении мирового могут быть выделены такие характеристики, которые являются специфическими именно для данного языка. Так, Ю. Д. Дешериев указывает семь характеристик, относящихся к русскому языку и отличающих его от других мировых языков, главным образом в аспекте культурного строительства и культурного обмена между народами Советского Союза и за пределами страны [3].

Следовательно, характеристики языка как мирового проводятся по четырем параметрам: по параметру распространённости, где принимается во внимание количественный показатель и региональный; по параметру отношения к языку лиц, использующих данный язык (или стремящихся его использовать); по параметру особенностей усвоения; по параметру общественных функций. Именно по последнему параметру В. Г. Костомаров сопоставляет язык мировой и язык национальный. В то же время как раз последний тезис нуждается в уточнении. Во-первых, следует подчеркнуть, что мировым языком может стать только язык национальный. Во-вторых, «общественные функции» в трактовке, приведенной выше, могут быть приняты лишь в значении «сфер», которые объективно отсутствуют в данной национальной среде и которые создаются ситуациями межгосударственных контактов. В таком понимании «общественные функции» языка выступают как ввелингвистическая категория. Но если общественные функции представить в качестве лингвистической категории в интерпретации, предложенной В. В. Виноградовым, то для мирового языка они не могут быть такими, которые не свойственны данному языку как языку национальному, ибо только в национальном языке наиболее полно и наиболее исчерпывающе реализуются его возможности, особенности его системы и структуры.

По концепции В. В. Виноградова трехчленное разделение общественных функций языка — общение, сообщение и воздействие — ориентировано на функционально-стилистическую систему русского языка [4]. Эти категории (общение, сообщение и воздействие) оказываются соотносенными, если отчасти не совпадающими, с категориями коммуникативности, информативности и экспрессивности. В итоге рассмотрения этих функций в соположении с функционально-стилистической системой нетрудно убедиться, что национальная специфика языка выражается не столько наличием социальных функций в обобщенном виде, сколько распределением и проявлением этих функций в той или иной общественной сфере при реальном использовании языка во всем многообразии его форм.

Что же касается трех первых признаков мирового языка, — т. е. распространённости, отношения к нему говорящих и приемов усвоения, — то применительно к признаку «национальный» они трансформируются следующим образом. Для статуса национального языка признак количества носителей и территориальной распространённости не является определяющим. Для национального языка как языка родного полностью нейтрализуется признак его «сознательного» принятия. Изучение же национального языка с тех же позиций, т. е. как родного языка, превращается в освоение основных правил грамматики и правописания, и эта область является предметом школьного обучения. Усвоение же собственно коммуникативной функции национального языка в сфере непрофессионального общения и вне производственной деятельности происходит стихийно: в семье, в окружающей среде, и совершенствуется большей частью также стихийно в соответствии с действующей нормой. (Разумеется, известное значение здесь имеет практическая деятельность лингвистов, направленная на повышение уровня культуры речи в целом и на совершенствование ораторского мастерства, в частности). Те оппозиции, по которым осуществляются исследования современного русского языка, охватывают многообразие его форм прежде всего как языка национального: общенациональное — диалектное — просторечное — разговорное — литературное, нормативное — ненормативное, письменное — устное и т. д.

Какие же параметры и какие характеристики актуализируются в понятии «русский язык как средство межнационального общения»?

Во-первых, параметр распространённости приобретает четкие границы — территория Советского Союза. Во-вторых, признак сознательного принятия существенно дополняется признаком добровольности. При анализе этой стороны вопроса необходимо учитывать роль общественных факторов, которые связаны с этической оценкой авторитетности. Если в формировании русского языка как мирового большое значение имеют достижения советского народа во всех областях народнохозяйственной жизни,

которые в совокупности способствуют авторитетности русского языка, то в формировании статуса русского языка как языка межнационального процесса и тенденции в производственно-экономических областях и в духовных — единые для всего советского народа — являются определяющими. В-третьих, обучение русскому языку в национальной школе значительно отличается от его преподавания, с одной стороны, как языка иностранного, а с другой — как языка родного. Следует отметить, что в настоящее время преподавание в национальной школе во многом базируется на тематическом принципе. Лингводидактическая квалификация «темы» опирается на внеязыковую основу: «тема» понимается как главное содержание акта речи. На первый план при этом выносятся уровень лексики, тогда как грамматический уровень в совокупности его составляющих выступает при таком подходе в виде подчиненной величины. Грамматические категории в подобных случаях усваиваются на основе изучения лексических объединений, актуальных для той или иной темы, т. е. для конкретного содержания акта речи<sup>2</sup>. Состав лексико-тематических групп является своего рода дифференцирующим показателем при преподавании русского языка в национальной школе и при преподавании русского языка как иностранного, что определяется главным образом степенью понятийной детализации внутри отдельных лексических объединений. В частности, при преподавании русского языка в национальной школе большая роль отводится общественно-политической лексике, актуальной для сферы политической жизни страны, общей для всех народов Советского Союза. Следует также иметь в виду, что при преподавании русского языка иностранным учащимся может осуществляться принцип профессиональной направленности в соответствии со специальностью той или иной группы (естественно, в данном случае подразумевается взрослый состав учебных групп), что ведет к некоторому коммуникативному и лингвистическому отбору материала. Профессиональная ориентация, безусловно, проявляется и при преподавании русского языка в национальном вузе, но здесь она служит не для ограничения ситуативных форм общения, не для определения их обозримого состава, а для более углубленного усвоения терминологической и специальной лексики.

Но, пожалуй, наиболее важным фактором, позволяющим разграничивать преподавание русского языка как иностранного и преподавание русского языка в национальной школе, является ориентация на языковую среду. Преподавание русского языка в национальной школе принципиально нацелено на билингвизм: оно осуществляется параллельно с изучением родного языка. В то же время понятие иноязычной среды на фоне современных миграционных процессов в стране наполняется новым содержанием: оно указывает не только на национально-языковую однородность, но и на национально-языковое многообразие в пределах союзных и автономных республик и областей. Из этого следует, что изучение взаимовлияния русского языка и национальных языков должно исходить не только из фактора национально-русского билингвизма, но и из фактора полилингвизма, принимая его как определенную языковую ситуацию. При этом полилингвизм понимается прежде всего как функционирование нескольких языков на определенной территории и во вторую очередь как одновременное владение несколькими языками населением данной территории. В этом отношении весьма показательным является количество языков, на которых ведется преподавание в союзных и автономных республиках. Например, в Киргизии преподавание осуществляется на семи языках: на киргизском, русском, таджикском, узбекском и др.

В аспекте изучения полилингвизма встает очень интересная и пока мало исследованная проблема: какие специфические особенности проявляются в русской речи таджика или, например, узбека в иноязычной для них среде? Очевидно, что анализ этого вопроса не сводится исключительно

<sup>2</sup> Данный подход находит отражение прежде всего в работах методического характера. См., например, [5], ср. также [6].

ни к изучению влияния родного языка, ни к изучению влияния языка коренной нации, живущей на данной территории, — в подобных случаях неизбежно влияние обоих факторов. Сведения, полученные в результате проведенного анализа, предполагают дальнейшее сопоставление с явлениями, отражающими влияние национального языка на русскую речь в среде данной национальности или народности.

Проблема особенностей русской речи билингва в родной для него национальной среде и в русской речи билингва в инонациональной, но не русской среде может быть рассмотрена в плане критического отношения к понятию «национального варианта» русского языка. Это понятие, бытующее в некоторых лингвистических трудах, основано на отклонениях от норм русского языка, которые наблюдаются в русской речи билингва<sup>3</sup>. Но, как нам представляется, понятие «национального варианта» само по себе оказывается сильно поколебленным в связи с постановкой предыдущего вопроса. Действительно, к какому «национальному варианту» можно отнести отклонения, обнаруживающие, так сказать, смешанный характер, т. е. отклонения, вызванные не только родным языком билингва, которым он пользуется в семье и в бытовом общении, но и вызванные иноязычной для него средой? Воздействие нескольких языков особенно отчетливо прослеживается в русской речи населения пограничных районов республик. Например, в русской речи жителей Черновицкой области используются элементы не только украинского, но и молдавского языка.

В сущности, здесь мы имеем дело с фактами речи, обусловленными влиянием систем разных языков. Эти факты квалифицируются как интерференция, нарушающая закономерности и нормы русского языка на всех его уровнях.

Подробное рассмотрение трактовки этого понятия в работах отечественных и зарубежных лингвистов, равно и различных объяснений механизма интерференции, не входит в задачи автора настоящей статьи<sup>4</sup>. В аспекте же интересующих нас вопросов следует подчеркнуть один важный момент, а именно то, что в трудах ряда лингвистов, посвященных данной проблеме и смежным проблемам (о «языковых контактах», о «языковых смешениях»), обозначена оппозиция «индивидуального» и «общего», которую нельзя игнорировать ни при исследовании интерференции, ни при рассмотрении понятия «национального варианта» русского языка.

В лингвистическом понимании понятия «национальный вариант» исходным является признак о б щ н о с т и своеобразия русской речи у носителей того или иного отдельного, конкретного национального языка. Однако в первом же приближении обнаруживается значительная условность данного признака как неперменного для понятия «национального варианта» русского языка.

Начнем с того, что определение самого своеобразия русской речи в каждом национальном коллективе основывается на данных социолингвистических обследований и на данных социолингвистического анализа. Необходимым условием при этом являются сведения об информантах, относящихся к их профессии, образованию, месту жительства, возрасту и т. д. В то же время характер отклонений от русских норм, т. е. степень и мера влияния родного языка, самым непосредственным образом связаны с у р о в н е м владения вторым (русским) языком. По имеющимся данным, которые относятся к разным регионам Советского Союза, обнаруживается, что, как правило, степень влияния родного языка гораздо интенсивнее в русской речи сельского населения, чем в русской речи городского населения. Такие обследования были проведены в республиках территориально далеких: в Литве и Азербайджане [9, с. 10]. В обоих случаях

<sup>3</sup> Критическое рассмотрение данного понятия в аспекте языковедческих категорий см. в статье [7].

<sup>4</sup> Указанный вопрос подробно освещен в статье [8].

наблюдается одинаковая картина: уровень владения русским языком у городского населения выше, чем у населения в сельской местности. При этом отмечается не только, так сказать, идентичность факта, но и причин, лежащих в его основе: во-первых, большая национальная монолитность жителей сельской местности, чем жителей города; во-вторых, характер труда, характер производственной деятельности на селе, при которой нет настоящей необходимости коммуникации на языке межнационального общения; в-третьих, нехватка и недостаточно высокая квалификация преподавателей русского языка в сельских местностях национальных республик. Следует также отметить, что первые две причины, т. е. национальная монолитность и специфика труда, оказывают свое влияние на использование русского языка не только взрослым населением, но и учащимися школ. Так, учащиеся средних, а иногда и старших классов прибегают к русскому языку чаще в пассивной, нежели в активной форме: слушают радио, смотрят телепередачи, читают художественную литературу на русском языке. Ситуации же общения на русском языке обычно создаются на уроках. Но все же уровень владения русским языком в старших классах выше, чем в младших и средних, даже при тех экстралингвистических условиях, о которых упоминалось. Это, разумеется, очевидная истина. Но бесспорность данного положения вносит еще одну поправку в понятие «национального варианта» русского языка — поправку на возраст, т. е. национальная общность в качестве носителя «национального варианта» еще раз подвергается дроблению: по возрастному признаку и по признаку образования.

Далее. Как отмечается в социолингвистических исследованиях, уровень владения русским языком и, следовательно, активность интерференции родного языка различна даже у лиц одинакового образовательного уровня. Например, было проведено обследование степени владения русским языком студентами разных вузов Литвы [11]. Информантами были студенты разных специальностей: инженеры автоматизированных систем управления, химики, историки, экономисты, ветеринарные врачи и агрономы. В результате обследования выяснилось, что наиболее высоким уровнем владения русским языком обладают историки и экономисты, наименее — ветеринарные врачи и агрономы, в большинстве своем выпускники сельских общеобразовательных школ. Лучшее же знание терминологии по специальности обнаружили инженеры автоматизированных систем управления. Конечно, пока трудно сказать, насколько приведенные факты типичны для сферы высшего образования всех регионов и республик Советского Союза. Но в данном случае важно подчеркнуть, что даже в пределах однородного социального и возрастного национального коллектива наблюдаются значительные различия в знании русского языка, в умении им пользоваться в разных ситуациях общения, а также в степени интерференции родного языка. К сказанному следует прибавить и тот общепризнанный факт, что социолингвистические исследования базируются на охвате сравнительно небольшой группы носителей конкретного национального языка, и чаще всего информантами являются студенты или школьники (см. об этом [12]). Поэтому социолингвистические исследования в отечественном языкознании в большей степени освещают положение дел в сфере преподавания, тогда как другие сферы, в том числе производственные, остаются пока в тени.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что шкала отступлений от кодифицированных норм русского языка, от его системы и структуры в проекции на носителей одного и того же национального языка может быть очень разной и в количественном, и в качественном отношении. Эта шкала может быть максимальной, когда становится сомнительным самый факт владения русским языком, и минимальной, при которой сказываются лишь незначительные особенности национального языка. В силу таких объективных причин понятие «национального варианта» русского языка не является постоянным и неизменным, но подразумевает некоторые подмножества «вариантов»; в силу этого и сами отклонения от норм русского языка не образуют устойчивой системы.

Вместе с тем проблема интерференции может быть рассмотрена и с иных позиций — не с точки зрения влияния отдельных национальных языков на русскую речь билингва, а с точки зрения описания самой системы русского языка в ее соотношении с речью билингвов как носителей разных национальных языков. И здесь обнаруживаются весьма любопытные факты.

В области вокализма, например, произношение *и* вместо *ы* отмечается в русской речи таджиков, литовцев, грузин, бурят и калмыков, т. е. носителей совсем не родственных языков (таджикский, как известно, относится к иранской группе, литовский — к балтийской, грузинский — к картвельской, бурятский и калмыцкий — к монгольским языкам). Но тем не менее «на выходе» влияния этих неродственных языков на русскую речь представителей названных национальностей получается одинаковое нарушение орфоэпических норм русского языка. Приведем другой пример из области консонантизма: частая мена *в* на *б* прослеживается в русской речи киргизских билингвов, подобное же нарушение наблюдается у бурят. Таким образом, некоторая общность в нарушении норм уславливается в данном случае у носителей языка, относящегося к тюркским, и у носителей языка, принадлежащего к монгольским.

Иллюстрации общности отклонений от системы русского языка можно привести из области морфологии. Например, отсутствие грамматической категории рода в тюркских языках вызывает частые ошибки при согласовании в русской речи узбеков, башкир, татар и др. носителей языков данной группы. Однако сходные отклонения свойственны также билингвам-эстонцам, т. е. носителям языка, относящегося к финно-угорской группе. Как отмечают исследователи эстонско-русского двуязычия, «в большинстве случаев загрудняет не сама техника согласования, а отнесение существительного к тому или иному роду и — в связи с этим — образование начальной формы» [13].

Подобные примеры могут быть продолжены. Однако нас в первую очередь интересует тот факт, что проблема интерференции может быть поставлена в аспекте типологии с ориентацией на систему русского языка. Здесь имеется в виду установление типических отклонений независимо от «порождающего» их механизма того или иного родного для билингва национального языка. Разумеется, предварительные этапы такой работы предусматривают анализ явлений интерференции в речи носителей отдельных национальных языков, и только на базе и на основе подобного анализа может быть произведен их синтез. Следовательно, направление исследования определяется как «от речи к системе».

Целесообразность постановки проблемы типологии интерференции обусловлена не только теоретическим интересом, но и в не меньшей мере практическими задачами. Во-первых, установление типологии обнаружит те звенья системы русского языка, которые в целом представляют наибольшие трудности для носителей разных национальных языков. Во-вторых, здесь с наибольшей наглядностью проявляется опора на коммуникативный принцип, т. е. на основное и главнейшее назначение русского языка как средства межнационального общения. Принцип коммуникативности выражается в том, что анализ проводится на речевом материале, точнее, речевой материал является отправным при исследовании; при установлении «уязвимых» звеньев системы русского языка коммуникативность присутствует в качестве потенциала дальнейшей реализации нормативных требований. В-третьих, типология интерференции позволит определить особенности системы русского языка именно как языка межнационального общения, ибо при этом обнаруживаются такие ее свойства и качества, специфика которых может и не осознаваться носителями русского языка как языка родного. Такой нормативный ракурс исследования является культурно-речевым в том отношении, что он подразумевает преодоление «первой ступени» культуры речи, когда усвоение системы русского языка с самого начала ориентировано на оппозицию «правильного» — «неправильного».

По-видимому, предлагаемый аспект изучения интерференции должен

осуществляться в проекции на уровни языковой системы. Иначе говоря, квалифицируя данный речевой факт как известное нарушение, исследователь обязан соотносить его с определенным ярусом языковой системы. Однако не все уровни оказываются с этой точки зрения в одинаковом положении. Наиболее легко квалифицируются явления, относящиеся к фонетико-фонологической подсистеме. Это и понятно: фонетико-фонологическая подсистема, как известно, обнаруживает возможности более четкой формализации сравнительно с другими ярусами. Что же касается морфологических категорий, то в речи они оказываются теснейшим образом связанными с синтаксическими явлениями. Так, например, ошибки в русской речи носителей тюркских языков, когда предложные конструкции заменяются беспредложными (типа *щетка обуви* вместо *щетка для обуви*), соседствуют с конструкциями, где требуемая форма родительного падежа заменяется формой именительного падежа (*зал для пассажиры*) [14].

При постановке этих вопросов первоочередной задачей является разработка методики установления и описания интерференции. Система русского языка при этом представляется в виде своеобразной сети, через которую «пропускаются» обобщенные факты отклонений в русской речи билингов. Трудности усугубляются и тем, что в речевом потоке и в его отдельных фрагментах грамматические нарушения нередко обусловлены семантически, в частности, это сказывается на уровне сочетаемости. В то же время семантические ошибки имеют собственное значение, и в каком-то смысле нарушения в области семантики обнаруживают большую самостоятельность, независимость, чем нарушения грамматические. Очевидно, эти особенности лексико-семантического уровня оказывают влияние на лингводидактические принципы преподавания русского языка в национальной школе, когда особый упор делается на различного рода лексико-тематических объединениях.

Устойчивость интерферирующего влияния родного языка на русскую речь билингов на лексико-семантическом уровне подчеркивает известный советский языковед В. И. Абаев, ссылаясь на свой собственный языковой опыт: «Я владею русской речью с детства, а последние 30 лет почти постоянно живу в русском окружении. И однако же я до сих пор нередко ловлю себя на том, что продолжаю мыслить на родном мне осетинском языке. Например, мне случается иногда употреблять глагол *положить* там, где следует сказать *поставить*: *положить стакан* вместо *поставить стакан*. Почему? Несомненно, потому, что в осетинском „положить“ и „поставить“ выражается одним и тем же глаголом *сæсæгун*. С другой стороны, я до сих пор чувствую какое-то неудобство от того, что в русском языке „легкий“ в смысле „нетяжелый“ (по весу) и „легкий“ в смысле „нетрудный“ выражаются одним словом, а не двумя разными, как в осетинском (*гæсæг* и *сæсæп*). В этих и других неискоренимых семантических представлениях больше, чем в чем-либо другом, сказывается до сих пор то, что моя русская речь формировалась на осетинском „субстрате“» [15].

В высказывании В. И. Абаева следует выделить один важный момент, а именно то, что здесь не просто констатируется факт влияния родного (осетинского) языка на русскую речь, но объясняется это влияние *мысли* на родном языке. А отсюда можно сделать вывод, что высшей ступенью овладения русским языком носителями национальных языков народов СССР является не столько «самоперевод» билингва в процессе речевого акта, сколько непосредственная мыслительная деятельность на родном (русском) языке, параллельная с речевым актом. В сущности, здесь мы приходим к фактору осознанности механизма неродного языка, который ведет, в свою очередь к совершенному владению вторым языком.

Конечно, исследования в предлагаемых направлениях, ориентированные на лингвистическую теорию и практику, осуществимы в долгосрочной программе. Но только высокий уровень знания русского языка должен обеспечить претворение гармонического национально-русского двуязычия, характеризующего перспективы языкового развития в Советском Союзе. При этом очевидно, что общественная значимость изучения русско-

го языка как средства межнационального общения во всех возможных аспектах повышает ответственность лингвистов при анализе многообразных проблем, связанных с этой темой.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Андреев А. Л.* Художественный образ и гносеологическая специфика искусства. М., 1981. с. 70.
2. *Костомаров В. Г.* Мировое значение русского языка в XX в. и его положение среди других языков.— В кн.: Русский язык в современном мире. М., 1974.
3. *Дешериев Ю. Д.* Тенденция развития языковой жизни человечества и русский язык как один из мировых языков.— В кн.: Теория и практика преподавания русского языка и литературы. Роль преподавателя в процессе обучения: Доклады советской делегации на IV конгрессе МАПРЯЛ. М., 1979, с. 249.
4. *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 6.
5. *Саягова Л. Г.* Усвоение грамматических явлений в связи с тематически связанной лексикой.— Русский язык в казахской школе, 1969, № 3.
6. *Саягова Л. Г.* Лексика как система и методика ее усвоения. Уфа, 1979.
7. *Иванов В. В., Михайловская Н. Г.* Русский язык как средство межнационального общения: актуальные аспекты и проблемы.— ВЯ, 1982, № 6.
8. *Дешериева Ю. Ю.* Проблема лингвистической интерференции в современном языкознании.— В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
9. *Баскаков А. Н.* О функционировании русского языка в Азербайджанской ССР.— В кн.: Русский язык как средство межнационального общения. М., 1977.
10. *Михальченко В. Ю.* Функционирование русского языка в Литовской ССР и его взаимодействие с литовским языком.— В кн.: Русский язык как средство межнационального общения. М., 1977.
11. *Меркене Н. А.* Функционирование и преподавание русского языка в сфере высшего образования Литовской ССР.— Lietuvos kalbotyros Klausimai, XIX. Socialinės lingvistikos problemos. Vilnius, 1979.
12. *Крючкова Т. Б.* К вопросу о методах социолингвистических исследований.— В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
13. *Пяль Э., Тостель Э., Тукумцев Г.* Сопоставительная грамматика эстонского и русского языка. Таллин, 1962, с. 93.
14. *Мейрамов Г. А.* Интерференция при изучении несогласованных определений (на материале тюркских и русского языков).— В кн.: Пути развития национально-русского двуязычия в нерусских школах РСФСР. М., 1979.
15. *Абаев В. И.* О языковом субстрате.— В кн.: Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР. Вып. IX. М., 1956, с. 66.

## ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

АДМОНИ В. Г.

### НУЛЕВАЯ СВЯЗКА, СВЯЗОЧНЫЙ ГЛАГОЛ И ГРАММАТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ

Нулевая форма — давний, хотя и не всегда эксплицированный предмет размышления и споров в лингвистике [1]. В очень четком виде проблема нулевой морфемы была поставлена у Ф. де Соссюра, который отмечал, что «отсутствие окончания может играть такую же роль, как и обычное окончание», и указывал, что аналогичным образом могут существовать формы слов «с нулевым суффиксом» [2]. А. М. Пешковский вводит понятие нулевой формы в само определение формы слова. По Пешковскому, она представляет собой особое свойство слова, «в силу которого оно распадается по звукам и по значению на основную и формальную часть, причем по звукам формальная часть может быть нулевой» [3, с. 16]. Более того, Пешковский распространяет понятие нулевой формы и на синтаксис, вводя понятие нулевой связки в предложениях с именным предикативом и отсутствием связочного глагола *быть*, в которых «это пустое место», это отсутствие глагола функционирует в языке как *н а с т о я щ е е в р е м я и з ъ я в и т е л ь н о г о н а к л о н е н и я г л а г о л а*, так что образуется нулевая форма словосочетания, в котором безглагольность — нулевой признак с глагольным значением [3, с. 258—259, 351—352, 358].

Тем самым возникла необходимость деления нулевой грамматической формы на нулевую морфологическую (нулевая морфема) и нулевую синтаксическую форму (нулевая словоформа). Если нулевая морфема вошла в практику грамматических описаний уже давно и прочно, то с нулевой словоформой дело обстоит значительно сложнее. Показательно, что в весьма солидном лингвистическом словаре Т. Левандовского при слове *Zero-Form* стоит отсылка: *Nullmorphem* [4]. Несмотря на весь авторитет Пешковского, этот термин не используется в академических грамматиках русского языка [5, 6]. Вместе с тем в исследовательской практике термины «нулевая связка», «нулевая форма глагола» и т. п. применяются чрезвычайно широко<sup>1</sup>. «Нулевая форма глагола» является, в частности, одним из основных грамматических понятий в таких концепциях грамматики, как валентностная грамматика и грамматика зависимостей.

Понятие нулевой связки с неизбежностью вытекает из рассмотрения парадигмы некоторых видов предложения. Например, в русском языке<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Для простоты изложения будем в дальнейшем обозначать нулевой связкой не только те случаи, когда, — например, в русском языке, — отсутствует действительно связочное *есть*, но и все те случаи, когда отсутствует *есть* — «находиться (где-нибудь)», «пробывать (в каком-нибудь состоянии)» в предложениях типа *он дома*, *он в хорошем настроении*. обстоятельственные и т. п. компоненты предложения оказываются здесь не только необходимыми, но и основными частями высказывания и тем самым должны рассматриваться как часть, притом основная часть, сказуемого, которое в своей цельности может быть обозначено как «расширенное сказуемое» [7, с. 28]. Для краткости изложения мы будем в дальнейшем условно именовать обстоятельственные и другие члены расширенного сказуемого просто предикативами.

<sup>2</sup> Речь идет именно о парадигме типов предложения, относящихся к разным его аспектам и с учетом различий его употребления в разных временных планах, поскольку эти различия влияют здесь на саму структуру предложения. Мои возражения против сведения парадигматики предложения к парадигматике морфологической, а именно к парадигме глагольной, остаются в полной силе [8].

Ты врач; Ты был врачом (врач); Ты будешь врачом (врач); Был бы ты врачом (врач); Будь врачом! (врач); Ты врач?

Отсутствие связки в первом и в последнем члене этой (впрочем, неполной) парадигмы означает, что в них отсутствуют те значения, которые выражены связками в других ее членах, а именно значения прошлого и будущего времени, условности и побудительности. Бессвязочные предложения тем самым оказываются наделенными грамматическими значениями настоящего времени и изъявительного наклонения.

Очень интересна позиция, с которой подходит к этой проблеме А. А. Потебня. Он полагает, что и в предложениях без связки связочный глагол, хотя и отсутствующий, все же является носителем сказуемости. Соответственно с этим именное сказуемое оказывается для Потебни и здесь всего лишь предикативным атрибутом. Рассматривая эту структуру в историко-типологическом плане, он объясняет это явление общей тенденцией индоевропейских языков к увеличению различия между именем и глаголом. Свою трактовку отсутствующих (т. е. нулевых) форм связки Потебня доказывает языковыми фактами русского языка, взятыми в парадигматическом плане (не употребляя термина парадигма): «...и опускаясь (как в случаях „он жив“, т. е. теперь), он (связочный глагол. — А. В.) может удерживать функцию настоящего времени благодаря постоянной возможности сравнения со случаями явственного обозначения в связке времен прошедшего и будущего: „он был, будет жив“» [9]<sup>3</sup>.

Но парадигматическими отношениями, вообще системой чистых отношений в языке ограничиться нельзя. И безусловно «вдвигающаяся» в ряд лексически выраженных связок нулевая связка оказывается во многом отличающейся от них, если взглянуть на их соотносительность не в парадигматическом плане, а синтагматически, причем с точки зрения структурной организации предложения, т. е. с точки зрения грамматического строя как системы построения [12]. Ведь предложение в своем реальном существовании должно выступать как структурная цельность, как некое динамическое и четко организованное, сцементированное единство, способное именно благодаря наличию таких черт вычлениваться из речевой цепи как его основная мыслительно-коммуникативная и структурная единица, обладающая (относительной) смысловой и структурной законченностью. А достигается такая динамическая целостность в своей основе, в самых фундаментальных типах предложения путем взаимной обязательной сочетаемости словоформ, выражающих подлежащее и сказуемое<sup>4</sup>. Такая взаимонаправленная сочетаемость, именуемая предикативным отношением, выражается здесь с особой силой, проявляясь хотя бы в том, что в языках с номинативным строем предложения именительный падеж, который может служить просто средством номинации предметов и предметных понятий, т. е. быть синтаксически несвязанным, вводится в предложение в качестве подлежащего именно для того, чтобы «устремиться» к сказуемому. Здесь возникает как бы подобие физической гравитации, причем оба гравитационно взаимодействующие компонента с равной силой устрем-

<sup>3</sup> Исторические корни чередования предложений со связкой и без связки в древнем состоянии индоевропейских языков намечает и А. А. Шахматов, ссылаясь на А. Мейе [10]. В развернутом виде семантическое соотношение таких видов предложения в древних индоевропейских языках показал Э. Бенвенист, отрицавший само существование нулевой связки на том основании, что, например, в латинском предложении типа *omnia praeclara — rara, omnis homo mortalis* парадигматически полностью соотносимы с предложениями типа *omnia praeclara — pereunt, omnis homo — moritur* [11]. С точки зрения данного вида парадигм, в котором предикативная связь носит обобщенно-вневременной характер и поэтому, как правило, употребляется лишь в панхроническом настоящем изъявительного наклонения, Бенвенист прав. Но он не учитывает, что в том случае, если связь подлежащего с предикативом реально может изменяться по временам и наклонениям, то создается иная, отмеченная нами выше парадигма, в которой нулевая связка существует.

<sup>4</sup> Наиболее четко эту взаимонаправленность, «приписываемость друг другу» (*Zuordnung*) охарактеризовал Й. Рис [13]. На основании такой двусторонней обязательной сочетаемости создаются синтаксические проекции, ведущие от подлежащего к сказуемому и обратно и делающие возможным образование односоставных предложений, что часто поддерживается и особенностями формы слова [14].

лены друг к другу, что не исключает возможности того, что в некоторых специфических типах предложений, под влиянием «сильных» смысловых и/или коммуникативных факторов предикативное отношение может быть выражено и без прямого лексического наименования подлежащего или сказуемого, а осуществляться путем называния одного из этих компонентов, но с отчетливым присутствием некоей проекции, исходящей от названного и ведущей к неназванному компоненту. Возможны здесь и иные смещения структуры предложения, опять-таки обусловленные особыми смысловыми и/или коммуникативными факторами, которых здесь, однако, мы касаться не будем. Все это — один из моментов существования предложения не только как единицы грамматической системы отношений, но и как единицы грамматической системы построения. Именно в этом ракурсе нулевая связка весьма существенно отличается от связки ненулевой, т. е. в русском языке от связки *есть*. Прежде всего, нулевая связка не дает возможности выделить, усилить, особо подчеркнуть ту взаимосотнесенность, взаимоустремленность подлежащего и предикатива, на основе которой и строится предложение.

Остановимся лишь на одном типе предложений русского языка, для которых характерна нулевая связка, — на предложениях с субстантивным предикативом. Семантика этих предложений состоит в приравнивании друг к другу предметного содержания, выраженного в подлежащем, к предметному содержанию, выраженному в предикативе. Такие предложения обладают семантикой трех основных видов: семантикой включения единичного или более частного понятия в понятие более общее (*Воробьи — птицы*), семантикой отождествления двух понятий (*Это одно из первых каменных зданий нашего города; Дворец — единственный сохранившийся до нашего времени образец частного дома первой четверти XVIII в.*), семантикой обозначения признака того предмета, который выражен в подлежащем (*Маша умница*), и множеством вариаций и пересекающихся, переходных форм [10, с. 150—151; 184—189; 6, т. II, с. 274—289].

Предложения третьего вида, близкие к предложениям с адъективным признаком (*Маша умница — Маша умная*), в наименьшей мере требуют помощи особых структурных средств для своего функционирования. Это выражается, в частности, в том, что графически они обычно оформляются без тире, как и адъективные предложения. Между тем для предложений первого и второго вида характерно особое ритмико-интонационное противопоставление подлежащего и предикатива, ведущее, однако, к их тесному объединению, что грамматически выражается с помощью тире. В научном языке нередко даже это представляется недостаточным, а нулевая связка уступает место связке *есть* (порой даже *суть*) и в предложениях, отнюдь не выделенных эмоционально или логически. Ср.: «Скорость света... есть величина абсолютно точная» [15, с. 13]; «...Все численные значения физических величин суть результаты измерений» [15, с. 9].

Если же эмоциональное или логическое выделение происходит и в предложениях третьего вида, то это частично может быть достигнуто с помощью усиливающего определения к предикативу (*Маша — большая умница*), но в более подчеркнутой форме с помощью связочных образований типа *и есть* (*Маша и есть умница; Маша — вот это умница*)<sup>5</sup>. Между тем при выделении и усилении предложений первого и второго вида (даже при самой малой степени такого выделения и усиления) одних ритмико-интонационных средств оказывается недостаточно. Более того, даже связка *есть* здесь не очень действенна, а требуется разного рода связочные образования и местоименные связки типа *и есть, это и есть, вот это и есть, таков* и т. п. Вот пример на вариации связок, приводимый в «Рус-

<sup>5</sup> Любопытно, что одна связка *есть* (без *и*) здесь в русском языке невозможна даже для усиления предложения, очевидно, в силу того, что предикатив выражает качественный признак, что соответствует невозможности употребить связку *есть* при прилагательном.

ской грамматике» в числе многих других: *Защита тайги — это (есть, это и есть, ест) главная функция лесхоза* [6, т. II, с. 286] <sup>6</sup>.

Особенно примечательно употребление связочного *это*. С одной стороны, анафорическое *это* в позиции подлежащего может сближаться с личными местоимениями, образуя особенно тесное синтагматическое единство с предикативом. Так обстоит дело в ненапряженных предложениях. Но при усилении напряженности в таких предложениях подлежащее *это* получает дополнительное ударение и резко противопоставляется предикативу, что графически выражается с помощью тире. Например, *Это — пустое* (Куприн, Поединок). Но в то же время отправка (одночленная, по терминологии Л. В. Щербы [16, ср. 17]) <sup>7</sup> форма подлежащего употребления связки *это* может быть использована при еще большей напряженности предложения, а также для выражения некоторых специфических оттенков в семантике предложений с нулевой связкой, особенно при развернутом характере его составов. Так, *это* может войти в состав усиливающих, подчеркнуто отождествляющих и выделяющих связочных образований — *это есть, это и есть, ест это и есть, это значит* и т. п., между тем как подлежащее оказывается выраженным другим словом (или группой слов): *Жестокость — это есть обратная сторона трусости* [6, т. II, с. 285]. Здесь казалась бы возможной и иная трактовка формы *это*, а именно не как связки, а как анафорического местоимения — подлежащего, указывающего на предшествующее имя, являющееся именительным представлением [3, с. 405—406]. Но этому противоречит тире, противопоставляющее первое существительное всему остальному составу предложения и создающее здесь тем самым то, что типично для предикативного отношения. Таким образом предикативное отношение внутри стоящего после тире отрезка, т. е. между *это* и *есть обратная сторона трусости* как бы «снимается», становится подчиненным другому предикативному отношению, охватывающему все предложение в целом, и включается в него. Это можно было бы, конечно, легко объяснить следующим образом: предикативное отношение, закрепившееся в самой грамматической системе в форме особого логико-грамматического типа предложения, «перекрывается» той предикативностью, которая создается в процессе актуального членения предложения. Но здесь перед нами форма, которая сама успела грамматизоваться, потому что сочетание *это есть* (как и форма *это и есть* и т. п.) уже превратилось, употребляясь в подобных случаях, в связочное образование, как видно из большого числа примеров в [6, т. II, с. 284—285]. Таким образом, в нашем примере происходит двойное (или даже тройное) выражение предикативного отношения между *жестокость* и *обратная сторона трусости* — на основе ритмико-интонационной напряженности и с помощью связочного образования, которое само состоит из двух связок.

Я привел лишь небольшую часть тех случаев, когда в предложение с нулевой связкой при напряженности предикативного отношения включаются различные связки и связочные образования, как глагольные, так и неглагольные. Это означает, что, являясь совершенно достаточной для образования предложения в грамматической системе отношений (парадигматических и синтагматических), не выходящих из состояния «синтакси-

<sup>6</sup> Различия в напряженности (экспрессии) предложений со связками различного вида в «Русской грамматике» учитываются лишь в связи с порядком слов, но зато в ней подробно рассматриваются различные смысловые оттенки, ведущие к употреблению тех или иных связок (с. 284—286). Некоторые из этих оттенков, впрочем, по своей сути предполагают некоторую динамизацию предложения — в первую очередь, предложения с полной идентификацией и лексической тождественностью подлежащего и предикатива, например, *Дети есть дети*. Связка в таких предложениях обязательна (обычно связка *есть*), но иногда обстоятельство с семантикой всеобщности (*Дети всегда дети*).

<sup>7</sup> Предикативность, создающаяся в результате актуального членения предложения, накладывается на предикативность, зафиксированную в устойчивых логико-грамматических типах предложения и может совпасть с этой устойчивой предикативностью (т. е. членением предложения на подлежащее и сказуемое), как она представлена в данном предложении, или не совпасть с ним. О понятии логико-грамматического типа предложения см. [7, с. 60—120].

ческого покоя»<sup>8</sup>, нулевая связка оказывается недостаточной для образования предложений, у которых предикативное отношение — напряженное. Для оформления таких синтаксических единств вступают в действие грамматическая система как система построения, которая в данном случае по предикативной напряженности значительной силы требует введения в предложение лексически выраженных компонентов, скрепляющих взаимоустремленность подлежащего и предикатива. Нулевая связка в русском языке просто не в состоянии удовлетворять этим требованиям грамматической системы построения<sup>9</sup>.

Совершенно иной предстает ограниченная роль нулевой связки в плане грамматической системы построения в тех случаях, когда предложение распространяется за счет таких второстепенных компонентов, которые относятся ко всему предложению в целом, т. е. к образующему его предикативному отношению. Это некоторые виды обстоятельств и модальные члены предложения. В глагольных предложениях они подключаются к глаголу как к структурному центру предложения. Но оказывается, что их можно включить и в предложение, в котором лексически выраженного глагола нет. Они входят в безглагольное предложение, лексически «прислоняясь» либо к подлежащему, либо к предикативу или занимая место между подлежащим и предикативом и в какой-то мере играя роль связки. Так, можно сказать и *Сегодня я дежурный*, и (при превращении обстоятельства в рему) *Я дежурный сегодня*, и *Я сегодня дежурный*. Подлежащее и предикатив становятся совершенно достаточной опорой для введения обстоятельства в предложение. Нулевая связка никакой роли при этом не играет. И тезис о незаменимости глагола как структурного центра предложения оказывается фикцией.

Впрочем, если анализ употребления нулевой связки при учете требований грамматической системы построения показал, как велика роль неглагольных элементов предложения (не только связки как таковой, в том числе и безглагольной, но и самих именных и главных членов — подлежащего и предикатива), то к этому же результату можно прийти, рассматривая употребление предложений с подлинно глагольной связкой преимущественно при учете грамматической системы отношений.

Действительно, в плане грамматической системы построения глагольная связка (типа немецкого *sein*) выполняет ряд задач по организации предложения, которые обычно осуществляются полнозначным глаголом. На материале немецкого языка это видно особенно четко. Лексически оформленная глагольная связка не только играет здесь свойственную полнозначному глаголу роль структурной оси предложения, к которой присоединяются второстепенные члены предложения, непосредственно относящиеся к предикативному отношению, но и осуществляет это, в связи с общими структурными закономерностями немецкого языка, с исключительной подчеркнутостью. Спрягаемая форма связки занимает здесь, как и спрягаемые формы всех остальных глаголов в неподчиненных повествовательных предложениях, второе место, как бы демонстрируя этим свое центральное место в предложении. Кроме того, связка полностью участвует в таком специфическом проявлении системы построения немец-

---

<sup>8</sup> Выдвинутое О. Бехагелем понятие «состояния синтаксического покоя» означает в моем толковании, такое употребление грамматических форм, при котором они сохраняют свою исходную нормальную структуру, т. е. не подвергаются каким-либо сильным дополнительным воздействиям со стороны контекста и ситуации, кроме тех, которые заданы в исходных условиях образования и функционирования этих форм [18].

<sup>9</sup> Забегая вперед, укажем, что в других языках, где нулевая связка как существенная грамматическая категория отсутствует, предикативное отношение может быть усилено как раз опусканием связки. Так, в немецком языке значительное структурное и звуковое сходство подлежащего и предикатива (например, если они рифмуются) может повести к тому, что возникает бессвязочный вариант предложения, который звучит более энергично. Например, *Träume sind Schäume: Träume — Schäume*.

кого языка, как организация глагольно-предикативной рамки<sup>10</sup>. Как известно, рамка охватывает в неподчиненном предложении все его компоненты между вторым и конечным местами, а в вводимых союзными словами подчиненных предложениях рамка создается путем постановки спрягаемой формы глагола в самом конце предложения. Связочный глагол ведет себя при этом так же, как полнозначный: *Er ist immer ein lustiger Kerl gewesen*, ничем не отличается от *Er ist gestern spät nach Hause gekommen*, а *Er wird geachtet, weil er ein guter Arzt ist* от *Er wird geachtet, weil er gut arbeitet*. Но все это несколько не означает, что связочный глагол господствует в немецком предложении и что подлежащее и предикатив синтаксически зависят от него.

Это становится очевидным прежде всего при рассмотрении тех отношений, которые существуют между подлежащим, связочным глаголом и предикативом как синтагматически объединенным построением. Действительно, в предложении *Peter ist Arzt* связка вместе с предикативом противостоит подлежащему так же, как в предложении *Peter kommt* подлежащему противостоит однолексемное глагольное сказуемое *kommt*. Связка *ist* оказывается лишь тем проводом, по которому проходит в своей взаимостремленности предикативное отношение, соединяющее подлежащее и предикатив. Таким образом, сама парадигма таких двусоставных логико-грамматических типов предложения, взятых в состоянии синтаксического покоя, указывает на включенность связочного глагола в один из двух составов предложения, а именно в предикатив. Но главное все же не в этом. Ведь здесь, в принципе, могла бы возникнуть старая проблема: не являются ли предложения со связочными глаголами трехчленными в соответствии с концепцией суждения в аристотелевской логике. Главное здесь в конкретных формах сочетаемости связочного глагола с другими необходимыми компонентами предложения.

Если бы связочный глагол был действительно главным компонентом предложения, диктующим его построение во всех отношениях, то именно он одной своей семантикой должен был бы обуславливать обязательное присутствие совершенно определенных компонентов в предложении. Другими словами, связочный глагол должен был бы обладать четкой и недвусмысленной обязательной сочетаемостью. Но обладает он ею только в одном направлении — по отношению к подлежащему. А по отношению к сказуемому он обладает альтернативно-обязательной [19; 20, с. 84] сочетаемостью, т. е. такой обязательной сочетаемостью, которая может быть «устремлена» к компонентам предложения различного рода.

Так, сама по себе форма связочного глагола *ist* (3-е л. ед. числа наст. времени изъяв. накл.), с одной стороны, всегда направлена на номинативное подлежащее (или на его формальную замену — заместительное *es*) [20, с. 152—154]. Но, с другой стороны, она может сочетаться с самыми разными формами предикатива (субстантивным, адъективным, обстоятельственным) или даже вообще ни с чем не сочетаться, поскольку связочный глагол *sein* одновременно является полнозначным глаголом с семантикой бытия как такового. Следовательно, сама по себе форма связки *ist* отнюдь не предопределяет той структуры предложения, которая будет построена с участием этой связки. Реальная роль формы *ist* в каждом предложении, образованной с ее участием, определяется, напротив, самой структурой соответствующего предложения в целом, всей семантикой его необходимых компонентов в их взаимосвязи.

Конечно, и многие полнозначные глаголы обладают альтернативной сочетаемостью. Но она несравненно менее ярко выражена, чем альтернативно-обязательная сочетаемость глагольной связки.

Указывая на повышенную альтернативность обязательной сочетаемости связочного глагола и делая отсюда вывод, что он не может быть

<sup>10</sup> Образование рамки предложения не является жесткой нормой и допускает многочисленные отступления под влиянием различных факторов, но представляет собой все же ведущую тенденцию построения предложения как в письменной, так и в устной форме речи. О порядке слов в немецком языке см. [7, с. 291—314].

подлинным «организатором» предложения, мы оставались в пределах грамматической системы отношений. Но поскольку отношение, которое мы рассматривали, это отношение предикативное, то на нем сказываются и закономерности грамматической системы построения: различные виды актуального членения предложения могут наслаиваться на предикативность, закрепленную в самой форме членов предложения со связочным глаголом, и вводить в предложение иные виды соотношения между темой и ремой. Так, в предложении *Peter ist Arzt*, если оно становится двучленным (по терминологии Щербы), связочный глагол может либо синтагматически объединиться с подлежащим и оказаться вместе с ним ритмико-интонационно противопоставленным предикативу, либо, принимая на себя логическое ударение, вместе с предикативом оказаться противопоставленным подлежащему: *Peter ist/Arzt — Peter/ist Arzt*. Первая из этих структур характерна для предложений с местоименным подлежащим (*Er ist/Arzt*), а во второй, несмотря на то, что связочный глагол оказывается в ней под ударением, он все же не обособляется, не отделяется противопоставительными паузами от подлежащего и от предикатива, а остается в синтагматическом единстве с предикативом, усиливая и подчеркивая правомерность связи данного подлежащего с данным предикативом [7, с. 97—98]<sup>11</sup>. Во всех этих случаях предложение остается двусоставным.

Итак, и грамматическая система отношений, и грамматическая система построения в равной мере показывают, что глагольная связка в немецком языке является не той основой, которая предопределяет строение всего предложения, а тем компонентом, роль которого выявляется на основе всей структурно-смысловой цельности предложения. Это отнюдь не противоречит тому, что было сказано выше о роли связочного глагола как структурно-топологической оси предложения. Грамматическая система построения — это система сложная, многообразная, порой даже противоречивая. Она находится в сложном взаимодействии с грамматической системой отношений — иногда противопоставлена ей, а иногда кооперируется с нею. И то, и другое было нами обнаружено при анализе организации предложений с нулевой связкой и предложений со связочным глаголом. Для данной статьи главный вывод заключается, однако, не в этом, а в том, что все те грамматики, которые определяют типологию предложения, исходя из валентности глагола, на самом деле никак не могут претендовать на то, что они действительно способны объяснить типологию предложения. Валентность глагола не дает ключа для понимания всей системы логико-грамматических типов предложения, а может быть использована лишь для описания части этой системы даже по отношению к тем типам предложения, которые располагают связочным глаголом или такой связкой, нулевой характер которой определяется на базе ее парадигматического соотношения с глагольными связками в других формах предложения. А ведь существуют предложения, в которых нет и нулевой связки, а предикативное отношение дано в виде предикативной проекции, исходящей от имени и ведущей к понятию наличного существования, — бытийные предложения [3, с. 377—379; 6, т. II, с. 356—369; 22]. Из всего этого следует, что сводить анализ основных типов предложений (по моей терминологии: логико-грамматических) совершенно невозможно. Здесь требуется классификация предложений, исходящая из самого предложения как целиности с учетом всех его своеобразных черт.

Мне могут возразить, что я ломлюсь в открытую дверь. Действительно, главенствующее направление ведущихся у нас грамматических исследо-

<sup>11</sup> Кр. Випклер указывает на возможность синтагматического присоединения связочного *ist* либо к подлежащему, либо к предикативу как на проявление общей закономерности, позволяющей самостоятельным, но семантически слабым и потому неударным словам присоединяться либо к предшествующему, либо к последующему компоненту: *Der große Schritt ist /der aus der Tür — Der große Schritt/ist der aus der Tür* [21].

ваний — это направление, в основном, многоаспектное. В этом отношении показательна хотя бы та же «Русская грамматика» (1980). Но во множестве и наших, и особенно зарубежных работ связочные предложения (в том числе и предложения с нулевой связкой) и предложения бытийные при анализе структуры предложения просто не учитываются. А в германистике при конкретном анализе предложения со связочным глаголом иногда рассматриваются в общем ряду предложений, причем все они определяются на основе валентностных отношений. Так, У. Энгель, который проводит классификацию «образцов предложения» (*Satzmuster*), исходя из числа и характера дополнений, требуемых разными глаголами, т. е. целиком с позиций валентности, включает в число своих образцов и предложения со связочным глаголом *sein* — в частности, в качестве отдельных предложений с субстантивным и с адъективным предикативами [23]. Б. Энгелен, применяя терминологию Г. Глинца, рассматривает предложения со связочным глаголом и субстантивным предикативом как «сочетания глаголов с тождественной величиной без предлога», а предложения с адъективным предикативом как «сочетания глаголов с качественным дополнением» (*Artergänzung*). Впрочем, это только естественный вывод из исходных положений валентностной грамматики и грамматики зависимостей, которые в своих крайних проявлениях рассматривают и подлежащее как особый вид дополнения, зависящего от глагола [24]<sup>12</sup>. А в развернутом виде, с ссылками на обширную литературу, относящуюся к прежним периодам языкознания, решающую роль глагольной связки для конституирования предложения в общем виде подчеркивал И. Эрбен [26]. Итак, полемика с такими концепциями представляется все же вполне актуальной.

С другой стороны, мне могут возразить, что приведенный мною материал (всего два языка) совершенно недостаточен, чтобы сделать какие-нибудь общие, универсальные выводы о структуре предложения. Однако этот материал вполне опровергает то претендующее на универсальность положение, согласно которому во всех языках, в которых есть глагол, он всегда (даже в форме связки) господствует над всем остальным составом предложения. Это не означает, что исследования по сочетаемости (валентности) глагола и других частей речи в различных языках вообще являются излишними. Напротив, такие работы чрезвычайно полезны. В частности, надо всячески приветствовать появление разного рода словарей сочетаемости. Но все эти исследования никак не могут подменить всестороннего анализа закономерностей предложения и его типологии.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Meier G. F. *Das Zero-Problem in der Linguistik*. Berlin, 1961.
2. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 220—224.
3. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956.
4. Lewandowski Th. *Linguistisches Wörterbuch*. 3-te Aufl. Bd. 3. Heidelberg, 1980. S. 1090.
5. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
6. Русская грамматика. Т. I—II. М., 1980.
7. Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка. М., 1973.
8. Адмони В. Г. Содержательные и композиционные аспекты предложения. — В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975, с. 12.
9. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958, с. 257 (ср. также с. 83—84, 111).
10. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1954, с. 179—180.
11. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 175.
12. Адмони В. Г. Основы теории грамматики. М.—Л., 1964, с. 22—23.
13. Res J. *Was ist ein Satz?* Prag, 1931, S. 54—77.

<sup>12</sup> Трактовка подлежащего, а в значительной мере и предикатива лишь как актантов при глаголе (в том числе и глагола *être*) была дана уже у Ж. Теньера [25].

14. Адмони В. Г. О предикативности. — Уч. зап. ЛГПИ, 1957, т. XXVIII.
15. Медведев Б. С. Начала теоретической физики. М., 1977.
16. Щерба Л. В. Фонетика французского языка. 4-е изд. М., 1953, с. 123.
17. Адмони В. Г. Двучленные фразы в трактовке Л. В. Щербы и проблема предикативности. — ФН, 1960, № 1.
18. Behaghel O. Die Herstellung der syntaktischen Ruhelage im Deutschen. — IF, 1903, Bd. XIV.
19. Admoni W. G. Der deutsche Sprachbau. J., 1960, с. 74.
20. Admoni W. G. Der deutsche Sprachbau. 4-te Aufl. München, 1982.
21. Der große Duden. 2-te Aufl. Bd. 4. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, 1966, S. 665.
22. Admoni W. Satzbaupläne im Deutschen. — ZDPh, 1977, Bd. 96, Sonderheft, S. 160—163.
23. Engel U. Syntax der deutschen Gegenwartssprache. 2-te Aufl. Berlin, 1982, с. 192—193.
24. Engelen B. Untersuchungen zum Satzbau und Wortfeld in der geschriebenen deutschen Sprache der Gegenwart. Bd. 2. München, 1975, S. 264, 286.
25. Tesnière L. Éléments de syntaxe structurale. Paris, 1959, p. 48, 97.
26. Erben J. Über «Kopula»-verben und «verdeckte (kopulalose)» *ist*-Prädikation, zugleich ein Beitrag zur Theorie der Valenz und ihrer Geschichte. — In: Deutsche Sprache: Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Friedrich Maurer zum 80. Geburtstag. Bern — München, 1978.

СПИВАК Д. Л.

## ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

Важным аспектом лингвистической науки является онтогенетическое изучение языка, в частности, возможность обнаружения в его развитии периодов или состояний, когда его категории более ярко обнаруживают особенности своего построения. До сих пор внимание лингвистов сосредоточивалось преимущественно на одной грани процесса — рождении и восходящем развитии языковой способности. С нашей точки зрения, не меньший интерес представляет и другой аспект этого процесса — распад и исчезновение языка, сопровождающие диссолюцию сознания.

В настоящей статье делается попытка обобщить результаты экспериментов с целью выяснения некоторых синтаксических особенностей языка у лиц с измененным состоянием сознания [1]. До сих пор проблема языка при измененных состояниях сознания не привлекла внимания лингвистов ни в нашей стране, ни за рубежом. В настоящей работе на основе экспериментальных исследований распада языковой способности, проведенных автором, выдвигаются концепция и методика анализа этой проблемы, и обсуждаются некоторые конструктивные результаты последнего. Следует заметить, что такой подход обоснован также и с точки зрения перспективной инженерно-лингвистической задачи — языкового обеспечения систем искусственного интеллекта. Основываясь на опыте работы с тремя поколениями электронных машин, ведущие коллективы, разрабатывающие проблемы инженерной лингвистики, пришли к выводу о необходимости скорее имитации естественного языка, нежели разработки других путей. Здесь также возникает проблема частичного или полного стирания и перемещения информации, которой располагает машина, — процесса, по сложности не уступающего записи и накоплению информации.

Распад языка занимает обычно несравненно меньше времени, чем овладение им. Однако и он не мгновенен, что и делает возможным наблюдение за речевой деятельностью больных, находящихся на стадии ее постепенной потери. Лингвистическая теория располагает здесь трудами Р. Якобсона и А. Р. Лурии по афазии. Признавая важность этих исследований, нужно подчеркнуть, что их объектом являлась речевая деятельность при грубых локальных повреждениях мозга. Следовательно, здесь наблюдался глобальный дефект речи, в борьбе с которым естественные ресурсы мозга, передающего обычно функции поврежденного участка другим своим отделам, были явно недостаточны. Не случайно в этих экспериментах тип языковых нарушений в принципе позволял указать на место поврежденного участка в мозгу [2, 3]. Для языковой способности, «разлитой» по всему мозгу, такое однозначное соответствие трудно признать естественным.

Стремление преодолеть эти сложности привело лингвистов к изучению дефектов языка при самопроизвольно возникающих в мозгу психических заболеваниях — прежде всего, различных видах психозов. Распад языковой способности и защитные меры, принимаемые против него мозгом, являются здесь уже совершенно естественными, почему и наблюдаются не обрывки нормальной языковой структуры, а целостное, хотя и патологическое, формирование. Такое положение дало Д. Джерверу, К. Мартиндейлу и другим исследователям возможность эксплицитно строить для соответствующих заболеваний типичные «грамматики» — языковые особенности, характерные для того или иного психического заболевания [4, 5]. Заметим, однако, что при этом все основные категории не выводятся

лись из наблюдения, а брались из уже готовых схем (порождающей грамматики и др.), что зачастую затемняло существенные особенности изучаемой речи [6]. Кроме того, в таких опытах изучалась не эволюционирующая, а статичная, задержавшаяся на одном уровне распада языковая способность. Поэтому данные методики не раскрыли существенных особенностей распада языка. Конструктивных же результатов следует ожидать от наблюдения естественной и непрерывно углубляющейся, динамичной диссолюции сознания, сопровождаемой распадом системы языка и языковой способности. В настоящее время наука располагает такими данными, полученными при наблюдении за гибнущими организмами. Подводя итоги этих исследований, советские реаниматологи пришли к общему выводу о том, что жизненные уровни угасают соответственно их филогенетическому возрасту: более молодые — раньше, более древние — позднее [7]. Таким образом, в развитии терминальных состояний наблюдается как бы своеобразное отражение, преломление в другой обстановке зависимости, известной биологам как зависимость Мюллера — Геккеля, согласно которой индивидуум в ходе своего развития в основном повторяет историю развития своего вида. Будучи явлением социальным, язык каждого человека функционирует неотделимо от языка коллектива. Однако материальным носителем языковой способности индивидуума является мозг, накапливающий и творчески перерабатывающий поступающую в процессе речевой деятельности языковую информацию и одновременно благодаря своему существованию делающий возможной эффективную языковую коммуникацию.

Поскольку мозг неразрывно связан со всеми остальными функциями и органами организма, можно сделать следующее предположение. При распаде сознания следует ожидать последовательной диссолюции генетически более молодых связей и структур языка, в результате чего могут обнажиться древние слои. Подобно тому, как на поздних стадиях диссолюции остаются простейшие рефлексy (например, принятие «позы эмбриона»), так и в языке возможно сохранение самых основных, наиболее рано приобретенных при речевом общении связей и структур. Разумеется, будучи свойством мозга как высокоорганизованной материи, психическое не сводится к протекающим в нем физиологическим процессам. Однако рефлексy являются сами по себе сложной формой отражения действительности, основой мышления и переходным звеном к нему от низших физиологических функций. Методологически правильным поэтому было бы ожидать сохранения существенных онтогенетических особенностей рефлексy торной деятельности и в таких сложных формах, как речевое мышление. По понятным причинам организовать массовый эксперимент на гибнущих организмах было бы затруднительно. Однако в распоряжении ученых имеется косвенное средство адекватного моделирования подобных состояний.

В современной фармакологии разработаны и удовлетворительно изучены препараты, которые при введении в организм вызывают нарастающую диссолюцию, быстро приводящую к коматозному состоянию и полной утрате сознания. Вызывание такого состояния широко применяется в настоящее время для терапии ряда психических заболеваний, поскольку больного легко вернуть в нормальное состояние. К описанной методике относятся прежде всего инсулиновая, холинолитическая и тремблех-терапия.

С лингвистической точки зрения применение этих препаратов заслуживает пристального внимания. Доказано, что оно практикуется на больных без каких-либо нарушений языковой способности и системы языка и вызывает совершенно идентичные состояния при введении здоровым людям [8]. Можно ли утверждать, что воздействуя на мозг косвенно, через весь организм, эти препараты точно имитируют естественный распад сознания, вызывая прохождение тех же онтогенетических стадий, о которых говорилось выше в связи с зависимостью Мюллера — Геккеля? Представляя собой сложное образование, обладающее как богатством внутренней структуры, так и системно-функциональными связями с деятельностью

мозга и всего организма, естественный язык сочетает в своей структуре в каждый данный момент синхронические и диахронические аспекты. Поэтому теоретически неоправданным, механистичным было бы утверждение о буквальном прохождении в обратном порядке однажды уже пройденных этапов языкового развития. Вместе с тем накопленный опыт наук о мозге позволяет говорить об обратном прохождении онтогенетических этапов в принципе, в самом общем виде. Согласно глубоко теоретически обоснованной концепции А. Г. Иванова-Смоленского, формирование речи у нормального человека проходит четыре основных этапа, включающих непосредственную реакцию на непосредственный раздражитель, непосредственное выполнение словесных приказаний, словесную реакцию на непосредственный раздражитель и словесную реакцию на словесный раздражитель [9]. Анализ прямого или обратного прохождения в общем виде крупных онтогенетических этапов такого характера, лингвистическая методология которого была специально разработана ранее [10, 11], уже может считаться обоснованным и методологически релевантным для исследования естественного языка.

Вместе с тем даже в специальных работах не упоминается ни одного исследования, посвященного анализу языка на этом конструктивном материале [12, 13]. Рассматривающие же распад языка психиатры считают, что имеет место либо просто хаотический развал, либо механическое «выключение» структур языка и сознания [14].

На первый взгляд, неясное бормотание угасающего больного производит именно такое впечатление. Однако детальный анализ около 400 бесед, проведенных нами с 56 испытуемыми, находящимися в этом состоянии, показал противоположное. Каждому из испытуемых многократно — от нормального до коматозного состояния — предлагался один и тот же тест (естественно, с разными словами). Полученные таким образом многоэтапные характеристики распада речи более чем пятидесяти индивидуумов оказались практически совпадающими между собой (медицинские аспекты эксперимента описаны в наших работах [10, 18]).

Прежде всего нами регистрировалась спонтанная речь больного при описании предложенной картинки или при объяснении фраз «формализованного» уровня, построенных по образцу щербовской *глокой кудры* или *дораю доставлять* у М. Пей [15, 16]. При этом в ответах регистрировались: отношение количества простых нераспространенных предложений к общему числу предложений, а кроме того, отношение речевых знаков к узкоденотативным знакам естественного языка.

Последнее требует пояснения. К речевым знакам нами были отнесены слова и словосочетания, абстрактное значение которых актуализируется преимущественно в контексте (прежде всего — знаменательные с относящимися к ним служебными словами). К узкоденотативным знакам были отнесены высокочастотные лексические единицы, обладающие конкретным и высокоэмоциональным в данных условиях содержанием (имена собственные и слова типа *укол*, *врач*), а также лексика, функционирующая в основном вне речевого контекста, обладающая нечетким кругом денотатов и актуализируемая по-своему в каждой конкретной ситуации (словосочетания-«штампы», слова-заменители типа *это*, *эта штука*, *ну*, *туда*, звукоподражательная и бранная лексика). Выделение последнего вида знаков, обусловленное материалами конкретного эксперимента, свидетельствует о признании сложного, многоуровневого построения структурно-семантической организации обобщенного мышления и познания. Теоретические аспекты взаимоотношения десигнатов и понятий в этих условиях рассмотрены в работе [17].

Полученные количественные данные показывают равномерное повышение числа изолированных простых нераспространенных предложений и узкоденотативных знаков при нарастающей диссолюции языка<sup>1</sup>. При

<sup>1</sup> Здесь и далее лингвистические характеристики при измененных состояниях сознания (холинотической, тремблкс- и инсулиновой терапиях) характеризуются заключенными в фигурные скобки последовательностями из 6 индексов, где первый обозначает вероятность встречаемости данного показателя согласно нашему тесту

сравнении этих двух рядов (вероятности появления простого нераспространенного предложения {E—E—D—Г—Г—Г} и вероятности появления узкоденотативного знака {E—E—E—D—Г—Г}) довольно отчетливо выделяются несколько основных стадий языкового распада для любого из испытуемых. Особенно важно то, что эти строго формально выделяемые стадии согласуются с данными других наук. Например, в том случае, когда электрофизиолог регистрирует усиление дельта-ритма мозга, а психиатр констатирует у больного выраженное оглушение при торможении сложных форм деятельности коры, вероятность появления в речи больного узкоденотативного знака составляет около 0,6, а вероятность появления простого нераспространенного предложения — около 0,8.

Можно ли считать полученные данные не зависящими от примененных фармакологических препаратов и направления диссолюции? Как показало специально проведенное качественное и статистическое исследование, первый из этих факторов существенно влияет на некоторые лингвистические показатели большинства испытуемых. Второй из выделенных факторов влияет на все лингвистические показатели небольшой группы (менее 20%) испытуемых. Таким образом, меньшая подгруппа испытуемых была исключена и была выделена большая подгруппа испытуемых, не испытывающих влияния препарата и не реагирующих на направление диссолюции [см. 18, с. 148—149]. Можно утверждать, что искусственно вызванный распад языковой способности происходит вполне закономерно и аналогично естественной ее диссолюции. Таким образом, мы получаем возможность указать важную характеристику (переход к преимущественному использованию менее сложных синтаксических и лексических средств) и связать каждую из стадий распада с соответствующим генетическим возрастом структур мозга. Подчеркнем, что используемая здесь методика является комбинацией различных типов сопоставления, относимых некоторыми авторами к фундаментальной для лингвистики научной парадигме сравнительно-сопоставительной методологии [19].

Если вывод о «послойном» построении языковых структур справедлив, то будет естественным проследить переход в ходе диссолюции языка от генетически новых сложных форм языка к более глубоким, генетически древним и сравнить это с выводами лингвистов, исследовавших очередность возникновения и «глубину» связей в системе языка, пользуясь другими методами анализа [20, 21]. Одно из заданий предлагавшегося испытуемым теста было связано с так называемой категорией состояния. Например, дана фраза: *Ему, конечно, очень совестно*. Требовалось продолжить с тем же смыслом: «Он, конечно...» В возможных ответах появляется либо глагольное словосочетание *он, конечно, стыдится*, либо словосочетание, близкое к именному, типа: *он, конечно, огорченный* (высказывания испытуемых в этом случае и далее не редактируются и не исправляются нами). В начале эксперимента [22, 23] казалось, что фразы, содержащие неглагольный предикат, либо вообще не будут порождаться больным, либо будут регулярно преобразовываться во фразы, содержащие более фундаментальное для языковой системы глагольное словосочетание. Результаты эксперимента оказались противоположными: фразы с категорией состояния легко порождались и воспринимались всеми испытуемыми вплоть до состояния теста, фиксировавшего полный распад языковой способности: {D—D—D—D—D—D}. Около 30% испытуемых отождествили такую фразу с именным словосочетанием, 25% — с глагольным словосочетанием, а остальные регулярно образовывали аналогичную фразу (например, *Он, конечно, ну, ему стыдно, невесело*). Прежде чем интерпретировать полученные результаты, рассмотрим следующее задание.

---

В речи испытуемых на нормальной стадии сознания, далее характеризуются легкое, слабо выраженное, сильно выраженное и тяжелое оглушение, а также начало сопора. При этом индекс Г обозначает вероятность от 0,6 до 1, Д — от 0,3 до 0,6, E — от 0 до 0,3. Примерные временные характеристики наступления состояния по данным интуитотерапии: легкое оглушение через 1 час, выраженное — через 2—2,5 часа, тяжелое — через 3 часа, начала сопора — 4 часа (все характеристики — через 3—4 дня после достижения первого шокового состояния).

Здесь был повторен тест известного лингвиста Г. Сэвина, где количество запоминаемых слов измеряет трудность восприятия активной или пассивной конструкции. Например, предлагалось запомнить и повторить предложения типа: *Студент слышит девушку; Девушка услышана студентом* (после каждой фразы предлагался для запоминания и повторения бессвязный набор из пяти слов). Полученные результаты не согласуются с выводами Г. Сэвина. Так, активная конструкция запоминалась нашими испытуемыми легче пассива, как это было в его экспериментах, лишь в нормальном состоянии. В начале распада языковой способности большинство наших испытуемых довольно скоро перестало различать их, а к концу диссолюции глагол в любой форме воспринимался как активный: {E — Д — Д — Г — Г — Г}. При этом предшествующее глаголу слово воспринималось как агенс, последующее — как пациенс, а сказуемое, хотя и не имело морфологических признаков, занимало устойчивое 2-е место в предложении: {E — E — E — E — Д — Г}, что находит себе прямое соответствие в начальных стадиях естественного обучения языку [24]. Заметим, что четкость проявления этой закономерности увеличивалась при привлечении к эксперименту русско-украинских билингв и уменьшалась для русско-грузинских билингв. Очевидно, влияние близкородственного русскому языку подчеркивает те явления последнего, которые занимают ведущее место на глубинных уровнях этих языков; обратное характерно для типологически далеких языков [25; ср. 26, 27].

Следует подчеркнуть неожиданность полученных результатов. Исходя из распространенной точки зрения, которой придерживался и автор эксперимента, активно-пассивная диатеза принадлежит к числу фундаментальных в русском языке, категория же состояния в русском языке является генетически молодой, а следовательно, менее устойчивой. Полученные результаты, напротив, указывают на весьма четко выраженную устойчивость категории состояния, появляющейся на поздних стадиях распада языковой способности примерно в каждой второй фразе, и на сравнительную (филогенетическую) новоприобретенность оппозиции «актив — пассив» (28, с. 282 и 354). Заметим, что некоторые современные лингвисты приходят на основе других методов исследования к выводу о фундаментальности категории состояния в русском, а также и других индоевропейских языках [29]. В том же, что касается неустойчивости пассива при языковой диссолюции, можно упомянуть о выводах целого ряда лингвистов, говорящих о меньшей его значимости в более позднем по сравнению с активом образовании в индоевропейских языках (в связи с развитием его из медиума) [30, ср. 32].

Последнее задание теста относилось к синтаксису. Испытуемым предлагалась пара предложений типа: *Он увидел рядом в автобусе знакомого. Он кивнул ему.* Задание состояло в объединении предложений с помощью союза *который*. Второе предложение может соотноситься с первым посредством союза *которому* или *который*. Однако тонкие тема-рематические различия, выраженные в соположении слов *знакомый* и *он* и в параллельности построения фраз, побуждают избрать скорее продолжение... *знакомого, который кивнул ему.* Около 90% испытуемых пошли по этому пути уже на средних этапах распада языка, а позже это число даже увеличилось, хотя в нормальном состоянии так сделали менее половины испытуемых: {E — E — Д — Г — Г — Г}.

Нужно признать, что интерпретация этого результата пока затруднительна. Возможно, что она свидетельствует об увеличении роли синтаксического соположения или о сужении контекста на поздних стадиях диссолюции. В качестве возможной параллели здесь можно было бы указать на правило ряда литературных индоевропейских языков, согласно которому придаточное определенительное с союзом *который* всегда относилось к последнему из упомянутых ранее объектов [32]. Ср. в церковнославянском тексте: *Ярость их по подобию змиину/Яко аспида глуха и затыкающего уши свои/Иже не услышит гласа обаваящих* (Псалом 57, 5, 6). В древнерусском тексте Лаврентьевской летописи читаем: *Се слышавше деревляне. собрався лучшии мужи. иже держазу Деревьску землю* [ци-

тируется по 28, с. 302]. Здесь аорист *держажу*, имеющий всеобщее, вне-временное значение, вполне может относиться и к *деревянне*, что придает синтаксическому соположению решающую роль при выборе субъектом подчинения слова *мужи*.

Разумеется, испытуемые вовсе не переходят на древнерусский язык на поздних стадиях языковой диссолюции. Попросту есть основание считать те явления, которые были правилом для письменных норм уже этого языка, глубже укоренившимися и теснее связанными со всеми уровнями структуры языка, чем другие, более поздние образования.

Следует подчеркнуть, что восстанавливаемая для поздних стадий диссолюции языка система сложных взаимоотношений между различными способами выражения предикативности, активно-пассивной диатезы и паратактической структурой предложения носит целостный и взаимосвязанный характер. В качестве содержательной параллели, свидетельствующей в пользу научной достоверности такого анализа, здесь можно указать на концепцию развития синтаксического строя славянских языков А. А. Потехина, выдвинутую на основе косвенных данных древних литературных текстов и сравнительно-исторических реконструкций, вне обращения к непосредственному эксперименту [33, 34].

Таким образом, анализ онтогенетических уровней, закономерно проходящих языком в этом нисходящем развитии, находит содержательные соответствия в сравнительно-историческом и сопоставительно-типологическом анализе развития языка. Проблема выделения элементов и связей системы языка, проявляющих значительную устойчивость в процессе диссолюции языковой способности, непосредственно связана с методами анализа лингвистических универсалий. Наконец, преимущественное использование на разных стадиях диссолюции то определенных морфологических, то определенных синтаксических средств для передачи одного и того же смысла представляется конструктивным для исследования функционального единства различных уровней системы языка [35].

Приведенные результаты позволяют считать обоснованным и целесообразным введение в русло лингвистического анализа проблемы распада языка, наблюдаемого в ходе искусственно вызванных измененных состояний сознания.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Tart Ch. T.* Altered states of consciousness. New York, 1963.
2. *Jacobson R.* Main trends in the science of language. New York, 1974, p. 60.
3. *Лурия А. Р.* Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975, с. 56.
4. *Gerver D. et al.* Schizophrenic speech: a factor-analytic approach. — Language and speech, 1976, № 1, p. 46.
5. *Martindale C.* The grammar of the tic in Gilles de la Tourette's syndrome. — Language and speech, 1976, № 3, p. 244.
6. *Richelle M.* L'acquisition du langage. Liège, 1976, p. 82.
7. *Неговский В.* Методологические проблемы современной реаниматологии. — ВФ, 1978, № 8, с. 68.
8. *Мильштейн Г. И., Спивак Л. И.* Психомиметики. Л., 1974, с. 60.
9. *Иванов-Смоленский А. Г.* Очерки нейродинамической психиатрии. М., 1974, с. 86.
10. *Спивак Д. Л.* Искусственно вызываемые состояния измененного сознания (на материале инсулинотерапии) и их лингвистические корреляты. — Физиология человека, 1980, № 1. [английский перевод: *Spivak D. L.* Artificially induced altered states of consciousness (observations during insulin therapy) and their linguistic correlates. — Human physiology, New York, 1980, N 1—2].
11. *Спивак Д. Л.* Стадии в синхронии естественного и искусственных языков. — В кн.: Инженерная лингвистика и оптимизация преподавания иностранных языков. Л., 1980.
12. *Strauss-Pettinger H.* Psychopharmaka im engeren Sinne und psychologische Testverfahren. Bonn, 1977, S. 10.
13. *Hiltmann H.* Kompendium des psychodiagnostischen Tests. Bern, 1967, S. 113.
14. *Личко А. Е.* Инсулиновые комы. М., 1962, с. 9, 148, 218.
15. *Солнцев В. М.* Языковой знак и его свойства. — ВЯ, 1977, № 2, с. 27.
16. *Pei M.* Language for everybody. New York, 1958, p. 111.
17. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977, с. 86—88.
18. *Спивак Д. Л.* Лингвистическая типология искусственно вызываемых состояний измененного сознания. Сообщения 1 и 2. — Физиология человека, 1983, № 1.
19. *Степанов Г. В.* Объективные и субъективные критерии определения понятия «вариант языка». — В кн.: Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев, 1976, с. 9.

20. Красиков Ю. В. Теория речевых ошибок. М., 1980, с. 104.
21. Климов Г. А. О некоторых задачах историко-типологических исследований. — ВЯ, 1976, № 5, с. 9, 11.
22. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957, с. 74—76.
23. Маслов Ю. С. Введение в языковедение. М., 1975, с. 214.
24. Ervin-Tripp S. An overview of theories of grammatical development. — In: The ontogenesis of grammar. Ed. by Slobin D. New York, 1971, p. 197.
25. Спивак Д. Л. Вариантность при билингвизме (на материале измененных состояний сознания). — В кн.: Вариантность как свойство языковой системы: Тез. докл. Ч. 2. М., 1982, с. 79.
26. Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. М., 1978, с. 50.
27. Grosjean F. The Psycholinguistics of bilingualism. — In: Grosjean F. Life with two languages. An introduction to bilingualism. Cambridge, 1982.
28. Горшкова К. В., Хабургаев Г. А. Историческая грамматика русского языка. М., 1981.
29. Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи. Л., 1978, с. 336.
30. Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966, p. 171.
31. Филли Ф. П. Противоречия и развитие языка. — ВЯ, 1980, № 2, с. 9.
32. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 3. М., 1968, с. 263, 264.
33. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1—2. Харьков, 1888, с. 76 и сл.; Т. 3. Харьков, 1899, с. 354 и сл.
34. Виноградов В. В. Учение А. А. Потебни о стадильности развития синтаксического строя в славянских языках. — Вестник МГУ, 1946, № 3—4, с. 13—18, 23—26.
35. Ярецва В. Н. Синтаксические условия реализации морфологической вариативности языка. — В кн.: Вариантность как свойство языковой системы: Тез. докл. Ч. 2. М., 1982, с. 150.

ГВЕНЦАДЗЕ Ц. А.

### КОНСТАНТНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ФОНОТАКТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вся история исследования фонетической эволюции языков, начиная с Р. Раска и Я. Гримма, является описанием фонетических изменений. Констатация фонетических изменений, попытки объяснить их со структурной, функциональной точки зрения или субстантивными факторами, попытки выявить универсальный характер изменений — составляют основное содержание исследований по диахронической фонетике и фонологии [1, 2]. Однако развитие языка — это не только его изменение, это и сохранение некоторых элементов. Проблема стабильности языковых элементов и категорий связана с общефилософской теорией сохранения предмета в его развитии [3]. Г. Хёнигсвальд пишет: «Разумно предположить, что в языке взаимодействуют две силы: одна из них всегда препятствует его изменению с целью сохранить возможность взаимопонимания между носителями языка, другая — более скрытая — действует в направлении изменения языка, и притом весьма ощутимым образом» [4, с. 81]. Эта последняя и является обычно объектом, привлекающим внимание лингвистов, которые задаются вопросом: каким образом и почему изменяются те или иные языки? Однако вполне правомерна постановка и другого вопроса: каким образом элементы языка остаются неизменными и почему? На второй вопрос дается самый общий ответ: «Необходимость поддержать понимание между поколениями препятствует слишком быстрому или слишком серьезному изменению языка» [5, с. 7].

Вопрос, который мы поставили в самом общем виде, нуждается в уточнении. Его следовало бы сформулировать следующим образом: какие элементы в языке, в частности, в его фонетической системе, обладают такой степенью стабильности, что в течение довольно долгого времени могут препятствовать изменению языка? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим подробнее различные концепции изменчивости и неизменчивости языка.

Мы не случайно употребили термины «изменчивость» и «неизменчивость». Раскрытие этих терминов (*immutabilité* и *mutabilité*) принадлежит Ф. де Соссюру, а сама эта дихотомия анализируется им в применении к языковому знаку, а не к языку в целом. Видимо, это последнее обстоятельство и отодвинуло эту дихотомию на второй план по сравнению с дихотомией «синхрония — диахрония», «тождество — различие» и т. д. Говоря об изменчивости и неизменчивости знака, Ф. де Соссюр по существу приводит причины, препятствующие изменению, которые относятся к языку в целом. Это — произвольность знака, множественность знаков, необходимых для образования любого языка, слишком сложный характер системы, сопротивление «коллективной косности» всякому лингвистическому новшеству [6, с. 81—87]. Ф. де Соссюр не разграничил определенным образом область действия этой дихотомии. Видимо, она реализуется как в диахронии, так и в синхронии.

Думается, что идея А. Мартине о динамической синхронии связана с дихотомией «изменчивость — неизменчивость» языка [7, с. 5—10]. В каждом данном состоянии системы наблюдаются элементы, которые имеют тенденцию к исчезновению из языка и, наоборот, элементы, находящиеся в процессе становления. Наряду с ними существуют элементы стабильные, в настоящий момент устойчивые. А. Мартине пишет: «В какой

бы части структуры ни происходили языковые изменения, в лексике, синтаксисе, морфологии или фонологии, они всегда, если и не полностью детерминированы, то по крайней мере всегда контролируемы необходимостью для языка обеспечивать коммуникацию между говорящими. Таким образом, нет никакой несовместимости между структурой и эволюцией» [7, с. 7]. В динамической синхронии, по словам А. Мартине, внимание исследователя сконцентрировано на одном языковом состоянии, но это не значит, что следует отказаться от выявления вариантов и указания на характер фактов языка. Авторы «Общего языкознания» указывают: «Развитие языка протекает поэтому как борьба двух противоположных тенденций — за сохранение и стабилизацию существующей системы языка, с одной стороны, и за ее адаптацию, преобразование, совершенствование, с другой. Объективное существование двух этих разнонаправленных тенденций ярко отражено в таком явлении, как в а р ь и р о в а н и е [8, с. 200].

Борьба за сохранение и стабилизацию языка может быть выражена в форме нормирующей деятельности и языковой политики, но тенденция к сохранению определенных элементов проходит неосознанно в говорящем коллективе, особенно в те периоды, когда еще не сформировались нации и национальные языки. Примером может служить эпоха формирования романских языков.

В последнее время в языкознании все чаще употребляются термины «константность», «константы», но содержание этих терминов у разных исследователей различно. Эти термины обычно соотносятся с терминами «вариативность», «варьирование» [9—13]. Раскрытие содержания этих терминов представляется существенным для изучения языков как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах.

Впервые теория константности и вариативности фонетической системы была предложена Г. П. Торсуевым [9]. Эти термины были использованы им для обозначения дихотомии, отражающей существенные свойства языка, которые проявляются на всех уровнях языковой системы. Основным положением теории Г. П. Торсуева является идея о взаимодействии и взаимообусловленности этих двух тенденций, которые проявляются как в синхронии, так и в диахронии и относятся как к отдельному явлению языка, так и к языковой системе в целом.

Изучая фонетическую систему языка, Г. П. Торсуев дает обоснования вариативности в этой области. Он выделяет четыре аспекта вариативности: 1) органический, 2) структурный, 3) стилистический, 4) диалектный. «В каждом из ее названных аспектов вариативности противостоит как структурный принцип константность, обеспечивающая функциональную тождественность артикуляторно-фонетически варьировующихся единиц и структур, обусловленную тождеством значимых единиц и необходимостью в непрерывности и преемственности в функционировании и развитии языка» [9, с. 4].

Принципы константности и вариативности могут служить опорой в исследовании территориальных вариантов одного языка или анализе развития родственных языков. Г. В. Степанов в [10, с. 7], анализируя испанский язык в Латинской Америке, сосредоточивает свое внимание на языковой вариативности. Он пишет: «Специфика сравнительного анализа разновидностей (вариантов) единого языка состоит, в частности, в том, что в результате отбора из рассмотрения исключаются все факты „совпадений“, т. е. элементы, составляющие основной корпус языка». При исследовании территориальных вариантов к идее константности имплицитно добавляется мысль о том, что данные стабильные элементы являются общими для территориальных вариантов, подтверждая тем самым их генетическое единство.

По мнению Г. В. Степанова, исследование вариативности приводит к двум важным методологическим выводам: 1) ... «именно изучение результатов языковой вариативности (синхрония) предполагает использование эволюционных идей и концепций. Синтез синхронного и исторического подходов обеспечивает изучение структуры в единстве с процессом

изменения»; 2) «возможность установления степени стабильности элементов ряда „система — норма — речь — узус“, строение которого характеризует движение от высшего уровня к низшему» [10, с. 200].

Тезис о степени стабильности/лабильности может быть применен и в пределах каждого из элементов того или иного языкового ряда. Так, в фонетической системе языка можно поставить вопрос о степени стабильности/лабильности ее составляющих, а именно — консонантизма, вокализма, фонетической структуры слога и т. д. Выявление степени стабильности языковых фактов является существенным для диахронического исследования как одного языка, так и группы родственных языков.

Нам представляется, что факты языка, имеющие большую степень стабильности и сохраняющиеся в течение долгого периода в языке (или родственных языках), могут быть названы диахроническими константами. Такая точка зрения, однако, не является единственно возможной трактовкой данного термина. М. М. Гухман дает определение диахронических констант в типологии как «однонаправленных изменений, обладающих определенной частотностью и узуальностью, совершающихся к тому же в языках, не связанных между собой ни генетическим родством, ни принадлежностью к одному и тому же ареалу» [13, с. 45].

М. М. Гухман четко разграничивает диахронические константы и диахронические универсалии, а также фреквенталии, идея которых была разработана Б. А. Серебрянниковым [14]. М. М. Гухман справедливо отмечает, что «полные диахронические универсалии — это основные положения историко-материалистической теории развития языка» [13, с. 45]. И далее: «...в отличие от диахронических универсалий диахронические константы моделируют такие общие, однонаправленные процессы, которые не обладают достоверной универсальностью, но характеризуются лишь определенной частотностью, узуальностью» [13, с. 56]. Важным является положение о том, что учитываются реальные модификации осуществления диахронических констант в конкретных языках, раскрывается соотношение общего и индивидуального. При этом общее содержание однонаправленных процессов является и н в а р и а н т н ы м. По мнению М. М. Гухман, фреквенталии, в отличие от диахронических констант, «не соотносены с типологической дифференциацией языков и с типологически маркированными процессами» [13, с. 57].

Но процессы изменения — это не единственные процессы в языковом развитии. Им всегда противостоят процессы сохранения некоторых элементов. Процессы модификации в одной области системы компенсируются консервацией в другой: «В этом отношении обращает на себя внимание контрастная характеристика ассимилятивных явлений в системе германских гласных и согласных фонем: значительной устойчивости согласных фонем противопоставляется исключительная вариативность и подверженность различным ассимилятивным процессам всей системы гласных фонем» [15, с. 71].

В романских языках также наблюдаются стабильные и нестабильные комплексы согласных. Так, латинский инициальный комплекс «согласный + сонант *l*» во французском языке сохраняется, в то время как в итальянском языке трансформируется в группу «согласный + *j*». Неизменными остаются комплексы согласных, вторым компонентом которых является сонант *r*. Ср. следующие примеры:

	латинский	французский	итальянский	испанский
[br]	<i>bronus</i> <i>beryllus</i> (вульг. лат. <i>brigliare</i> )	<i>bronche</i> <i>briller</i>	<i>branco</i> <i>brillare</i>	<i>bronco</i> <i>brillar</i>
[gr]	<i>gratus</i> <i>grossus</i> <i>granum</i>	<i>gré</i> <i>gros</i> <i>grain</i>	<i>grado</i> <i>grosso</i> <i>grano</i>	<i>grado</i> <i>grueso</i> <i>grano</i>

[fr]	<i>fregare</i> (вульг. лат. <i>fricare</i> )	<i>frayer</i>	<i>fregare</i>	<i>fregar</i>
[tr]	<i>trifolium</i> <i>trahere</i> (вульг. лат. * <i>tractiare</i> ) <i>tribula</i>	<i>trèfle</i> <i>tracer</i>  <i>tribler</i>	<i>trifoglio</i> <i>tracciare</i>  <i>trebbia</i>	<i>trèbol</i> <i>trazar</i>  <i>trillo</i>

Аналогичными являются наблюдения Е. Куриловича над индийским и греческим языками [16].

Приведенный материал свидетельствует о том, что в языках обязательно есть элементы стабильные и нестабильные. Так, в романских языках стабильными элементами, сохранившимися со времени классической латыни, выступают, в частности, начальные комплексы из двух согласных, вторым компонентом которых является сонант *r*. Такими инициальными консонантными комплексами остаются группы *br-*, *gr-*, *fr-*, *tr-*. Эти элементы, по нашему мнению, и следует обозначить как диахронические константы или, точнее, — строгие диахронические фонотактические константы.

Параллельно наблюдается некоторая нерегулярность начальных консонантных соответствий в латинском и романских языках. В подавляющем большинстве случаев в романских языках инициальные консонантные группы («согласный + *r*») сохраняются, однако иногда имеет место озвончение первых элементов начальных комплексов. Приводимые ниже языковые факты (соответствия) можно рассматривать как нестрогие диахронические фонотактические константы. Так, латинский начальный комплекс *pr* в важнейших романских языках — французском, итальянском и испанском — часто сохраняется и иногда имеет в качестве коррелята озвонченный вариант *br* (реже для французского языка, чаще для испанского). То же самое относится к начальной консонантной группе *kr*, имеющей соответствия в перечисленных романских языках (чаще *kr*, реже *gr*). Последнее также в основном характерно и для испанского языка.

	латинский	французский	итальянский	испанский
[pr]	<i>praehibenda</i> <i>prunus</i>	<i>prèbende</i> <i>brugnon</i>	<i>prebenda</i> <sup>11</sup> <i>brugna</i>	<i>prebenda</i> <i>bruno</i>
[kr]	<i>credere</i> <i>crassus</i> (вульг. лат. <i>grassus</i> ) <i>cretam</i>	<i>croire</i> <i>gras</i>  <i>craie</i>	<i>credere</i> <i>grasso</i>  <i>creta</i>	<i>creer</i> <i>graso</i>  <i>greda</i>

В рассмотренных случаях опорным согласным является второй компонент комплекса *r*, т. к. именно с ним сочетается определенный набор инициальных согласных: *p — b*, *k — g*, *t, f*. В других случаях опорным выступает первый согласный *s* в инициальных консонантных сочетаниях *s + p, t, k, m*. При этом нерегулярное общероманское озвончение *pr > br*, *kr > gr*, *sk > sg*, несмотря на разнохарактерность консонантных комплексов, может быть объяснено однопорядково: озвончается тот согласный, который выступает совместно с опорным согласным, независимо от того, является он первым или вторым.

В то же время в романских языках наблюдаются и те процессы, о которых пишет М. М. Гухман. Иначе говоря, устойчивостью (диахронической константностью) могут обладать и процессы изменения. Переход начальной консонантной группы *tl* в *kl* имел место в архаической латыни. Через несколько столетий в поздней латыни благодаря синкопе снова возникает инициальный комплекс *tl*, который снова трансформируется в *kl*. В начале II в. в латинском языке протекал процесс, характерный и для последующих романских языков: образование протетического гласного при определенных условиях. Эта потенция; — образование/необразование протетического гласного — отражена в полной мере романскими языками не только в процессе их исторического развития, но и свойственна многим

ранним (иногда и поздним) заимствованиям и релатинизированным формам, что свидетельствует о давлении системы конкретного языка на вновь появляющиеся языковые факты.

Итак, различаются статические и динамические языковые константы распространяющиеся, соответственно, на языковые факты и процессы. Среди диахронических констант различаются строгие и нестрогие соответствия. В первом случае речь идет о строгих диахронических фонотактических статических и динамических константах, во втором — о нестрогих диахронических статических и динамических константах.

М. М. Гухман подчеркивает: «...в построении диахронических констант (за немногими исключениями) ведущая роль принадлежит и н в а р и а н т н ы м (разрядка наша. — Г. Ц.) тенденциям» [13, с. 242]. Представляется существенным сопоставление и разграничение оппозиций «инвариантность/вариативность» и «константность/вариативность». В основе различия этих оппозиций находятся две разные концепции о сущности языка. Первая оппозиция (инвариантность/вариативность) базируется на определении языка как системы абстрактных единиц, реализация которых происходит в вариантах, представленных в речи. Эта оппозиция восходит к дихотомии Ф. де Соссюра «язык/речь». Инвариантными считаются общие свойства, особенные свойства — вариантными. Инвариант и его вариант связаны отношением репрезентации [17, с. 48]. Вторая оппозиция основывается на определении языка как системы вариантов (временных, пространственных, социальных), которые обеспечивают полифункциональную деятельность языка. Это направление представлено прежде всего работами Г. В. Степанова [18, 19, 10].

Г. В. Степанов пишет: «Однако любой лингвист должен отдавать себе отчет в том, что он описывает под названием языка и как следует описывать избранный объект. Мысль о том, что изменение присуще самому существованию языка и что вариантность (гетерогенность) является одной из очевидных и бесспорных особенностей реального („исторического“) языка, высказывалась неоднократно представителями различных школ и направлений. Однако в большинстве работ как теоретического, так и описательного характера исследователь оперирует языковым материалом как однородным объектом, что, несомненно, упрощает лингвистическую действительность. При таком подходе конкретный язык либо идеализируется целиком, т. е. весь превращается в инвариант фонетического и графического языка, либо редуцируется до идеального говорящего-слушающего, либо даже такой конкретный фрагмент языка, как диалект, превращается в абстрактную единицу (в структуральной диалектологии) [19, с. 148—149].

В синхроническом аспекте оппозиция «константность — вариативность» находит свое воплощение в концепции динамической синхронии. Развивая положения А. Мартине о динамической синхронии, М. Мамудян [20] связывает константность/вариативность с уверенностью и неуверенностью говорящих в различении отдельных элементов языковой системы. Так, парижанин четко различает отрезки *aimé* [eme] и *ainé* [ene], но колеблется в определении фонемы, когда ему предлагается различить отрезки [penje] (*vous peinez*) и [peñe] (*vous peignez*). Наблюдения над речью показывают, что большинство говорящих во втором случае произносят [nj] и лишь небольшой процент носителей языка различает [ñ] и [nj] в интервокальном положении. Палатальный сонант [ñ] еще включен в систему языка, но его положение нестабильно, и говорящий колеблется в случае опознавания звукового сегмента. М. Мамудян предлагает выделить две зоны в системе языка, в зависимости от их проявления в системе коммуникации: 1) зона уверенности, где языковые факты к о н с т а н т н ы и четки в сознании говорящих; они сразу же распознаются и понимаются. По мнению автора, они составляют верх языковой иерархии и необходимы для установления коммуникации; 2) зона колебаний (неуверенности), где языковые факты неясны в сознании говорящих и в а р и а т и в н ы в употреблении; их понимание может быть затруднено. Они составляют низ языковой иерархии, их коммуникативная роль

менее значительна. Эти две зоны являются полярными и между ними располагается целая шкала элементов с различным соотношением константности и вариативности [20, с. 13—14]. М. Мамудян связывает оппозицию «константность и вариативность» с идеей центра и периферии языковой системы [22]. И в центре, и в периферии как внутренней, так и внешней системы языка языковое варьирование совершенно обязательно. Однако и степень вариативности, и ее формы и причины могут быть различными.

На определенном этапе существования языка вариативность обусловлена различными факторами [9, 14]. Подчеркнем, что даже в синхронном рассмотрении оппозиция «константность/вариативность» не аналогична и не равнозначна оппозиции «инвариантность/вариативность».

По нашему мнению, в лингвистике наблюдаются два ряда оппозиций. Один ряд — это оппозиции «язык/речь», «инвариантность/вариативность», «тождество/различие», «общее/индивидуальное». Другой ряд — это оппозиции «изменчивость/неизменчивость», «константность/вариативность», «стабильность/лабильность». К этому же ряду относятся оппозиции «синтагма/диастрагма» и «синтопия/диатопия», «синхрония/диахрония».

В диахроническом аспекте, как уже указывалось выше, константность и вариативность могут быть рассмотрены как в плане отдельных элементов системы, так и в плане системы в целом. В этой плоскости следует также провести разграничение между оппозициями «константность/вариативность» и «инвариантность/вариативность».

Как известно, инвариант как абстрактная единица существует только в своих вариантах и через них представлен в речи. Известно также, что варианты подразделяются на два типа: свободные и комбинаторные. При анализе развития языка ведущая роль отводится обычно свободным вариантам как необусловленным окружением и менее стабильным. Комбинаторные варианты считаются более стабильными. Е. Косериу называет их «инварианты нормы». Способ их реализации обязателен для всех носителей языка. В качестве примера довольно часто приводится произношение целевых *d* и *b* в интервокальном положении в испанском языке [21, 22]. Однако наблюдения над территориальными вариантами испанского языка в Латинской Америке показывают, что эти варианты подверглись существенным изменениям. Этот факт объясним двояким образом. Первое возможное объяснение состоит в том, что при наложении языка на новый субстрат степень стабильности комбинаторных вариантов уменьшается, что наблюдалось при образовании романских языков. Второе объяснение состоит в том, что существуют два вида комбинаторных вариантов: одни обусловлены предшествующим историческим развитием, но по существу не обусловлены окружением в синхронном плане, другие — синхронные комбинаторные варианты, действительно обусловленные артикуляторными характеристиками окружения. Из этого следует, что исторически сложившиеся комбинаторные варианты в плане стабильности ничем не отличаются от свободных вариантов.

Рассмотрение вариантов какой-либо единицы показывает разницу в оппозициях «инвариантность/вариативность» и «константность/вариативность». Видимо, константность проявляется на уровне определенного типа комбинаторных вариантов. Здесь мы вновь возвращаемся к вопросу, который поставили вначале: какие элементы в языке обладают такой степенью стабильности, что являются константными в течение довольно длительного периода развития языка? Итак, на уровне отдельных элементов таковыми являются определенные типы комбинаторных вариантов. Однако анализ комбинаторных вариантов — это по существу рассмотрение структуры слога, т. е. фонотактический аспект. Этот аспект представляется очень важным и интересным при трактовке оппозиции «константность/вариативность». Следует отметить, что фонотактические исследования в системном плане начали проводиться сравнительно недавно (см. библиографию в [23]). В основном эти исследования осуществлены на материале германских и некоторых славянских языков в синхронном плане. Мы считаем плодотворным фонотактический анализ не только на синхронном срезе языка, но и в диахронии и в типологии. Представляется

также возможным выдвинуть гипотезу о существовании фонотактического типа языка и продемонстрировать в языковой эволюции романских языков действие оппозиции «константность/вариативность». На важность изучения фонотактики указывал еще Ф. де Соссюр, который писал: «В одном отношении метод современной фонологии особенно недостаточен; упускается из виду, что в языке имеются не только звуки, но и сочетания произносимых звуков; не уделяется еще достаточно внимания их взаимоотношениям. Между тем нам первично дан не отдельный звук; слог дан более непосредственно, чем составляющие его звуки» [6, с. 65].

Фонотактика как раздел фонологии предполагает изучение сочетаемости фонем, определение правил построения последовательностей фонем, описание типов слогов, а также фонетической структуры слова. Фонотактическая структура слова предполагает изучение: а) сочетаний гласных и согласных в пределах слога; б) сочетаний согласных, правил образования групп согласных в пределах слога; в) сочетаний групп согласных с гласными; г) распределения согласных и гласных относительно начала и конца слога; д) распределения групп согласных относительно начала и конца слога. Изучение фонотактической структуры слова требует рассмотрения: а) распределения гласных относительно начала слова; б) распределения согласных относительно начала слова; в) распределения групп согласных относительно начала и середины слова; г) правил членности групп согласных в интервокальном положении, отношения групп согласных к способу образования слова.

Работы Н. С. Трубецкого, Б. Трнки, Е. Куриловича свидетельствуют о значимости фонотактических исследований для диахронической фонологии. От фонотактических факторов зависит функциональная нагрузка отдельных фонем. Чем ограниченнее дистрибуция фонемы, тем меньше ее функциональная нагрузка. Фонотактический анализ оказывается плодотворным и при изучении морфологической структуры языков и ее развития [4, 25]. Так, например, степень стабильности начальных фонотактических комплексов в слове или, напротив, конечных связана с морфологическим типом языка.

Интересно отметить, что фонетическая субстанция может подвергнуться изменению, а фонотактическая модель остаться стабильной. Так, в сочетании начальных комплексов из двух согласных (смычный + *R*) в современных романских языках *R* имеет различную фонетическую природу, но фонотактическая модель стабильна по отношению к латыни.

В фонотактическом типе можно выделить компоненты, обладающие различной степенью стабильности. Степень стабильности согласных комплексов зависит от элементов, входящих в их состав, от количества элементов, от позиции группы согласных в слове. Установление степени стабильности необходимо для того, чтобы можно было, как пишет Г. Хёнигсвальд, «сделать некоторые прогнозы относительно характера перемещений языковых элементов низкого уровня — фонем и морфем — в позициях, где они способствуют неизменности языка (разрядка наша. — Г. Ц.), и в позициях, где они способствуют возникновению структурных инноваций» [4, с. 86].

Хотя при исследовании фонологических систем указывается на существование устойчивых и неустойчивых элементов, основное внимание всегда обращено на элементы неустойчивые, т. е. подверженные изменениям. Лишь иногда вскользь упоминается о характере элементов, которые более стабильны. Так, Г. Хёнигсвальд пишет: «...фонема, возникшая в результате слияния, теперь, по-видимому, представляет собой наиболее устойчивый элемент выведенной из равновесия подсистемы»... [4, с. 93]. А. Ю. Степановичус утверждает, что «устойчивость фонем во многом зависит от того, какова фонетическая природа их ДП. Наблюдения над изменениями, притом в самых разных языках, позволяют выделять более или менее сильные (устойчивые) признаки и их сочетания. Так, есть основания полагать, что в системе шумных среди локальных признаков апикальная артикуляция слабее предъязычной, а дорсальная — самая слабая из всех. Сходным образом для согласных слабыми нужно считать признаки палатальности,

велярности, увулярности и фарингалности. В системе гласных слабыми следует считать открытые гласные [25, с. 14, см. также 26]. Б. А. Се-ребренников пишет: «Во всех языках плавные и носовые отличаются относительно большей устойчивостью по сравнению со всеми другими типами согласных. Хорошо сохранились праязыковые плавные и сонанты в индоевропейских языках» [14, с. 156]. А. Ю. Степонавичюс связывает степень стабильности фонем с их участием в продуктивных типах чередований. По мнению А. Мартине, наиболее устойчивой является система, все гласные которой включены в корреляции и пучки. Однако автор сразу же уточняет, что «поскольку не все артикуляторные сочетания равноценны, наиболее „гармоничные“ системы далеко не всегда являются самыми экономичными и самыми устойчивыми» [27, с. 130]. А. Мартине совершенно справедливо утверждает, что полная устойчивость системы является недостижимой. К этому следует добавить, что существование полностью устойчивой системы противоречило бы основным существенным свойствам языка — константности и вариативности.

Следует отметить, что степень стабильности элементов можно определять по нескольким различным критериям. Один из критериев, который может быть назван *фонологическим*, достаточно четко сформулирован в работах А. Мартине. Сохранение элементов имеет место там, где есть значительная функциональная нагруженность, необходимость различения. По существу речь идет о сохранении противопоставления, оппозиций фонем. Другой критерий может быть назван *фонетическим*. Его основу составляет наличие в языках диафонического варьирования [9]. Сохранение элементов имеет место там, где степень диафонического варьирования минимальна. Третий критерий можно было бы назвать *фонотактическим*. Его основу составляет наличие в языках аллофонического варьирования, учета позиций элементов, их сочетаний в речевой цепи. При анализе отдельного элемента системы степень его стабильности должна определяться по всем трем критериям. Так, Э. А. Макаев утверждает, что в армянском и в германских языках «три ряда индоевропейских смычных: *bh, dh, gh, b, d, g, p, t, k* в антропофоническом отношении испытали значительные преобразования, но фонологическая релевантность трех рядов была сохранена» [28, с. 164—165]. Здесь уместно также вспомнить высказывание Р. Якобсона: «Мы уже указывали, что только при помощи интегрального метода возможно описать звуковое изменение. Необходимо исследовать, какие фонологические различия претерпели модификации, какие остались неизменными и каким образом функциональная нагрузка и употребление всех этих различий изменились» [29, с. 218].

Положение о константности/вариативности и степени стабильности элементов может найти применение в диахронической типологии. Системное рассмотрение развития языков предполагает не только учет общих тенденций изменения элементов, но и закономерностей сохранения определенных черт системы и структуры языка. Не является парадоксом то обстоятельство, что причины сохранения элементов по существу те же самые, что и причины изменений: это — субстантные, функциональные и структурные факторы [1, с. 6]. Диахроническими константами в типологии мы предлагаем называть общие элементы или черты структуры, обладающие большой степенью стабильности. Это могут быть фонологические оппозиции, особенности фонотактического типа, реже — сохранение фонетической субстанции. Думается, что исследование фактических данных родственных языков в этом плане может способствовать повышению точности методики сравнительной реконструкции более ранних общих языковых состояний.

Обычно элементы, которые сохранились от более ранних состояний, относятся к периферии языка. В этом случае говорят об архаизмах. Действительно, в диалектах сохраняются архаические фонетические явления (ср. исп. диалектн. *feito, estreito*, в то время как в литературном испанском находим *hecho, estrecho* [30, с. 178]).

Следует различать архаизмы и диахронические константы. Это соот-

носятся с пониманием центра и периферии различных уровней языковой системы. В области внешней системы языка периферийными элементами можно считать диалекты и, следовательно, диалектные фонетические явления. Периферийные архаические явления этого плана нельзя считать диахроническими константами, ибо в общенациональном языке мы имеем их более поздние модификации. Диахроническая константа должна прослеживаться вплоть до настоящего времени. Диахроническая константа не связана с периферийными явлениями. Напротив, стабильные элементы характеризуют центр системы [31].

Нельзя согласиться с мнением Е. Куриловича, что для реконструкции имеют значение лишь характерные инновации [32]. Именно в том случае, если мы будем классифицировать диахронические константы по их типам, можно развить динамическую теорию реконструкции, где не только будут разграничены константные и вариативные явления и процессы, но и будет показана их тесная взаимосвязь, их сбалансированность в эволюции языка.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Плоткин В. Я. Эволюция фонологических систем. М., 1982.
2. Hagège Cl., Haudricourt A. La phonologie panchronique. Paris, 1978.
3. Свидерский В. И., Зобов Р. А. Новые философские аспекты элементарно-структурных отношений. Л., 1970.
4. Хёнигсвальд Г. Существуют ли универсалии языковых изменений? — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
5. Derooy L. Néologie et néologismes: essai de typologie générale. — La banque des mots, 1971, № 1.
6. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933.
7. Martinet A. Evolution des langues et reconstruction. Paris, 1975.
8. Общее языкознание. М., 1970.
9. Торсуев Г. П. Константность и вариативность в фонетической системе. М., 1977.
10. Степанов Г. В. К проблеме языкового варьирования. М., 1979.
11. Семантическое и формальное варьирование. М., 1976.
12. La linguistique, 1980, v. 16; № 1: Constance et variations.
13. Гулман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981.
14. Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
15. Сравнительная грамматика германских языков. Т. II. Фонология. М., 1962.
16. Курилович Е. Вопросы теории слога. — В кн.: Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
17. Вардуль И. Ф. Основы описательной лингвистики. М., 1977.
18. Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976.
19. Степанов Г. В. Внешняя система языка и типы ее связи с внутренней структурой. — В кн.: Принципы описания языков мира. М., 1976.
20. Mahmoudian M. Structure linguistique; problème de la constance et des variations. — La linguistique, 1980—1981, v. 16.
21. Coseriu E. Sistema, norma e «parola». — In: Studi linguistici in onore Vittore Pisani. T. I. Brescia, 1969.
22. Мартине А. Основы общей лингвистики. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
23. Беляевская Е. Г. Фонотактические модели английского языка и возможность их применения в автоматическом распознавании: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1975.
24. Рождественский Ю. В. О некоторых предпосылках флексии и изоляции. — В кн.: Спорные вопросы строя языков Китая и Юго-Восточной Азии. М., 1964.
25. Степановичус А. Ю. Диахроническая фонология и проблемы древнеанглийского вокализма: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1977.
26. Foley J. Foundations of theoretical phonology. Cambridge, 1977.
27. Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960.
28. Макаев Э. А. Общая теория сравнительного языкознания. М., 1977.
29. Jakobson R. Principes de phonologie historique. — In: Jakobson R. Selected writings. I. The Hague—Paris, 1971.
30. Шишмарев В. Очерки по истории языков Испании. М.—Л., 1941.
31. Mahmoudian M. La linguistique. Paris, 1982.
32. Курилович Е. О понятии передвижения согласных. — В кн.: Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.

ФАЙЗОВ М.

**К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ  
ГЛАСНЫХ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ  
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ**

Количественная характеристика гласных в современном литературном таджикском языке впервые оказалась в центре внимания специалистов в 20—30-х годах XX столетия в связи с разработкой новой графики на латинской основе (вместо употреблявшейся ранее у таджиков арабской графики). Именно в этот период в печати и в ходе подготовки и проведения специальных конференций (1924 и 1928 гг.) дискутировался вопрос о составе таджикского вокализма [1—5].

Особенно большие споры вызывал вопрос о том, сохранилось ли в нем существовавшее ранее фонологическое противопоставление долгих и кратких *и*: — *и*, *у*: — *у*. Иными словами, является ли вокализм таджикского литературного языка восьмифонемным — *и*:, *и*, *э*, *а*, *о*, *у*:, *у*, *ӯ* или шестифонемным (без долгих *и*:, *у*:). Тогда победило мнение о шестифонемном его составе: *и*, *э*, *а*, *о*, *у*, *ӯ*. Это нашло отражение в новой таджикской графике, созданной сначала на латинской основе, а потом, с 1940 г. — на русской<sup>1</sup>.

В конце 30-х годов предпринимается исследование количественной характеристики таджикских гласных с использованием методов экспериментальной фонетики. В Ленинградском университете, в лаборатории экспериментальной фонетики, возглавляемой Л. В. Щербой, В. С. Соколова обследовала речь обучающихся в Ленинграде таджиков-студентов, уроженцев Самарканда, Канибадама, Пенджикента. Кроме того, непосредственно в Таджикистане ею были собраны материалы по фонетике говора таджиков Варзоба. Были произведены записи на кимографе и измерения длительности гласных в разном окружении: 1) в ударном закрытом слоге, 2) в ударном открытом слоге, 3) в неударном закрытом слоге и 4) в неударном (также — в предударном) открытом слоге.

В 1949 г. В. С. Соколова опубликовала книгу «Фонетика таджикского языка», в которой приходит к следующим выводам: 1) «Из приведенных цифр видно, что противопоставления длительности между 1-й (*е*, *о*, *й*. — *Ф. М.*) и 2-й (*и*, *а*, *и*. — *Ф. М.*) группой в ударенных слогах нет. Максимальный предел типовой длительности для всех шести гласных в ударенном положении одинаков (26 σ). Таким образом, звуки *а*, *и*, *и* (исторически краткие. — *Ф. М.*) могут иметь такую же протяженность, как и звуки *о*, *е*, *й*» (исторически долгие. — *Ф. М.*); 2) «В неударенном закрытом слоге противопоставления между гласными 1-й и 2-й группы резко противопологаются между собой по длительности... Гласные 1-й группы (т. е. *е*, *о*, *й*. — *Ф. М.*) в неударенном открытом слоге всегда остаются долгими, целиком сохраняя свою качественную определенность и никогда

<sup>1</sup> В латинизированной таджикской графике для гласного *ӯ*, качественно отличного от *у*, была принята фонема *ӯ*, в графике на русской основе — фонема *ӯ*. Черточка над буквой, таким образом, вопреки общепринятым правилам, фактически обозначает здесь не долготу, а качественное отличие гласного. Необычно использование черточки над буквой в таджикском алфавите (старом, латинизированном и современном, на русской основе) также в графемах — лат. *ī*, русск. *ī*, которые употребляются только в самом конце слова для обозначения ударного *й*. Во всех остальных случаях фонема *и* (в том числе конечное безударное *и*) обозначается в латинизированной графике буквой *i*, в русской — буквой *и* [см. 6].

не редуцируясь. Гласные 2-й группы (т. е. *i, a, u*. — Ф. М.) подвергаются в этом положении очень сильному сокращению, вплоть до исчезновения» [7, с. 75].

Далее В. С. Соколова пишет: «Таким образом, разница между гласными обеих групп заключается в разной степени их устойчивости... Противопоставление гласных обеих групп по длительности выявляется в неударенном открытом слоге, где гласные 1-й группы (*o, e, ı̄*. — Ф. М.) сохраняют свою длительность, а гласные 2-й группы (*i, a, u*. — Ф. М.) сокращаются вплоть до нуля» [7, с. 75—76].

В. С. Соколова отмечает, что в северных говорах (Канибадам, Самарканд, Пенджикент) «не всякое *u* или *i* способно сокращаться в неударенном слоге. В ряде слов неударенные *u, i* открытого слога выявляются как гласные устойчивой группы и остаются долгими, почти не сокращаясь или вовсе не сокращаясь. Количество слов с устойчивыми *ū* и *ī* невелико: для *ū* их отмечено всего 8, для *ī* — 15» [7, с. 76].

В. С. Соколова признает устойчивые *ī, ū* в северных говорах самостоятельными фонемами, но отмечает при этом, что «самостоятельность этих фонем ограничена. Во-первых, *ū* и *ī* засвидетельствованы лишь в небольшом количестве слов; во-вторых, *ū* и *ī* выявляются как самостоятельные фонемы, т. е. противопоставляются фонемам *u, i* только в одном фонетическом положении — в неударенном открытом слоге, в остальных же положениях противопоставления *ū — u* и *ī — i* нет, а существует лишь один звук *u* или *i*» [7, с. 77].

Исследования В. С. Соколовой, как мы видели, проводились на диалектных материалах. Что касается литературного таджикского языка, то вплоть до 70-х годов общепризнанным считался шестифонемный состав его вокализма (*u, ə, a, o, y, ū*), что нашло отражение в ряде грамматических очерков, а также в вузовских учебных пособиях по таджикскому языку [8—11]. Некоторые авторы, очевидно, исходя из графики, где есть буква *ū*, отмечали наличие в литературном языке 7 гласных фонем (включая *ū*) [12]. Однако, например, С. Д. Арзуманов и О. Д. Джалолов при этом замечают, что «звук *ū* по способу образования не отличается от звука *u*, но акустически он воспринимается как звук, произнесенный более длительно. Почти всегда буквой *ū* обозначается ударное *ū* в конце слова» [13]. Я. И. Калонтаров по этому поводу в «Орфографическом словаре таджикского литературного языка» пишет: «Буква *ū* (ударное *ū*) пишется в конце слова» [6], снимая тем самым представление об *ū* как букве, обозначающей особую фонему. Таким образом, они фактически отрицают фонологическое значение *ū*.

С начала 70-х годов снова возобновились споры о наличии или отсутствии долгих фонем *u, u:* в современном таджикском литературном языке. Это было связано с выходом в свет учебного пособия для вузов «Современный таджикский литературный язык», где в разделе «Фонетика», написанном Х. Каримовым, говорится следующее «Таджикский язык имеет восемь основных гласных звуков (фонем)» [14, с. 90; 15, с. 87], в их числе он упоминает долгие *u:, u:*. Разрешить этот спор на уровне современной науки можно лишь с использованием экспериментально-фонетических методов исследования количественной характеристики гласных таджикского литературного языка с ориентацией на произношение современной таджикской интеллигенции. Такая работа и была предпринята нами в 1980—1982 гг. в лаборатории экспериментальной фонетики Института русского языка АН СССР.

Актуальность разработки данного вопроса в последние годы возросла еще больше в связи с созданием средней и высшей театральной школы в Таджикистане и необходимостью дальнейшего совершенствования сценической речи в профессиональных и народных театрах республики. Большим тормозом совершенствования преподавания таджикского литературного произношения в высшей и средней школе вообще, в театральных учебных заведениях в особенности, является отсутствие четко разработанной теории произносительных норм [16], а также детально разработанных пособий, основанных на экспериментальных данных. «Экспериментальное

изучение звуков речи представляет возможность составить акустические анатомофизиологические характеристики каждой фонемы, выяснить основные черты артикуляционной базы звуковой системы языка. Эти данные являются материалом, без которого невозможна постановка произношения» [17].

Кроме того, проведение экспериментально-инструментального исследования стало практической необходимостью в связи с постановкой литературного произношения у студентов-актеров, режиссеров и вокалистов Таджикского государственного института искусств им. М. Турсун-заде, где автор статьи в течение ряда лет ведет курс таджикской сценической речи. Совершенствование постановки преподавания сценической речи в Институте искусств требует пристального внимания к чистоте и правильности произношения.

Настоящая статья базируется на результатах обследования устной речи современной таджикской интеллигенции с использованием методов экспериментальной фонетики. В основу материалов исследования легла речь живущих в Душанбе носителей таджикского языка. Душанбе является экономическим и культурным центром современного Советского Таджикистана. Именно в Душанбе в общении представителей разных диалектов наблюдается процесс унифицирования орфоэпических норм и становления единого литературного разговорного языка.

В качестве информантов мы старались привлекать тех представителей таджикской интеллигенции, речь которых можно признать образцовой, таких, как чл.-корр. АН Тадж.ССР, филолог, периодически выступающий как диктор таджикского радио, А. М. Маниязов, доктор филол. наук Р. Гаффаров, народные артисты Тадж.ССР Х. Рахматуллаев, А. Мухаммаджанов, поэтесса М. Хакимова, актриса академического театра им. А. Лахути Л. Барзиева, кандидат филол. наук А. Мирзоев, ст. преподаватель Института искусств С. Нилобеков, а также аспиранты сектора иранских языков Института языкознания АН СССР А. Рустамов и А. Абдунабиев.

Материал был обработан в лаборатории экспериментальной фонетики Института русского языка АН СССР на особом аппарате магнитофонсепараторе, предназначенном для сегментации речевого сигнала, записанного на магнитную ленту со скоростью 76,2 см/сек<sup>2</sup>.

В данной статье мы рассмотрим лишь ту часть полученных нами данных экспериментальных исследований, которая касается спорного вопроса о наличии (или отсутствии) в современном литературном таджикском языке особых долгих гласных фонем *и:*, *у:*, противопоставляемых по длительности гласным *и*, *у* (кратким).

В разделе «Фонетика» упомянутого учебника для вузов [15] наше внимание привлекли пары слов, приводимых автором для подтверждения высказанного им мнения о наличии в современном литературном таджикском языке фонологического противопоставления кратких и долгих *и* — *и:*, *у* — *у:* [15, с. 94—95]. Заметим, что во всех этих словах (они даются в транскрипции Х. Каримова) данные гласные находятся в закрытом слого под ударением: *си:р* «чеснок» — *сир* «тайна», *ду:р* «далекий» — *дур* «жемчуг»; *пу:л* «деньги» — *пул* «мост». А между тем, как было отмечено выше, экспериментальные исследования, проведенные в свое время В. С. Соколовой, показали, что в ударной позиции все таджикские гласные по длительности совпадают. Отсутствует в этой позиции и различие имеющих в северных говорах устойчивых и неустойчивых  $\bar{i}$  — *i*,  $\bar{y}$  — *y*.

Нами проведено измерение длительности гласных в произношении информантов — представителей современной таджикской интеллигенции именно в этих словах. Для того чтобы информанты четко их различали, мы попросили их произнести в составе следующих предложений: 1) *сир*

<sup>2</sup> О работе магнитофона-сепаратора см. статью ст. инженера лаборатории экспериментальной фонетики Института русского языка АН СССР Л. В. Васильева [18].

*соф шуд* «чеснок кончился», *сир(p)* *фош шуд* «тайна раскрыта»; 2) *ин санг дур(p)* *аст* «этот камень — жемчуг», *ин хона дур аст* «этот дом далеко».

Информаты<sup>3</sup> М. Г. Р. Х. Б. Р. А. М. Н. М.

<i>сир</i> «чеснок»	76	62	62	85	62	49	55	115	113	123
<i>сир(p)</i> «тайна»	76	62	62	95	62	50	49	115	113	123
<i>дур</i> «далеко»	72	85	80	67	75	57	57	123	120	123
<i>дур(p)</i> «жемчуг»	59	72	79	39	97	131	75	123	120	123

Как видно из приведенных цифровых данных, длительность гласного и в слове *сир* «чеснок» и *сир(p)* «тайна» фактически совпадает; такое же совпадение по длительности наблюдается и у гласного *у* в словах *дур* «далеко» и *дур(p)* «жемчуг». Это совпадение можно видеть и визуально на осциллограммах, приводимых ниже (ср. рис. 1 и 2; рис. 3 и 4).

Следовательно, в упомянутых словах представлены не четыре фонемы: *и*: — *и*, *у*: — *у*, а две — *и*, *у*. Что же касается пар слов *сир* «чеснок» — *сир(p)* «тайна», *дур* «далеко» — *дур(p)* «жемчуг», то они являются омофонами.

Приведем для сравнения осциллограммы слов *сир* «чеснок», *сир* «тайна» в рушанском языке, где фонологическое противопоставление  $\bar{i}$  — *i* является несомненным (ср. рис. 5—6).

На этих осциллограммах различие гласных  $\bar{i}$  — *i* видно вполне отчетливо ( $\bar{i}$  оказывается почти вдвое длительное *i*).

Такое же различие в длительности мы видим и в рушанских словах *бūt* «ботинок», *but* «идол» (рис. 7—8).

Аналогичные данные получены нами также при измерении длительности гласных в закрытом ударном слоге и в других словах, где исторически различались долгие и краткие  $\bar{i}$  — *i*,  $\bar{u}$  — *u* (см. табл. 1).

Приведенные цифровые данные показывают, что и в закрытом ударном слоге исторически краткие и долгие *и*, *у* по длительности полностью совпадают.

Данные, полученные нами также при измерении длительности гласных в закрытом неударном слоге, где исторически различались долгие и краткие  $\bar{i}$  — *i*,  $\bar{u}$  — *u* (см. табл. 2).

Как видно из вышеприведенных цифр, исторически долгие *и*, *у*, краткие *и*, *у* в современном литературном таджикском языке в закрытом неударном слоге в окружении различных по способу образования согласных по признаку длительности не отличаются друг от друга, т. е. они и здесь по длительности совпали друг с другом. Что касается ударного открытого слога на исходе слова, то гласные *и*, *у* в этой позиции исторического сравнения не имеют. Поэтому измерения их в названной позиции здесь не приводятся.

Данные, полученные нами при измерении длительности гласных в предударном открытом слоге, где исторически различались долгие и краткие  $\bar{i}$  — *i*,  $\bar{u}$  — *u* (см. табл. 3).

Анализ цифровых данных сравнительной характеристики длительности исторических долгих и кратких пар *и*, *у* в современном литературном произношении таджикского литературного языка показывает, что длительность *и*, *у* в рассмотренных фонетических позициях неодинакова.

Исторически долгий и краткий *и*, *у*:

а) В ударенном закрытом слоге в количественном отношении не отличаются друг от друга. Цифровые данные всех информантов показывают, что они по длительности совпадают друг с другом, что подтверждает выводы, сделанные В. С. Соколовой [7]. Это свидетельствует о том, что в данном положении историческое количественное противопоставление исчезло и давно стерлось. Следует отметить, что полученный таким образом единый гласный в зависимости от характера окружающих согласных (звонкие и глухие) количественно изменяется. В звонком окружении он

<sup>3</sup> Буквы обозначают: М.—Маниязов, Г.—Гаффаров, Р.—Рахматуллаев, Х.—Хакимова, Б.—Барзиева, Р.—Рустамов, А.—Абдунабиев, М.—Мирзоев, Н.—Нилобеков, М.—Мухаммаджанов.

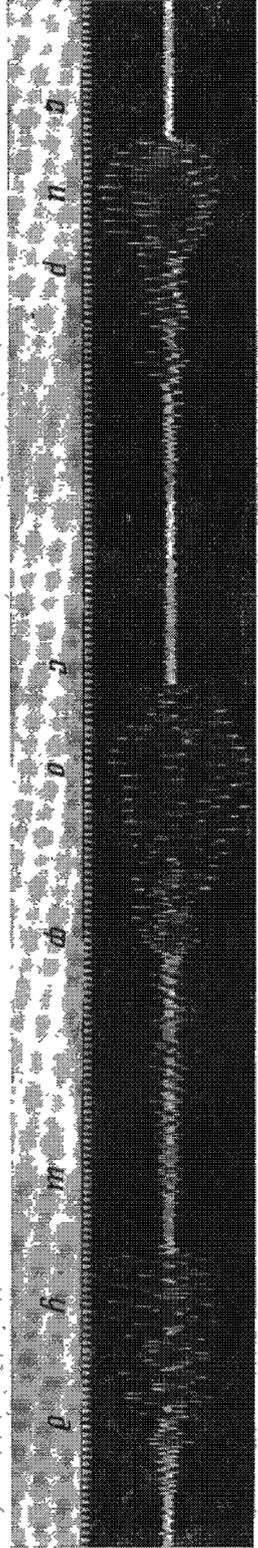


Fig. 1

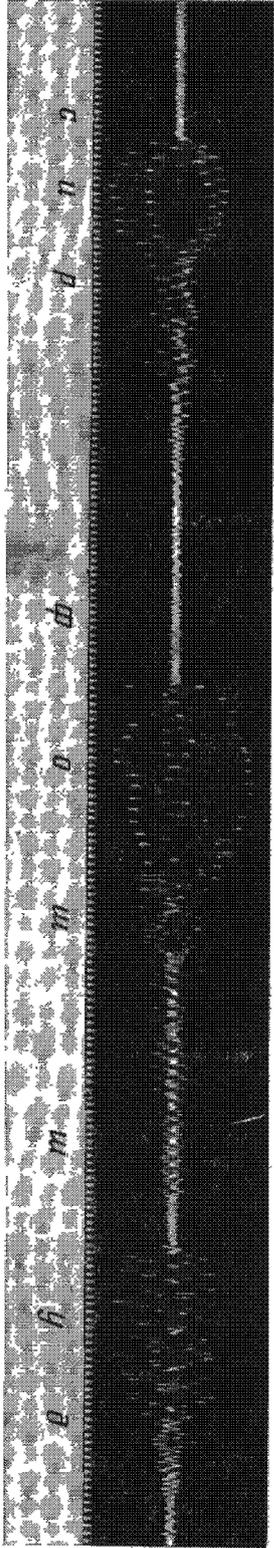


Fig. 2



Рис. 3

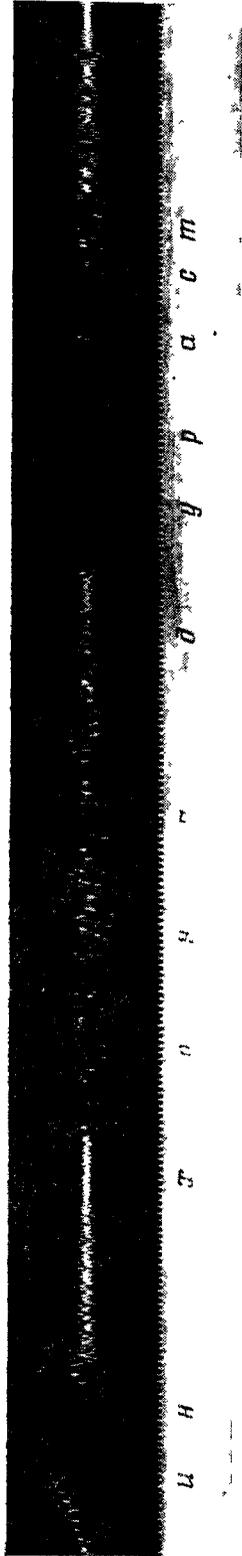


Рис. 4

Рис. 1

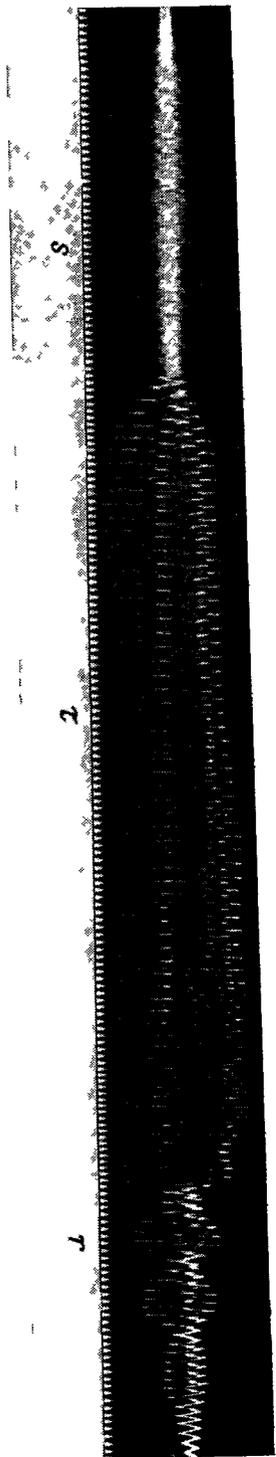


Рис 6

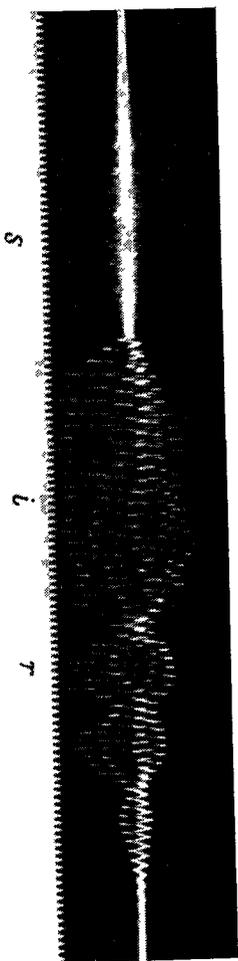


Рис 7.

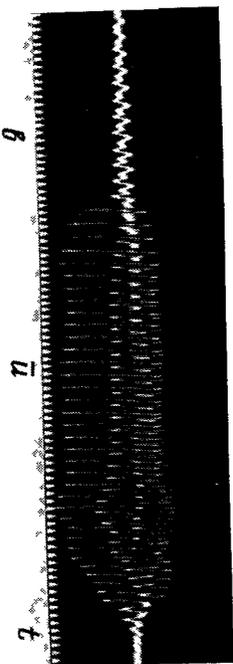
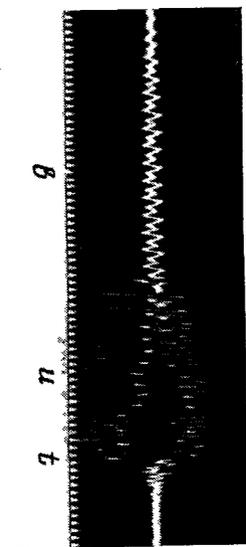


Рис. 8



Информанты *		М.	Г.	Х.	Б.	Р.	А.
Между звонкими согласными							
Исторически долгие <i>и, у</i>	<i>дид</i> «он видел»	110	97	121	116	97	60
	<i>буд</i> «он был»	98	86	70	137	136	129
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>Обид</i> имя собст. муж.	97	94	130	96	94	73
	<i>буз</i> «коза»	98	72	54	136	134	73
Между глухими согласными							
Исторические долгие <i>и, у</i>	<i>сиз</i> «вертел»	73	95	92	94	73	73
	<i>тут</i> «тутовник»	88	86	70	132	67	67
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>хит</i> «кирпич»	75	70	136	78	89	89
	<i>туф</i> «плевок»	64	61	44	77	76	61
Между звонкими смычными и <i>p</i>							
Исторические долгие <i>и, у</i>	<i>тақдир</i> «судьба»	132	132	136	117	117	117
	<i>дур</i> «далеко»	72	85	67	75	100	57
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>Нодир</i> имя собст. муж.	132	65	136	102	65	62
	<i>дур</i> «жемчуг»	59	72	39	97	131	75
Между глухими смычными и <i>p</i>							
Исторические долгие <i>и, у</i>	<i>фатир</i> (лепешка из пресного теста)	63	58	59	55	63	60
	<i>Шоқпур</i> имя собст. муж.	69	57	57	72	57	57
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>кофир</i> «безбожник»	60	58	64	54	58	64
	<i>пур</i> «полный»	49	83	68	75	75	75

\* Буквы обозначают. М. — Маниязов, Г — Гаффаров, Х. — Хакимова, Б. — Барзиева, Р. — Рустамов, А. — Абдунабиев.

более долгий, а в глухом окружении несколько укорачивается, что можно видеть в вышеприведенных измерениях.

Предельная длительность *и* в звонком окружении такова: верхний предел равняется 120 мс., нижний = 96 мс.; в глухом окружении: верхний = 95 мс., нижний = 70 мс.

Предельная длительность *у* в звонком окружении такова: верхний предел = 130 мс., нижний = 70 мс.; в глухом окружении: верхний = 100 мс., нижний = 64 мс.

б) В ударном открытом слоге оба звука встречаются в исходе слова, и по сравнению с другими позициями здесь они произносятся более протяжно, предельная длительность при этом независима от качества согласных: верхний предел для *и* = 150 мс., нижний = 134 мс.; для *у* верхний = 200 мс., нижний = 155 мс.

в) В неударенном закрытом слоге предельная длительность в звонком окружении такова: верхний предел для *и* = 60 мс., нижний = 48 мс.; в глухом окружении: верхний предел = 50 мс., нижний = 38 мс., верхний для *у* = 70 мс., нижний = 50 мс.

г) В предударном открытом слоге, в произношении исторических долгих и кратких *и, у* наблюдается разноречивость, т. е. этимологически долгие могут произноситься более протяжно по сравнению с этимологическими краткими. Так называемые исторические долгие в этой позиции могут

Информанты		М.	Г.	Х.	Б.	Р.	А.
Между звонкими согласными							
Исторически долгие <i>и, у</i>	<i>дидбон</i> «наблюдатель» <i>дудвор</i> «дымчатый»	57	31	52	62	31	31
		74	74	32	64	63	32
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>чиддӣ</i> «серьезный» <i>буддор</i> «(человек) имеющий козу»	62	48	51	42	42	42
		59	78	52	102	78	78
Между глухими согласными							
Исторические долгие <i>и, у</i>	<i>сикмӯ</i> «поднявшийся дыбом» (о волосах) <i>тутдор</i> «(человек) имеющий тут»	26	26	54	32	32	32
		39	21	52	39	21	21
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>чистон</i> «загадка» <i>хушкӣ</i> «суша»	24	24	61	53	53	53
		39	51	42	28	51	42
Между глухими щелевыми и <i>p</i>							
Исторические долгие <i>и, у</i>	<i>сирдор</i> «сдобренный, приправленный чесно- ком» ( <i>оши сирдор</i> «плов с чесноком») <i>зургод</i> «красавица»	55	51	38	52	50	55
		54	49	61	72	42	49
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>сирдор</i> ( <i>одами сирдор</i> «человек имеющий тай- ну») <i>зурсанд</i> «радостный»	57	53	61	52	49	49
		39	41	24	41	41	24

сохранить свою длительность. Однако их длительность не является дифференциальным признаком, выполняющим различительную функцию, что, в общем, выявлялось в возможности или невозможности их употребления в одинаковой фонетической позиции.

Длительность этимологически долгого *у* в слове *дуда* «сажа», *зудӣ* «быстрота», *дурӣ* «дальность» не имеет стабильного характера даже в благоприятном условии для сохранения длительности (между звонкими), а в позиции между глухими, которая считается неблагоприятной для сохранения длительности, тем более; ср. *тутак* «тутовничек», *хукак* «поросенок», где средняя длительность гласного равняется 29 мс. Аналогичное явление наблюдается в положении между глухими и звонкими — *хубӣ* «добро», *сурат* «изображение, фотокарточка».

Такая дополнительная взаимозаменяемость в современном таджикском литературном произношении не является тем противопоставлением, которое могло бы приводить к изменению слова или к его разрушению. В современном таджикском литературном языке в предупредительной позиции мы имеем факт «свободного варьирования фонемы, ее факультативные варианты» [19].

Поскольку длительность гласных *и, у* в современном таджикском языке не имеет смыслоразличительной функции, то их количественная вариация является признаком аллофонов одной фонемы.

Существенные дополнительные данные получены нами при исследовании длительности гласных *и, у* в начальном неударенном открытом слове многосложных слов. В слове *бинокорон* «строители», где *и* — этимоло-

Информанты *		М.	Г.	Р.	Х.	Б.	Р.	А.	М.	Н.	М.
Между звонкими согласными											
Исторически долгие <i>и, у</i>	<i>дидор</i> «видение»	153	156	129	57	57	56	56	129	113	115
	<i>бино</i> «зрячий»	147	150	147	150	150	67	58	59	113	129
	<i>дуда</i> «сажа»	105	56	120	127	111	86	86	120	131	105
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>чигар</i> «печень»	57	36	118	24	37	38	67	97	97	97
	<i>бино</i> «здание» ( <i>бинои мактаб</i> «здание школы»)	37	58	115	50	67	55	55	115	58	129
	<i>бузак</i> «козленок»	62	36	108	44	46	36	44	108	120	105
Между глухими согласными											
Исторические долгие <i>и, у</i>	<i>шиша</i> «стекло»	61	61	60	60	79	61	61	115	113	129
	<i>хукак</i> «поросенок»	29	18	18	53	12	18	18	77	128	80
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>сифат</i> «качество»	0	0	0	18	18	0	18	115	113	18
	<i>сутур</i> «животное»	32	18	18	24	18	0	18	32	24	32
Между щелевыми и <i>p</i>											
Исторические долгие <i>и, у</i>	<i>шира</i> «сок»	65	61	60	79	61	57	60	79	65	129
	<i>сурат</i> «фотокарточка, изображение»	105	36	105	157	130	57	60	115	111	129
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>сиришт</i> «нрав, натура, природа»	57	57	55	54	57	57	57	79	65	87
	<i>суруд</i> «песня»	21	34	34	63	59	34	25	95	95	102
Между звонкими смычными и <i>p</i>											
Исторические долгие <i>и, у</i>	<i>гиро</i> «цепкий»	42	57	55	38	50	50	55	55	55	55
	<i>дурй</i> «дальность»	13	52	52	20	20	20	100	102	102	102
Исторические краткие <i>и, у</i>	<i>биринч</i> «рис»	29	36	36	39	39	36	36	29	29	29
	<i>дуруд</i> «приветствие»	49	57	57	63	49	57	57	101	102	102

\* См. примеч. 3.

логически краткий, его длительность равна 72 мс., в слове *бинодилон* «проницательные», где *и* — этимологически долгий, она равна 75 мс.

В слове *хубигарицо* «добрые поступки» длительность гласного *у* (этимологически долгого) равна 51 мс., в слове *хукумат* «правительство» длительность первого *у* (этимологически краткого) равна 46 мс.

Следовательно, и в этой позиции длительность исторически кратких и долгих гласных практически сравнялась (разница в 3—5 мс. настолько ничтожна, что не может иметь фонологического значения). Это вносит весьма существенное уточнение в имеющееся представление о сохранении противопоставления этимологически долгих и кратких гласных в открытом неударенном слоге. Оно сохранилось, как оказалось, не во всяком открытом неударенном слоге, а только в слоге, находящемся непосредственно перед следующим ударным, т. е. в открытом предударном слоге. В многосложных словах, в слогах, удаленных от конечного ударенного, это противопоставление по длительности исчезло так же, как в ударенных слогах и в закрытых неударенных (см. выше).

Выравнивание исторически долгих и кратких гласных по длительности привело к образованию в таджикском языке целого ряда омонимов, т. е. слов, совпадающих по звучанию, но семантически различных, ср.: *пул* «деньги» и *пул* «мост», *сир* «чеснок» и *сир(р)* «тайна», *дур* «далекий» и *дур(р)* «жемчуг», *кун* «зад, низ» и *кун* «делай» и т. п. Характер длительности гласных в этих словах не несет на себе сигнификативной функции. Произнесем ли мы в этих словах гласные *и*, *у* протяжно или кратко, это может быть обусловлено лишь темпом речи, наличием или отсутствием логического ударения и пр., но на значении этих слов никак не отражается.

Таким образом, понятие долготы и краткости в современном таджикском литературном языке оказывается позиционно обусловленным. Только в одной фонетической позиции — в открытом предударном слоге — сохраняется реликтовое различие в длительности исторически долгих и кратких *и*, *у*. Во всех других позициях *и*: < иранск. *ī*, *и* < иранск. *i* не различаются ни в качественном, ни в количественном отношении. Такое же неразличение и по длительности, и по качеству наблюдается и у гласного *у*: < *ū* и *у* < *u*.

К этому необходимо добавить следующее:

1) количество слов, в которых исторически долгие *у*: < *ū*, *и*: < *ī* находятся в предударном открытом слоге, очень невелико, не более полтора-двух десятков для каждого из этих двух гласных;

2) произношение таких слов с укороченными *и*, *у*, как показала проверка с аудиторами, лишь несколько режет слух, но не ведет к искажению смысла или к непониманию. Отсюда следует, что в этой позиции несколько удлиненное произношение этимологически долгих *и*, *у* уже не имеет полноценной фонологической значимости. Это пережиточное, остаточное явление, не имеющее существенного значения для общей системы фонологических противопоставлений в современном литературном таджикском языке.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Rahbari doniṣ, 1928, №№ 1—2, 10—12.
2. Тоҷикистони Сурх, 1928, 19 окт.; 1929, 26 дек.; 1930, 5 янв.; 1930, 9 янв.
3. Правила правописания. Ч. II. Самарканд, 1929, с. 2.
4. Овози тоҷик, 1930, 16 янв.; 1930, 27 февр.; 1930, 8 апр.
5. К вопросу об едином литературном таджикском языке, терминологии и латинизированном таджикском алфавите. Материалы работ комиссии по подготовке научно-лингвистического съезда в Сталинабаде. Сталинабад, 1930.
6. Калонтаров Я. И. Луғати имлои забони адабии тоҷик. Душанбе, 1974, с. 7.
7. Соколова В. С. Фонетика таджикского языка. М.—Л., 1949.
8. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Китоби дарси барои мактабҳои олии. Сталинобод, 1956, с. 21.
9. Расторгуева В. С. Краткий очерк фонетики таджикского языка: Учебное пособие для филологических факультетов таджикских вузов. Сталинабад, 1955, с. 25.
10. Расторгуева В. С. Краткий очерк грамматики таджикского языка. Приложение к Таджикско-русскому словарю. Под ред. Рахими М. В. и Успенской Л. В. Гл. ред. чл.-корр. АН СССР Бертельс Е. Э. М., 1954, с. 531—533.
11. Неменова Р. Л. Краткий очерк грамматики таджикского языка. Приложение к Краткому таджикско-русскому словарю. Сост. Калонтаров Я. И. М., 1955, с. 528.
12. Ниёзмӯҳаммадов Б., Ниёзӣ Ш., Бузурговода Л. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Ҷ. 1. Фонетика ва морфология. Барои мактабҳои ҳафтсола ва миёна. Чопи чорум. Сталинобод, 1949, с. 17.
13. Арзуманов С., Чалолов О. Забони тоҷикӣ. Учебник таджикского языка для высших учебных заведений. Душанбе, 1969, с. 117.
14. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ. 1. Лексикология, фонетика ва морфология. Душанбе, 1973.
15. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷ. 1. Лексикология, фонетика ва морфология. Душанбе, 1982.
16. Расторгуева В. С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., 1934, с. 14.
17. Скалосуб Л. Г. Палатограммы и рентгенограммы согласных фонем русского литературного языка. Киев, 1963, с. 31.
18. Васильев Л. В. Магнитофон-сепаратор для фонетических исследований.—В кн.: Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
19. Зиндер Л. Р. Общая фонетика. 2-е изд. М., 1979, с. 72.

ЛОКШТАНОВА Л. М.

О СТРУКТУРЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ  
НАКЛОНЕНИЯ В ДАТСКОМ ЯЗЫКЕ

Моделирование структуры грамматической категории наклонения зависит от трактовки целого комплекса теоретических проблем. Предлагаемое в данной статье описание системы форм категории наклонения в датском языке отличается в значительной степени от установившейся в Дании научной традиции, в соответствии с которой в датском языке, помимо индикатива, выделяются еще два наклонения: императив (*giv*) и конъюнктив, или оптатив (*give*). Мы выделяем еще 4 косвенных наклонения: ирреалис (*gav, havde givet*), кондиционалис (*ville give, ville have givet*), дубитатив (*skulle give, skulle have givet*) и проспектив (*skal give, skulle give*). Выделение большого количества косвенных наклонений мы основываем на изучении функционирования глагольных форм с позиций, соответствующих ряду важных теоретических положений, сформулированных ведущими советскими германистами, — В. М. Жирмунским, А. И. Смирницким, М. И. Стеблин-Каменским, В. Н. Ярцевой, М. М. Гухман и др. Первостепенное значение для предлагаемой трактовки структуры категории наклонения в датском языке имели: учет принципов выделения аналитических форм [1; 2; 3, с. 62—99; 4—9], общая теория грамматических категорий [3, с. 8—11, с. 205—210; 10—14], принципы описания структуры парадигматических рядов [15—18], положение о «полеовой структуре» грамматических категорий [1, с. 124—125; 19], признание грамматической омонимии [3, с. 341—357; 20; 21], исследования системы наклонений других германских языков [22—27], принципы выделения подклассов категории наклонения [3, с. 341—356; 28; 29].

В датской лингвистической традиции рамки морфологии глагола очерчиваются строго формально: в ней находят место лишь немногочисленные синтетические формы. Эта концепция в наиболее четкой форме впервые была сформулирована Х. Вивелем [30, с. 134—205]. Ныне ее разделяет большинство датских лингвистов — П. Дидериксен [31, с. 59—70; 32; 33], О. Хансен [34], Э. Релинг [35], Э. Оксенад [36], А. М. Нордентофт [37], Е. О. Енсен [38] и др. Большое влияние на формирование датской грамматической традиции оказали В. Брэндаль, О. Есперсен, Л. Ельмслев.

Стремясь избавиться от шаблона латинской грамматики, датские лингвисты склонны усматривать своеобразие морфологии датского глагола в ограниченности числа финитных форм, к которым причисляются презенс, претерит, императив, оптатив, а также страдательные формы на *-s* (в презенсе и претерите). Все «описательные глагольные формы» («*verbets omskrevne former*») выведены за пределы парадигматики на том основании, что вспомогательный глагол не может быть приравнен к морфеме, а аналитическое сочетание — к синтетической форме [ср. 31, с. 127—130]. Это относится, в частности, к перфекту, плюсквамперфекту, пассиву с *blive* и, конечно, ко всем сочетаниям с инфинитивом. Исключение аналитических форм из морфологии повлияло, естественно, на трактовку глагольных категорий наклонения, времени, вида и залога.

Важные последствия для моделирования структуры глагольных категорий имеет также другой теоретический принцип, которому следуют датские лингвисты, — отрицание грамматической омонимии. В частности, реальный и ирреальный претерит (*gav*), оптатив и инфинитив (*give*) рас-

смаатриваются соответственно как варианты одной формы. Пытаюсь найти общее категориальное значение для обоих вариантов претерита, и Х. Вивель, и П. Дидериксен трактуют эту форму как «дистантную» (*afstandsform*) [ср. 30, с. 141; 31, с. 123]. В соответствии с этим общая классификация финитных форм связывается с выражением «степени реальности» действия («*realitetesgraden*»). На основе этого родового понятия презенс, претерит, императив и оптатив противопоставляются соответственно как «*realitetsform*», «*afstandsform*», «*påbudsform*» и «*onskeform*» [см. 30, с. 140—146; 31, с. 125—127; 32]. Логическим завершением этого принципа классификации был бы полный отказ от отдельного рассмотрения категорий наклонения и времени. Однако этого последовательного шага ни Х. Вивель, ни П. Дидериксен не делают: в рамках категории времени все же противопоставляются презенс и претерит, а в рамках категории наклонения — индикатив, императив и оптатив.

Близкая к концепции датских лингвистов точка зрения на принципы выделения форм категории наклонения сформулирована Л. С. Ермолаевой [см. 24, 25]. В фундаментальном исследовании, посвященном эволюции системы наклонений в германских языках, для современного датского языка выделяется оппозиция «индикатив — императив». В связи с судьбой датского ирреалиса делается вывод о слиянии противопоставления «реальность — нереальность» с временным противопоставлением «непрошедшее — прошедшее» на основе инварианта «актуальность — неактуальность» в момент речи. Постулируется неотделимость категории наклонения от категории времени [25, с. 41—42]. В отличие от датских лингвистов, Л. С. Ермолаева исключает из парадигмы форму оптатива, трактуя ее как архаичную [24, с. 288].

М. И. Стеблин-Каменский на материале скандинавских языков убедительно показал, что распад флексий, с одной стороны, и грамматизация синтаксических сочетаний, с другой, явились решающими факторами эволюции морфологического строя этих языков [39]. Процессы парадигматизации глагольных сочетаний, характерные для исторической перестройки глагольной системы германских языков, захватили датский язык и привели к значительным изменениям в структуре парадигматических рядов.

В современном датском языке, наряду с аналитическими формами, достигшими максимального уровня парадигматизации, функционируют грамматизованные и полуграмматизованные сочетания, в той или иной степени приближающиеся к парадигме, что обуславливает относительно незамкнутый характер самой парадигмы. В этой связи в датском языке целесообразно разграничивать, с нашей точки зрения, собственно парадигму, включающую синтетические и аналитические формы слова, и расширенную парадигму, включающую грамматизованные конструкции, не обособившиеся в полной мере от свободных синтаксических сочетаний. К аналитическим формам, входящим в собственно парадигму, мы относим перфект, плюсквамперфект, будущее и будущее в прошедшем со вспомогательным глаголом *vil/ville* [40] и кондиционалис с *ville* [41]. Форма пассива с *blive* также относится к аналитическим [42]. В расширенную парадигму выключаются грамматизованные сочетания с глаголом *skulle*, входящие в разные подклассы: модальное будущее, примыкающее к футуруму, и косвенные наклонения — проспектив и дубитатив (см. ниже). Входят в расширенную парадигму также формы статива. Результативное сочетание *få* + причастие II и омонимичная страдательная конструкция остаются за пределами парадигмы [43].

Из всех скандинавских языков датский достиг самого высокого уровня аналитизма. В морфологии глагола датский обнаруживает больше сходства с аналитическим английским, чем с немецким. Как и в английском, роль контекста в проявлении значений омонимичных, полифункциональных или многозначных форм является решающей. Вслед за А. И. Смирницким [3, с. 341—357], М. И. Стеблин-Каменским [21], В. Н. Ярцевой [44] мы полагаем, что претеритальные формы индикатива и формы косвенных наклонений являются категориальными омонимами. В качестве ре-

шающих критериев омонимии выступают расхождения инвариантных значений, различия в структуре парадигматических рядов и межпарадигматических отношений и, в конечном итоге, — отнесенность к разным уровням в структурной иерархии: категориальный класс форм наклоения выступает как «большая парадигма», по отношению к которой видо-временные формы индикатива образуют «малую парадигму» [13, с. 69—86; 9, с. 40; 17, с. 86—87]. Грамматическую категорию мы понимаем как обобщенное грамматическое значение, последовательно выражаемое системой грамматических форм, структура которой определяется отношениями оппозиции или различия между парадигматическими значениями ее элементов [ср. 14, 45]. В качестве элементов категориального класса наклоения («большая парадигма») выступают индикатив и косвенные наклоения, каждое из которых обладает собственным парадигматическим значением и в свою очередь представлено либо одной грамматической формой (оптатив и императив), либо системой форм, образующих «малые парадигмы» (категориальные подклассы). Категорию наклоения мы определяем как выражение финитными формами глагола модальности предикации, т. е. точки зрения говорящего на реальность связи между носителем признака и признаком, между которыми он устанавливает синтаксическое предикативное отношение [ср. 46].

В датском языке место каждой глагольной формы в общей системе финитных форм зависит от ее отношения к категориям наклоения, времени, вида и залога (в данной работе мы абстрагируемся от противопоставления форм действительного и страдательного залога и приводим только формы парадигматического ряда актива). Структура индикатива определяется взаимодействием категорий времени и вида (категория вида в датском языке рассматривается как оппозиция неперфектных и перфектных форм). Видовое противопоставление неперфектных и перфектных форм охватывает также три косвенных наклоения: ирреалис, кондиционалис и дубитатив. В соответствии с видовой оппозицией мы разграничиваем формы ирреалиса I и II (*gav, havde givet*), кондиционалиса I и II (*ville give, ville have givet*), дубитатива I и II (*skulle give, skulle have givet*). Парадигма проспектива состоит из двух форм — проспектива и проспектива в прошедшем (*skal give, skulle give*), употребляющихся в соответствии с «правилами согласования времен»: проспектив является синтаксически зависимым наклоением, употребляющимся в придаточных дополнительных и целевых. Терминологическое различение видо-временных форм индикатива и форм косвенных наклоений должно отразить специфику парадигматического модального значения каждой из омонимичных форм (ср. замечание В. М. Жирмунского о необходимости изменения названий форм немецкого конъюнктива [47]).

Если признать ведущим принципом конструирования языковых систем функционально-структурную общность их элементов [ср. 15, с. 154; 48, с. 8—9], то использование одних и тех же элементов в пределах разных иерархических систем (мы имеем в виду категориальные классы наклоения и времени) можно рассматривать как способ формообразования (аналогично конверсии в словообразовании). В его основе лежит идея несовместимости комплекса парадигматических значений.

Рассмотрим примеры употребления форм косвенных наклоений в типичных синтаксических условиях.

И м п е р а т и в (1) *Læs* «Читай»; (2) *Du vil være digter, i n d r ø m d u bare* (Т. Skou-Hansen, «De nøgne træer») «Ты хочешь быть писателем, ты уж признайся». Форма императива в датском языке является «сильно маркированной» (совпадает с глагольной основой). При эксплицитном подлежащем, характерном для эмоционально-экспрессивной речи (второй пример), как бы усиливается непосредственный контакт между говорящим и исполнителем действия. Парадигматическое значение формы императива — объективно-модальное значение гипотетичности, обусловленное непосредственным побуждением субъекта действия к действию со стороны говорящего. Значение непосредственного побуждения передается также обратным порядком слов, так называемым нулевым подлежащим

и интонацией [27, с. 149]. Значение же гипотетичности связи между S и P маркируется именно формой наклоения.

О п т а т и в: (3) *Danmark leve!* «Да здравствует Дания!»; (4) *Gud give, at...* «Дай бог, чтобы...»; (5) *Pokker t a g e dig!* «Черт тебя побори!»; (6) *Man h e n v e n d e s i g mellem 3 og 4* «Следует обращаться между 3 и 4 часами»; (7) *Man f o r e s t i l l e s i g min forbavelse, da...* «Представить только мое удивление, когда...»; (8) *Det v æ r e nu som det v æ r e vil* «Будь, что будет»; (9) *F o r s t å det hvem der kan* «Вот и пойми, кто может»; (10) *Det er nødvendigt, at alle de kræfter, der føler disse problemer..., det v æ r e s i g...* («Land og Folk», 1979, 5 апр.). «Необходимо, чтобы все те силы, которые ощущают эти проблемы..., будь то...». Парадигматическое значение оптатива — гипотетическая связь между P и S, обусловленная волеизъявлением говорящего, которое не предполагает побуждения кого-либо к действию, а выражает пожелание установления связи между признаком и его носителем. Синтагматическими значениями оптатива в датском являются значения пожелания (примеры 3—5), предписания (примеры 6—7), допущения (примеры 8—10). Сфера употребления оптатива ограничена конкретными структурно-синтаксическими моделями предложения, характерными речевыми условиями и определенными стилистическими рамками. В этой связи высказывается мнение, что оптатив в датском является архаизмом, вышедшим из употребления [24, с. 288—289]. Такой вывод неправомерен, потому что удельный вес оптатива должен определяться в ряду средств выражения данного значения, которое само по себе является стилистически и жанрово обусловленным [ср. 6]. Неточным является также утверждение, что оптатив употребляется лишь в некоторых фразеологизмах. Определенным синтагматическим видам оптатива действительно свойственна клишированность. В частности, значение пожелания связано с определенным кругом глаголов, употребляемых в здравницах, пожеланиях, обращенных часто к богу, судьбе, или, наоборот, в проклятиях, где фигурируют существительные *pokker, fanden, djævel* «черт» и соответствующие эвфемизмы (*søren, katten*). Диапазон таких формул невелик, постоянным членом в них является глагол, а в позиции подлежащего, дополнения и остальных членов предложения могут выступать различные слова того же семантического разряда. Ср.: *Årets første student, han l e v e!* (K. Ribbjerg, *Den kroniske uskyld*) «Первый выпускник года, пусть здравствует он!»; *Pokker (fanden, djævel, søren, katten) t a g e dig (mig, ham)* «Черт тебя (меня, его) побори...»; *Pokker stå i den mand* «Черт возьми этого человека». Как раз спецификация модального значения оптатива обуславливает высокую степень его устойчивости. Многочисленные примеры употребления оптатива в современном языке приведены в третьем томе обширной монографии О. Хансена [34].

П р о с п е к т и в: (11) *Han ville have, at hun s k u l l e d e l e hans glæde* (M. Tejn, *Katastrofe*) «Он хотел, чтобы она разделила его радость»; (12) *Jeg er bange for, at hun s k a l o p d a g e, hvordan jeg virkelig er* (T. Ditlevsen, *Barndommens gade*) «Я боюсь, что она обнаружит, каков я на самом деле»; (13) *Han vendte sig om, for at der ikke s k u l l e b l i v e s m i l e t til ham mere* (K. Sønderby, *Den usynlige hær*) «Он отвернулся, чтобы ему больше не улыбались»; (14) *Og for at man s k a l f o r s t å, hvordan hun så ud, vil jeg sige, at hendes øjne... var en rig mands datters øjne* (K. Sønderby, *Midt i en jazztid*) «Для того, чтобы понять, как она выглядела, я скажу, что у нее были глаза дочки богатого человека». Поскольку проспектив представляет собой синтаксически зависимое косвенное наклонение, употребляемое в дополнительных и целевых придаточных предложениях, выбор формы *skal + inf.* или *skulle + inf.* подчиняется правилам зависимого употребления времен. Парадигматическое значение проспектива — гипотетическая связь носителя признака S и признака P, обусловленная противопоставлением носителей действия в главной и придаточной части. Частным случаем этого противопоставления является значение внешнего волеизъявления (при глаголах желаяния или нежелаяния в главной части и в придаточных целевых).

И р е а л и с: (15) *Hvis huset s t y r t e d e s a m m e n nu, ville jeg*

være lykkelig (K. Rifbjerg, Den kroniske uskyld) «Если бы дом сейчас рухнул, я был бы счастлив»; (16) *Hadde du fulgt mit råd, havde alting set anderledes ud for dig* (K. Sønderby, Den usynlige hær) «Если бы ты последовала моему совету, все было бы у тебя иначе»; (17) *Hadde jeg blot adlydt ham!* (H. L. Jepsen, Pardishuset) «Если бы я его послушалась!»; (18) *Bare det var overstået* (H. Kirk, Djævelens penge) «Только бы пережить это»; (19) *Jeg har det, som om jeg skulle op til eksamen* (там же) «У меня такое чувство, как будто мне идти на экзамен»; (20) *Han havde bestemt, at der skulle arbejdes om søndagen, og der ville blive arbejdet om søndagen, hvad folk end sagde til det* (там же) «Он решил, что нужно работать по воскресеньям, и по воскресеньям будут работать, что бы люди ни говорили об этом»; (21) *Karen Blixen er meget sparsom med oplysninger om sig selv. Helst, siger hun, var hun forblevet anonym* (J. Rosendahl, Karen Blixen) «Карен Бликсен очень скупко сообщает о себе. — Лучше всего, — говорит она, — было бы остаться анонимной»; (22) *Såfremt I ejer evne dertil, så burde I skamme jer* («Land og Folk», 1976, 2 апр.). «Если только вы на это способны, то постыдились бы». Ирреалис I (примеры 15, 18, 19, 20) и ирреалис II (примеры 16, 17, 21) противопоставлены по выраженности/невыраженности значений результата или ретроспективности. Парадигматическое значение ирреалиса — ирреальность<sup>1</sup>; — понимается как связь между подлежащим и сказуемым, противоположная (или потенциально противоположная) действительной денотативной связи (так называемое «внутреннее отрицание»). По сути дела, формы ирреалиса позволяют в свернутом виде выразить допущение от противного. Смысл придаточного ирреального условия, например, можно выразить таким построением: *Если бы он жил в Москве... ⇨ Известно, что он в Москве не живет; но допустим, что он живет в Москве; если принять такое допущение...* Помимо придаточных условных (примеры 15—16), ирреалис в датском употребляется в придаточных ирреального сравнения (пример 19), ирреальных уступительных предложениях (пример 20), а также в предложениях ирреального желания (примеры 17—18). В этих синтаксических условиях употребление ирреалиса является абсолютной нормой. В главной части сложноподчиненного предложения ирреального условия обычным является употребление кондиционалиса. Ирреалис возможен в тех случаях, когда подчеркивается ирреальность следствия (пример 16). Употребление ирреалиса в самостоятельном предложении всегда мотивировано элементами смысла, имплицитными соотносительностью ирреального допущения и ирреального следствия — в примере (21) этим элементом является наречие оценки в превосходной степени *helst*. Модальные глаголы, в отличие от полнозначных, обычно употребляются в самостоятельных и главных предложениях в форме ирреалиса, а не кондиционалиса. В самостоятельных предложениях в этом случае создается коннотация вежливости, некатегоричности (пример 22). Некатегоричность высказывания не является значением объективной модальности. Коннотация вежливости, некатегоричности создается за счет как бы немотивированного использования форм, содержащих семы «ирреальность» и «ирреально обусловленное предположение», хотя соответствующие речевые клише возникли на основе высказываний, содержавших эти значения.

К о н д и ц и о н а л и с: (23) *Hvis jeg var Dem, ville jeg nu ikke være særlig opskræmt* (A. Bodelsen, Frysepunktet) «Если бы я был на Вашем месте, то я бы уж не стал особенно пугаться»; (24) *Nu bomber de! — sagde Alice, men Jørgen lyttede og rystede på hovedet. — Så ville vi have hørt maskinerne, sagde han* (K. Sønderby, Den usynlige hær) «Теперь они бомбят!» — сказала Алиса, но Йорген, прислушавшись, покачал головой: — Тогда мы бы услышали машины, — сказал он»; (25) *Det ville være rart at have skreget* (K. Rifbjerg, Den kroniske uskyld) «Было бы приятно закричать»; (26) *På et gammeldags teater ville det have sluttet med, at hun ville være ilet ud til højre* (K. Sønderby, Midt i en jazztid) «В старом театре это кончилось бы тем, что она поспешила бы направо»; (27) *Jeg ville ønske du kunne blive her, brast*

*det ud af ham* (I. Malinovski, Ingenlandsmand) «Я бы хотел, чтобы ты могла остаться здесь, — вырвалось у него»; (28) *En nægtelse ville føre til katastrofale tilstande* (H. Kirk, Djævelens penge) «Отказ привел бы к катастрофе»; (29) *For et år siden ville han have sagt «ja, gerne»* (K. Sønderby, Midt i en jazztid) «Год назад он сказал бы: „Да, конечно“», (30) *Hvis det ikke havde været for hende, var han sikker på, at han ville have været meget lykkelig* (L. Panduro, Den bedste af alle verdener) «Если бы не она, то он наверняка был бы тогда очень счастлив». Парадигматический ряд кондиционалиса состоит из двух форм — кондиционалиса I (*ville* + инфинитив I) и кондиционалиса II (*ville* + инфинитив II). Системный характер видовой оппозиции в парадигматических рядах ирреалиса, кондиционалиса и дубитатива проявляется в однотипности их строения. Кондиционалис II, в соответствии с этой общей структурой, выражает значение результата (в примере 24 — результат в настоящем) или ретроспективности (примеры 26, 29, 30). Инвариантное модальное значение кондиционалиса — ирреально обусловленное предположение. К типичным вариантам контекста относятся не только главная часть ирреального периода, но и самостоятельные предложения, в которых функцию антецедента может выполнять любой член предложения (соответственно в примерах 24 — *så*, 25 — *at have skreget*, 26 — *på et gammeldags teater*, 28 — *en nægtelse*, 29 — *for et år siden*). Самостоятельные предложения со сказуемым в форме кондиционалиса по существу представляют собой структуры с элиминированными глубинными предложениями наличия или существования в ирреальном условном периоде. В качестве особого случая можно указать на предложение, где кондиционалис приобретает коннотацию некатегоричности, вежливости (пример 27), возникающую за счет как бы немотивированного употребления формы с данным парадигматическим значением (*ville ønske*).

Для датского языка характерно разграничение потенциала модальных значений и условий синтаксического употребления ирреалиса и кондиционалиса, хотя по своей грамматической семантике оба ряда форм, казалось бы, очень близки. Их сходство основывается на близости значений в цепочке «ирреальное допущение → ирреально обусловленное предпологаемое следствие», но при этом употребление форм ирреалиса мотивировано контекстом условного допущения, а кондиционалиса — ирреальностью этого допущения. Условное допущение присутствует в качестве элемента смысла не только в собственно условных придаточных, но является также компонентом значения остальных типов придаточных, в которых возможна форма ирреалиса: ирреальных уступительных (*højt* ↔ *selv om*), ирреального сравнения (*som om* ↔ *hvis*) и предложениях ирреального желания (так называемых усеченных придаточных, или псевдопридаточных), смысл которых сводится к положительной оценке условного допущения от противного (с элиминированием главной части, содержащей эту положительную оценку). Формы кондиционалиса, в свою очередь, имеют значение ирреально обусловленного предположения. В умозаключении «условное допущение от противного → → предпологаемое ирреально обусловленное следствие» значения условного допущения и следствия выражены синтаксической структурой предложения и союзами, а значения ирреальности и ирреально обусловленного предположения — глагольными формами наклонения. В предпологаемом следствии могут быть при этом акцентированы две стороны: значения предположения или значение ирреальности этого предположения. Отсюда возникает возможность выбора между формами двух наклонений в главной части предложения — между формой кондиционалиса или ирреалиса.

Дубитатив: (31) *Jeg har aldrig hørt, at han skulle være utilfreds eller ked af noget derinde i ministeriet* (H. Scherfig, Den forsvundne fuldmægtig) «Я никогда не слышала, что бы он был чем-то недоволен или неудовлетворен в министерстве»; (32) *Jeg prøvede hver gang på at registrere alt omkring mig for at se, om det ikke skulle kunne berolige mig* (K. Rifbjerg, Den Kroniske uskyld) «Всякий раз я пытался фиксировать

свое внимание на окружающих предметах, чтобы проверить, уж не сможет ли это меня успокоить»; (33) *Mon ikke vi skulle kunne finde et roligere sted at tale sammen? sagde Thorkild...* (E. Jensen, Dommen) «Неужели мы не можем найти более удобное место для разговора? — сказал Торкильд»; (34) *Det er hans brev. Og hans skrift. Hans pæne ordentlige skrift. Hvem skulle ellers have skrevet det?* (H. Scherfig, Den forsvundne fuldmægtig) «Это его письмо. И его почерк. Его красивый ровный почерк. Кто же иначе написал его?»; (35) *Skulle de ældre arveberettigede være døde, træder vedkommendes arvinger i disses sted* (K. Kretzschmer, Samfundslære) «Случись так, что старшие наследники умрут, их место займут наследники последних». Парадигматическое значение дубитатива отличается по своему типу от значений остальных косвенных наклонений и относится к числу значений субъективной модальности. Общим значением дубитатива является сомнение в истинности какого-либо утверждения, положения, высказывания, мысли. Контекст всегда предполагает «встречный» или ответный характер форм дубитатива: в сложноподчиненных предложениях с союзом *at* и с главной частью, содержащей отрицание при словах со значением мыслительной деятельности, внутреннего состояния, восприятия, получения информации (пример 31); в придаточных с союзом *om*, содержащих косвенный вопрос (пример 32); в вопросительных предложениях (риторический дубитатив), отражающих сильную степень удивления в связи с вопросом о ситуации, которая говорящему предельно ясна; в придаточных реального условия, выражающих малую степень вероятности того, что устанавливаемая связь между предметом и признаком возможна (пример 35). Действительность связи между предметом и признаком представляется во всех этих случаях заданной предшествующим контекстом, а для оценки ее достоверности как сомнительной используются формы дубитатива. Парадигматический ряд дубитатива имеет ту же структуру, что ирреалиса и кондиционалиса, ср. дубитатив II в предложении (34) и дубитатив I в других примерах.

Рассмотренный материал показывает, что структура категории наклонения в датском языке определяется: 1) противопоставленностью каждого из косвенных наклонений индикативу; 2) возможностью группировки косвенных наклонений в пучки на основе однородных признаков; 3) отнесенностью форм ирреалиса, кондиционалиса, императива и оптатива к собственно парадигме, а дубитатива и проспектива — к расширенной парадигме; 4) наличием переходных зон «дубитатив — ирреалис», «дубитатив — проспектив»; 5) неустойчивостью дубитатива и отчасти проспектива, вытекающей из некоторой пестроты синтаксических и семантических моделей предложений, из возможности их замены индикативом в ряде контекстов, из возможности столкновения частично омонимичных форм этих косвенных наклонений; 6) наличием у каждого из наклонений собственной структуры, соответствующей их категориальному значению и общей специфике парадигматических рядов датского глагола.

Схематически общую структуру категорий наклонения в датском языке можно представить следующим образом:



Каждое из косвенных наклонений противопоставлено индикативу. Однако это не означает, что индикатив является слабым членом оппозиции. Индикатив имеет определенное парадигматическое модальное значение: «действительная связь + простая достоверность». Поэтому мы не можем согласиться с И. Б. Хлебниковой, утверждающей, «что изъявительное наклонение выражает нулевое отношение к модальности, оно амодально...» и является немаркированным членом оппозиции, в котором модальность не обозначена [23, с. 12]. В отличие от индикатива, формы косвенных наклонений не противопоставляются по линии категории времени. Любое косвенное наклонение — это «невремя» и, тем самым, — неиндикатив. В этом смысле индикатив выступает в качестве базового элемента в общей структуре категории наклонения, в дихотомии «индикатив — неиндикатив». Вместе с тем каждое наклонение характеризуется определенным парадигматическим модальным значением, формулируемым в положительных терминах, т. е. отношения между элементами структуры являются контрарными, а не контрадикторными [ср. 48, с. 22; 14].

Объединение косвенных наклонений в пучки основывается на однородности ряда признаков: а) сходстве парадигматических модальных значений; б) сходстве структуры внутренних парадигматических рядов; в) сходстве отношения к другим элементам категориального класса форм. Ирреалис и кондиционалис характеризуются дополнительными чертами сходства: ирреалис может выступать в той же синтаксической позиции, что и кондиционалис (в главном и самостоятельном предложениях); модальные глаголы всегда употребляются в форме ирреалиса (кроме *kunne*); ирреалис II модальных глаголов образуется по модели кондиционалиса II (претерит модального глагола + инфинитив II). Однородность императива, опатива и проспектива связана с выражением в них модального значения гипотетичности, обусловленной внешним волеизъявлением, с вытекающим отсюда темпоральным значением недифференцированного настоящего/будущего и с отсутствием видового противопоставления по линии перфектности. Особое место в общей структуре категории наклонения занимает дубитатив, парадигматическое значение которого является значением субъективной модальности (сомнение). Однако по структуре парадигматического ряда дубитатив примыкает к пучку «ирреалис — кондиционалис». Дубитатив является наименее устойчивым наклонением, хотя наличие временного «сдвига», определенная степень грамматизации и единство парадигматического значения дают основание для его выделения в качестве самостоятельного наклонения. Противопоставленность дубитатива другим наклонениям — ирреалису, проспективу, а также индикативу — выступает в ряде случаев не вполне отчетливо. Нет резкого контраста, например, между ирреалисом модального глагола *skulle* («должен был бы», «было бы суждено») и дубитативом в некоторых контекстах, в том числе в вопросительных предложениях. Трудность отграничения дубитатива от претерита индикатива больше всего проявляется в придаточных дополнительных. По-видимому, сильнее всего сохраняется связь вспомогательного глагола в дубитативе с ЛСВ глагола *skulle* «суждено». Однако существенное значение в процессе грамматизации имеет временной «сдвиг». На первый взгляд кажется, что возможно также некоторое сближение проспектива с дубитативом — в придаточных предложениях, вводных глаголами (или опорными словами) со значениями «ожидать» и «бояться». Например: *Da jeg v a r b a n g e f o r, a t v r e d e n t i l s i d s t s k u l l e s a m l e s i g o m m i g, b e n y t t e d e j e g e t o j e b l i k... t i l s i m p e l t h e n a t s t i k k e a f* (F. Søeborg, Afregning) «Так как я боялся, что злость в конце концов обрушится на меня, я воспользовался моментом, чтобы попросту ускользнуть»; *J e g s t o d l æ n g e o g v e n t e d e p å a t h a n s k u l l e k o m t e u d i g e n, m e n... h a n k o m a l d r i g i g e n* (H. Branner, Angst) «Я долго стоял и ждал, что он снова выйдет, но... он ни разу больше не вышел». Свойственное проспективу значение противопоставленности двух носителей действия (главного и придаточного предложения) в какой-то мере можно соотнести со встречным характером предикации, выражаемой формами дубитатива (эксплицитное или имплицитное утверждение действительности связи

и сомнение в ее достоверности). Однако употребление формы презенса глагола *skal* (а не претерита, как в дубитативе) после презентной формы вводящего глагола и темпоральное значение следования однозначно свидетельствует об отнесенности конструкции данного типа к проспективу. Ср.: *Jeg er frygtelig bange for, at denne Thorwald skal le ad mine vers* (Т. Ditlevsen, *Det tidlige forår*) «Я ужасно боюсь, что этот Торвальд будет смеяться над моими стихами». Различия в структуре парадигматических рядов проспектива и дубитатива выступают в качестве одного из важных критериев их разграничения.

Периферийное положение форм дубитатива и проспектива в парадигме категории наклонения соответствует меньшей степени грамматизации всех сочетаний со вспомогательным глаголом *skulle* по сравнению с сочетаниями с *ville*: последние образуют, в частности, формы будущего и будущего в прошедшем, входящие в парадигму индикатива, в то время как модальное будущее со *skulle* может быть включено лишь в расширенную парадигму индикатива. Об определенной неустойчивости дубитатива и до некоторой степени проспектива свидетельствуют: некоторая разнородность синтаксических моделей предложений с формами дубитатива (придаточные дополнительные; условные; вопросительные разного типа); разнообразие семантических групп глаголов, требующих проспектив в придаточных дополнительных («хотеть» — «требовать» — «надеяться» — «ждать» — «бояться»); влияние омонимии; относительный характер нормы употребления этих форм; наличие переходных зон.

Особенность внутренней структуры ирреалиса, кондиционалиса и дубитатива с бинарной оппозицией неперфектной и перфектной форм связана с их модальными значениями. Следует подчеркнуть, что выражение темпоральных значений формами этих наклонений обусловлено контекстуальными факторами. Формы ирреалиса II, кондиционалиса II и дубитатива II могут выражать значения ретроспективности, или результата, отнесенные к плану настоящего/будущего. Ср.: — *Er du kommet, Christian! Cud hvor er det dejligt. Jeg ville have været så skuffet, hvis du ikke var kommet* (Е. Jensen, *Dommen*) «— Ты пришел, Кристиан! Боже, как чудесно. Я была бы так разочарована, если бы ты не пришел» (план настоящего); *Meget ville være anderledes, hvis hun havde været køn* (Т. Ditlevsen, *Barndommens gade*) «Многое было бы иначе, если бы она оказалась красивой» (при отнесенности обеих частей сложного периода к плану настоящего в главной части употреблена форма кондиционалиса I, а в придаточной — ирреалиса II). Аналогичное сочетание форм мы находим в предложении ирреального желания: *Bare der var en eller anden, der havde haft et fotografiapparat!* (К. Riffbjerg, *Den kroniske uskyld*) «Только бы нашелся кто-нибудь, у кого бы оказался фотоаппарат!» К плану настоящего относится форма ирреалиса II: *Jeg ville gerne have haft en søster* (К. Vjarnhof, *Bag hækken*) «Я бы очень хотел иметь сестру». С другой стороны, немаркированные формы ирреалиса I, кондиционалиса I и дубитатива I могут иметь различные темпоральные значения. Процессы, обозначаемые этими формами, не ограничены пределом ретроспекции или пределом пресеченности: *Jeg kunne nok forsøge en kone — selv om jeg ingen har* (V. Sørensen, *Romeo og Signe*) «Я мог бы найти жену (раньше, сейчас или в будущем. — Л. Л.), хотя сейчас ее у меня нет»; *Og de talte et ejendommeligt frimurersprog, som ikke ville kunne forstås af uindviede* (Н. Scherfig, *Det forsømte forår*) «И они говорили на странном языке масонов, который не могли бы понять непосвященные» (план повествования о прошлом); *Martin...gik også ind på, at han skulle rykke ud af huset end en times varsel, hvis doktoren pludselig skulle finde på selv at flytte derud* (F. Gerdes, *Dr. Rauber til frokost*) «Мартин согласился также с тем, что он покинет дом менее чем через час после предупреждения, если доктор вдруг сам решит переехать сюда» (план внутренней речи в плане повествования о прошлом). Бинарная оппозиция форм в рамках ирреалиса, кондиционалиса и дубитатива имеет видовой, а не временной характер.

Принцип выделения косвенных наклонений, основанный на учете раз-

личий парадигматических значений форм и общности внутренней структуры парадигматических рядов, позволяет раскрыть сложное взаимодействие категорий наклонения, времени и вида в датском языке, объяснить отсутствие изоморфизма в структуре различных наклонений, выявить динамичный характер синхронной структуры категории наклонения.

На материале других германских языков сходные закономерности построения категории наклонения отмечены для английского языка А. И. Смирницким [3, с. 341], а для немецкого — Т. В. Строевой [22, с. 37] и О. И. Москальской (О. И. Москальская разграничивает три ряда форм конъюнктива, хотя и не называет их разными наклонениями [28, с. 119—130]). Думается, однако, что в немецком языке, как и в английском и датском, имеется тенденция к последовательному различению парадигматических рядов ирреалиса (так называемые претерит и плюсквамперфект конъюнктива) и кондиционалиса как разных наклонений: ирреалиса для выражения «внутреннего отрицания», а кондиционалиса — для выражения ирреально обусловленного предположения.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. *Жирмунский В. М.* Об аналитических конструкциях. — В кн.: *Жирмунский В. М.* Общее и германское языкознание. Л., 1976.
2. *Жирмунский В. М.* О границах слова. — В кн.: *Жирмунский В. М.* Общее и германское языкознание. Л., 1976.
3. *Смирницкий А. И.* Морфология английского языка. М., 1959.
4. *Смирницкий А. И.* Аналитические формы. — ВЯ, 1956, № 2.
5. *Ярцева В. Н.* Предложение и словосочетание. — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.
6. *Ярцева В. Н.* К вопросу об инновациях в области синтаксиса. — В кн.: Вопросы германского языкознания: Материалы второй научной сессии по вопросам германского языкознания. М.—Л., 1961.
7. *Ярцева В. Н.* Об аналитических формах слова. — В кн.: Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.—Л., 1963.
8. *Гухман М. М.* Критерии выделения глагольных аналитических конструкций из других типов словосочетаний. — В кн.: Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.—Л., 1963.
9. *Гухман М. М.* Процессы парадигматизации и историческая типология словоизменительных систем германских языков. — В кн.: Историко-типологические исследования морфологического строя германских языков. М., 1972.
10. *Смирницкий А. И.* Лексическое и грамматическое в слове. — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.
11. *Гухман М. М.* Грамматическая категория и структура парадигм. — В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
12. *Серебренников Б. А.* К проблеме типов лексической и грамматической абстракции (О роли принципа избирательности в процессе создания отдельных слов, грамматических форм и выбора способов грамматического выражения). — В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.
13. *Солнцев В. М.* Язык как системно-структурное образование. М., 1974.
14. *Бондарко А. В.* О структуре грамматических категорий. — ВЯ, 1981, № 6.
15. *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1974.
16. *Ярцева В. Н.* Проблема парадигмы в языках аналитического строя. — В кн.: Вопросы германского языкознания: Материалы II научной сессии по вопросам германского языкознания. М.—Л., 1961.
17. *Гухман М. М.* Типология преобразования словоизменительной парадигматики. — В кн.: Историко-типологическая морфология германских языков. Фономорфология. Парадигматика. Категория имени. М., 1977.
18. *Булыгина Т. В.* Грамматические оппозиции. — В кн.: Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
19. *Адмони В. Г.* О подлинной точности при анализе грамматических явлений. — В кн.: Проблемы языкознания: Доклады и сообщения советских ученых на Международном конгрессе лингвистов. М., 1967.
20. *Солнцева Н. В., Солнцев В. М.* Анализ и аналитизм. — В кн.: Аналитические конструкции в языках различных типов. М.—Л., 1965.
21. *Стеблян-Каменский М. И.* Грамматика норвежского языка. М.—Л., 1957.
22. *Строева Т. В.* Модальность косвенной речи в немецком языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1951.
23. *Хлебникова И. Б.* Сослагательное наклонение в английском языке как общелингвистическая проблема. Калинин, 1971.
24. *Ермолаева Л. С.* Типология развития системы наклонений. — В кн.: Историко-типологическая морфология германских языков. Категория глагола. М., 1977.
25. *Ермолаева Л. С.* Типология развития системы наклонений в германских языках: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1978.

26. *Flämig W.* Zum Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart. Berlin, 1959.
27. *Шендельс Е. И.* Многозначность и синонимия в грамматике. М., 1970.
28. *Moskalskaja O. I.* Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. М., 1975, S. 122—132.
29. *Воролицова Г. Н.* Очерки по грамматике английского языка. М., 1960, с. 240—299.
30. *Wiwel H. G.* Synspunkter for dansk sproglære. København, 1901.
31. *Diderichsen P.* Elementær dansk grammatik. København, 1976.
32. *Diderichsen P.* Realitet som grammatisk kategori.— In: *Diderichsen P.* Helhed og struktur. Udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger. København, 1966.
33. *Diderichsen P.* Morpheme categories in modern Danish.— In: *Diderichsen P.* Helhed og struktur. Udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger. København, 1966.
34. *Hansen A.* Moderne dansk. Bd. 3. København, 1967.
35. *Rehling E.* Det danske sprog. København, 1951, s. 79—81.
36. *Oxenvad B.* Bedre dansk. København, 1962, s. 58—66.
37. *Nordentoft A. M.* Hovedtræk af dansk grammatik. Ordklasser. København, 1973, s. 47—69.
38. *Jensen E. O.* Dansk grammatik for gymnasiet. København, 1962, s. 57—67.
39. *Стеблин-Каменский М. И.* История скандинавских языков. М.—Л., 1953, с. 117—240.
40. *Бабушкина Е. В.* Грамматические средства выражения действия в будущем и их статус в системе датского глагола: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982.
41. *Локитанова Л. М.* Система форм категории наклонения в датском языке.— Вестник МГУ, 1982, сер. 9, № 1.
42. *Локитанова Л. М.* Страдательный залог и страдательная конструкция предложения в современном датском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1960.
43. *Локитанова Л. М.* Функции и значения глагола *fd* в датском языке.— В кн.: VII Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии: Тезисы докл. Ч. II. Л.—М., 1976.
44. *Ярцева В. Н.* Контрастивная грамматика. М., 1981, с. 47—57.
45. *Ярцева В. Н.* Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языков.— В кн.: Типология грамматических категорий. Мещаниновские чтения. М., 1975, с. 5.
46. *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1936, с. 105.
47. *Жирмунский В. М.* История немецкого языка, М., 1956, с. 260—261.
48. *Плоткин В. Я.* Грамматические системы в английском языке. Кишинев, 1975.

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

АЛПАТОВ В. М.

## К ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ АЙНСКОГО ЯЗЫКА

Современное языкознание характеризуется, с одной стороны, расширением описываемого материала и вовлечением в научный оборот все большего числа языков, с другой стороны, появлением различного рода теорий, стремящихся, в частности, более адекватно объяснить этот материал. Становится ясным, что европейская лингвистическая традиция во многих случаях в качестве общих, универсальных свойств языка рассматривала типологические особенности языков Европы. В частности, в области синтаксиса обычно абсолютизировались особенности так называемого номинативного (или аккузативного) языкового типа. «Некоторые концепты описательной грамматики номинативных языков (такие, как, например, залог, переходный // непереходный глагол, прямое // косвенное дополнение, именительный падеж) вплоть до последнего времени обнаруживают настораживающую тенденцию к превращению в едва ли не универсальные категории лингвистического описания» [1, с. 54]. Однако эти языки, распространенные и за пределами Европы, далеко не покрывают всего множества языков мира. Большой интерес вызывают поэтому те исследования, в которых производятся попытки выделения других языковых типов с их специфическими свойствами (работы Г. А. Климова, А. Е. Кибрика и др.). К числу этих типов относится и активный. В активных языках на первый план выходит не передача субъектно-объектных отношений, а выражение отношений, связанных с активностью-инактивностью процесса. Далее мы будем ориентироваться на описание активного строя, содержащееся в [1].

Обычно считается, что языки активного строя засвидетельствованы лишь в Америке. В языках других континентов, в частности, Азии, находят лишь отдельные признаки этого строя. На наш взгляд, определенный интерес представляет материал айнского языка, насколько нам известно, с точки зрения континентальной типологии еще не исследованного. Недостаточная изученность этого языка не дает пока возможности дать его исчерпывающую типологическую характеристику. Однако, на наш взгляд, в этом языке наряду с чертами профилирующего здесь номинативного строя выделяются многие признаки, считающиеся характерными чертами активного строя; типологическая принадлежность ряда явлений языка остается неясной. В этих условиях настоящая статья претендует не столько на решение этого вопроса, сколько на его постановку.

Бесписьменный айнский язык был распространен до недавнего времени в северной части Японии (о-в Хоккайдо и часть о-ва Хонсю), на юге Сахалина, Курильских о-вах и юге Камчатки. Родственные связи айнского языка не установлены (антропологически айны резко отличаются от окружающих их монголоидных народов и имеют сходство с австралоидами). В настоящее время язык вышел из употребления<sup>1</sup>.

Ведущую роль в исследовании айнского языка играют японские ученые<sup>2</sup>. Ими, в основном в 30—60-е годы XX в., был собран большой ма-

<sup>1</sup> В Японии осталось меньше десятка лиц старше 70 лет, которые помнят айнский язык, на котором говорили в молодости. На Сахалине группа сотрудников Института востоковедения АН СССР в 1978 г. не нашла носителей айнского языка; последний достоверно выявленный человек, владевший этим языком, умер за три года до этого.

<sup>2</sup> Обзор японских исследований в этой области до 60-х гг. см. [2].

териал по айнскому языку. Издание и описание этого материала продолжается до настоящего времени. Важный материал был собран и отечественными исследователями [3, 4]. Данные по айнскому языку, однако, неполны, часть диалектов осталась не записанной или представлена лишь лексическими материалами. Лучше всего изучены диалекты Южного Хоккайдо, в частности, диалект Сару, описанный в работах современной японской исследовательницы Тамура Судзую, а также райчишкинский диалект, существовавший на Сахалине, и наддиалектный вариант языка, использовавшийся в эпосе. Дальнейшее описание основано на материале южнохоккейских диалектов; особенности райчишкинского диалекта и эпического варианта, если они есть, оговариваются.

Грамматика айнского языка характеризуется четким противопоставлением двух знаменательных частей речи: имени и глагола. Они различаются как синтаксическими свойствами, так и морфологически, имея разные системы аффиксов (см. ниже). Другие классы знаменательных слов четко не выражены: обычно выделяют немногочисленные классы демонстративов, употребляемых только атрибутивно, и наречий, однако границы этих классов не очень ясны. Прилагательные же, выделявшиеся в более ранних грамматиках, в современных работах не выделяются как особая часть речи; отмечается, что европейским прилагательным соответствуют непереходные (стативные) глаголы [см. 5]. Эта черта напоминает собой положение в языках активного строя.

Все исследователи айнского языка отмечают деление глаголов на два класса, которые принято называть переходными и непереходными<sup>3</sup>. Эти классы разграничиваются как валентностью, так и морфологическими свойствами: они по-разному присоединяют личные префиксы.

Система личных префиксов глагола очень специфична. Для переходных глаголов различаются субъектные и объектные префиксы. Это различие свойственно номинативным и эргативным языкам. Однако в этих языках, имеющих личное спряжение, обычно либо субъектные, либо объектные показатели переходного глагола совпадают с показателями непереходных глаголов. В айнском же языке непереходные глаголы имеют третью группу префиксов, полностью не совпадающую ни с одной из первых двух.

Три серии префиксов частично совпадают. В 3-м лице показатель всегда нулевой, что особенно характерно для активных языков<sup>4</sup>. Везде одинаковы показатели 2-го лица ед. числа 'e- и 2-го лица мн. числа 'esi-. Для 1-го лица ед. числа есть два показателя: *ki-* в непереходных глаголах и субъектный в переходных (совпадение, обычное для номинативных языков), 'en- объектный в переходных глаголах. Все серии различны лишь в 1-м лице мн. числа, где разграничены инклюзив и эксклюзив (фреквенталия активных языков)<sup>5</sup>. Показатели инклюзива: субъектный в переходных глаголах 'a-, объектный в переходных глаголах 'i-, в непереходных глаголах -'an. Соответствующие показатели эксклюзива: *ci-*, 'un-, -'as. Показатели -'an и -'as заметно отличаются от всех остальных: они постпозитивны и агглютинативны<sup>6</sup>, тогда как все остальные показатели являются фузионно присоединяемыми префиксами<sup>7</sup>. Все показатели инклю-

<sup>3</sup> В качестве третьего класса выделяют безличные глаголы типа *te'an* «холодно». Эти глаголы немногочисленны. Они обозначают явления неживой природы. Такие глаголы не присоединяют личные префиксы.

<sup>4</sup> В райчишкинском диалекте имеется особый показатель 3-го лица мн. числа *-hci*, единый во всех сериях [см. 6, с. 16]. Однако и там возможно нулевое выражение этого значения.

<sup>5</sup> Это разграничение не общеайнское: его нет в райчишкинском [см. 6, с. 15—16], в эпическом айнском [см. 7, с. 66—67]. Показатели, соответствующие инклюзивным, здесь употребляются во всех случаях.

<sup>6</sup> Обычно они считаются суффиксами. Вопрос о разграничении агглютинативных аффиксов и служебных слов в айнском языке сложен и требует особого рассмотрения.

<sup>7</sup> Мы не будем останавливаться на сложных морфологических правилах их присоединения. Они даны в [8].

жива имеют и другие функции: инклюзивные формы также являются показателями вежливого 2-го лица, показателями любого 1-го лица при передаче прямой речи и формами неопределенного лица (см. ниже). В переходных глаголах субъектный показатель находится впереди объектного, существуют сложные правила соединения двух префиксов, они в ряде случаев сливаются в один неразложимый префикс: например, значения «я тебя» передаются префиксом 'esi- (правила слияния префиксов различны в разных диалектах). Подробно описание личных показателей айнского глагола см. в работе [8]<sup>8</sup>.

Семантически переходные глаголы (по крайней мере, непроизводные) обозначают действия людей или животных. Примеры: *koyki*<sup>9</sup> «ловить», 'e «есть», *kasuy* «помогать», 'otar «ласкать», а также *ni* «слышать», *nikar* «видеть», *rami* «думать» (аффективные глаголы не обнаруживают каких-либо заметных особенностей). Непереходные глаголы обозначают состояния, признаки, качества и некоторые действия людей, животных и неодушевленных предметов. Примеры: *mina* «смеяться», *cis* «плакать», 'iruska «сердиться», *rewre* «быть молодым», *poro* «быть большим», 'arpa, *paye* «идти».

Главное различие между глаголами данных двух классов связано с их валентностью: непереходные глаголы одновалентны, переходные не менее чем двухвалентны (двухвалентные и трехвалентные глаголы присоединяют личные префиксы одинаково, но могут различаться своей структурой, см. ниже). Данные Тамура Судзюко и других исследователей показывают, что корреляция спряжения и валентности глаголов является очень жесткой<sup>10</sup>. Следовательно, обычная характеристика данных глаголов как переходных и непереходных вполне верна (хотя объектный член предложения отличается от прямого дополнения в индоевропейских языках, см. ниже). Таким образом, в айнском языке, зафиксированном в текстах и грамматиках XX в., главным, вероятно, является выражение субъектно-объектных отношений. Следовательно, это язык в основном номинативного строя. Но различия глаголов двух классов имеют и определенную корреляцию с основным для активного строя различием активных и стивных глаголов и генетически, возможно, восходят к нему.

Однако глагольное управление имеет и некоторые черты, свойственные скорее языкам активного строя. Как и в активных языках, здесь отсутствует категория залога<sup>11</sup>; в то же время имеются разнообразные способы разграничения действий (состояний), выходящих за пределы активного актанта, и действий (состояний), замкнутых в актанте. Эти способы рассматриваются как характерное свойство активных языков. В то же время в айнском языке они тесно связаны с валентностью глагола. Подробное описание данных глагольных категорий представлено в [9].

Почти любой глагол айнского языка может присоединять показатели, меняющие валентность и одновременно семантическую характеристику глагола в указанном выше плане. Присоединение многих показателей достаточно регулярно, однако вопрос о том, следует их считать словоизменятельными или словообразовательными, требует дополнительных исследований. Префиксы 'e-, ko- указывают на то, что данное действие или состояние распространяется еще на одного участника; присоединяясь к основам непереходных глаголов, они делают их синтаксически и морфологически переходными; присоединяясь к основам переходных глаголов, они не из-

<sup>8</sup> В эпическом айнском показателях, соответствующие южнохоккайдским инклюзивным, обозначают любое 1-е лицо.

<sup>9</sup> Айнские глаголы даются в форме основы.

<sup>10</sup> Конечно, надо при этом учитывать широкие возможности эллипсиса члена предложения, обозначенного личным местоимением.

<sup>11</sup> В более старых работах говорилось о пассиве в айнском языке [см. 7, с. 68]. Но в позднейших работах такие конструкции рассматриваются как неопределенно-личные [см. 10, с. 34—35]. В этих случаях глагол имеет показатель 'a- или 'an в зависимости от переходности, субъектный член предложения не обозначен; подразумевается неопределенный или неизвестный субъект: *kumina'an* «надо мной смеются».

меняют морфологических свойств глагола, но также увеличивают его валентность: *wep* «быть плохим» (непереходный глагол), *kowep* «быть плохим (для кого-л.)», не нравиться (кому-л.)» (переходный глагол), *'ikka* «быть вором, заниматься воровством» (непереходный глагол), *'e'ikka* «украсть что-л.» (переходный глагол), *ko'e'ikka* «украсть что-л. у кого-л.» (переходный трехвалентный глагол). Теми же свойствами обладает и суф. *-re*, но он дополнительно имеет каузативное значение. Преф. *'i-*, наоборот, понижает валентность глагола, превращая переходные глаголы в синтаксически и морфологически непереходные; он указывает на замыкание данного действия в себе: *niye* «резать что-л.» (переходный глагол), *'iniye* «заниматься резанием» (непереходный глагол). Преф. *ya-*, также понижающий валентность, имеет значение возвратности. Суф. *-yar* имеет значение каузации неопределенного множества лиц, которое не обозначается; в отличие от других аффиксов он не меняет валентности глагола, ср. *kuuere* «позволяю говорить» (переходный глагол) и *kuueyar* «позволяю говорить кому-л.» (непереходный глагол).

Черты активного строя проявляются и в семантике актантных членов предложения. Второй актантный член при переходных глаголах может обозначать самых разнообразных участников ситуации (ср. примеры выше), по своей семантике он шире, чем обычно прямое дополнение в номинативных языках; он имеет явное сходство с так называемым ближайшим дополнением активных языков.

Черты активного строя в айнском языке заметны и в системе имени. Отсутствует категория падежа, субъектно-объектные отношения морфологически не выражаются. Актантные члены предложения различаются только порядком: первый актантный член (подлежащее) является первым по порядку, а второй актантный член (ближайшее дополнение) — обычно последним (сказуемое всегда находится на конце предложения). В то же время локативные и инструментальные значения выражаются специальными послелогами. Вся эта картина напоминает соответствующие признаки активных языков. Как и в активных языках, мало развита категория числа. Имеется постпозитивный показатель (видимо, служебное слово) множественности *'utar*, присоединяемый только к одушевленным именам. Однако и он употребляется довольно редко<sup>12</sup>. Основной морфологической категорией имени является категория притяжательности, что тоже свойственно активным языкам<sup>13</sup>.

Коротко отметим и еще некоторые особенности айнского языка, соответствующие тем признакам, которые отмечаются как распространенные в активных языках. Некоторые глаголы в своем лексическом значении выражают единичность или множественность того или иного актанта, причем для непереходных глаголов — это будет единичность или множественность первого актанта, а для переходных — единичность или множественность второго (объектного) актанта: *'an* «есть», *'oka* «суть», *'arpa* «идет», *paue* «идут», *'ek* «приходит», *'arki* «приходят», *'as* «стоит», *roski* «стоят», *raike* «убивает (одного)», *ronni* «убивает (многих)». Подобно активным языкам, в айнском отсутствует категория времени, в то же время выражаются разнообразные видовые значения, в основном с помощью вспомогательных глаголов, часть которых также различает число актантов; см. описание этих значений [11, с. 347—352]. Отсутствует инфинитив. При распространенности способов образования отглагольных имен они обозначают только участников соответствующей ситуации, но не сами ситуации [см. 7, с. 48—51]; имена действия в чистом виде айнскому языку не свойственны.

<sup>12</sup> В райчишкинском диалекте имеется также суф. множественности лиц и животных *-hcin*: *kusetahacin* «мой собаки», присоединяемый лишь к притяжательным формам [см. 6, с. 27]; ср. глагольное *-hci*.

<sup>13</sup> Имя имеет форму основы и суффиксально образуемую притяжательную форму. К имени в притяжательной форме присоединяются префиксы лица и числа обладателя, совпадающие с субъектными префиксами переходных глаголов: *seta* «собака», *setaha* «его собака», *kusetaha* «моя собака», *tek* «рука», *tekehe* «его рука», *kutekehe* «моя рука».

Довольно распространены в айнском языке и инкорпоративные комплексы, также характерные для активных языков: *'api* «огонь», *'ari* «разжигать», *'api 'ari* «разжигать огонь», *he* «голова», *'usi* «прикреплять что-л. к чему-л.», *he'usi* «надевать что-л. на голову», *kewe* «тело», *ri* «быть высоким», *keweri* «быть высокого роста». Глагол может сливаться с именем, на которое распространяется его валентность, в этом случае валентность понижается (первый и второй примеры), и он может, в частности, превратиться в непереходный (первый пример); но возможно и слияние глагола с именем, на которое его валентность не направлена, в этом случае валентность глагола не меняется (третий пример).

Однако некоторые характеристики, отмечаемых для активных языков, отсутствуют в айнском. Нет, по крайней мере, явных признаков столь частого для активных языков противопоставления отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности, ср. примеры выше (примеч. 13). Для активных языков отмечаются отсутствие связки и глаголов со значением «иметь». Между тем в айнском есть связка *ne*, которая морфологически относится к переходным глаголам: *'a'an 'okkauro 'eroho ne* «Этот мужчина — твой сын»; есть и глагол *kor* «иметь». Последний глагол образует широко распространенную в айнском языке притяжательную конструкцию, где обладаемое обозначено именем в форме основы, а перед ним стоит *kor* с тем или иным личным префиксом: в значении «моя собака» помимо *kusetaha* употреблялось *kukor seta* (букв. я-имею собака). По данным японских исследователей, вторая форма — инновация, постепенно вытеснявшая первую.

Таким образом, айнский язык, видимо, характеризуется сочетанием черт, характерных для номинативного и активного строя; можно высказать гипотезу о том, что он развивался от активного строя к номинативному. Эта гипотеза могла бы подтвердиться, если бы мы имели данные об историческом развитии этого языка. К сожалению, мы пока не имеем данных о том, что в айнском языке из явлений, перечисленных выше, можно относить к архаизмам, а что к инновациям (исключая два класса притяжательных форм, см. выше). Можно предполагать, что эпический айнский отражает раннее языковое состояние, однако по большинству признаков он сходен с южнооккайдскими диалектами.

Надо учитывать, что основные данные по айнскому языку относятся к последним десятилетиям его существования, когда он уже длительное время находился под влиянием японского языка, номинативного по своему строю. Впрочем, трудно судить о степени этого влияния. Сахалинские диалекты, позже подвергшиеся японскому влиянию, имеют в основном те же черты, а по двум параметрам: отсутствию инклюзива-эксклюзива и большему развитию категории числа — отстают даже дальше от активного эталона.

Можно предположить, что в айнском языке существовало противопоставление активных и стативных глаголов, главное для языков активного строя. Однако в XX в. оно преобразовалось в характерное для номинативных языков противопоставление переходных и непереходных глаголов. Тем самым айнский язык в основе своей, видимо, номинативен. В то же время количество явлений самого различного порядка, характерных для активных языков (хотя в несистемном наборе встречающихся и за их пределами), настолько велико, что их сосуществование в айнском языке вряд ли можно считать случайным. Наряду с тем некоторые особенности айнского языка не характерны ни для номинативных, ни для активных (а также для эргативных) языков. Прежде всего обращает на себя внимание наличие не двух, как обычно, а трех серий личных показателей: двух серий для переходных глаголов и особой серии для непереходных глаголов. Эта особенность, возможно, тоже свидетельствует о переходном характере строя айнского языка.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Климов Г. А.* Типология языков активного строя. М., 1977.
2. *Tamira S.* Studies of the Ainu language.— In: Current trends in linguistics. Ed. by Sebeok Th. A. V. 2. The Hague — London, 1967.
3. *Добролюбовский М. М.* Айнско-русский словарь. Казань, 1875.
4. *Невский Н. А.* Айнский фольклор. М., 1972.
5. *Хаттори Сиро:* Айнуго-но «ацу», «атака», «цумэта», «саму»-надо-о аравасу «кэйё:си» («Прилагательные» айнского языка со значениями «горячий», «теплый», «прохладный», «холодный» и т. д.).— Киндайти-хакасэ-бэйдзю-кинэн-ронсю: (Сборник к 88-летию профессора Киндайти). Токио, 1971, с. 820.
6. *Murasaki K.* Sakhalin Ainu (Asian and African grammatical manual, No. 11z).— Asia Africa gengo bunka kenkyu:zyo. Tokyo gaikokugo daigaku, 1978.
7. *Киндайти Кё:сукэ, Тири Масихо.* Айнугохо:-гайсэцу (Очерк грамматики айнского языка). Токио, 1936.
8. *Tamira S.* Personal affixes in the Saru dialect of Ainu.— In: Studies in general and oriental linguistics. Ed. by Jakobson R. and Kawamoto S. Tokyo, 1970.
9. *Фукуда (Тамура) Судзюко.* Айнуго-но до:си-но ко:дэо: (Структура глагола айнского языка).— Гэнго-кэнкю:, 1956, № 30.
10. *Тамура Судзюко.* Айнуго-сару-хо:гэн-но нинсё-но сю:руй (Классы лиц в диалекте Сару айнского языка).— Гэнго-кэнкю:, 1972, № 61.
11. *Фукуда (Тамура) Судзюко.* Айнуго-сару-хо: гэн-но дзёдо:си (Частицы диалекта Сару айнского языка).— Миндзокугаку-кэнкю:, 1960, т. 24, № 4.

КЯМИЛЕВ С. Х., МЕЛЬНИКОВ Г. П.

**ПРОБЛЕМА МИНИМАЛЬНЫХ СМЫСЛОРАЗЛИЧИТЕЛЬНЫХ И ЗНАЧАЩИХ ЕДИНИЦ В ЯЗЫКАХ СЕМИТСКОГО СТРОЯ**

Проблема оснований выделения минимальных языковых единиц не может быть решена однозначно, если учесть, что принципиально различными могут оказаться как сами цели их выявления, так и методологические принципы соответствующего операционного анализа. Вместе с тем трудно возразить и против того, что лишь весьма ограниченный ряд языковых элементов способен «претендовать» на положение минимальных, т. е. таких, которые получают в результате сегментации речевого потока и последовательности которых образуют функциональные языковые единицы более высоких ярусов иерархии. Долгое время на статус этих единиц претендовали, как известно, такие не имевшие еще четкого определения сегменты, как «слово» и «отдельный звук языка». После теоретических уточнений, внесенных в лингвистику бодуэновской школой, появились и получили широкое признание понятия «минимальной значащей единицы» — морфемы, «минимальной смыслоразличительной (морфеморазличительной) единицы» — фонемы, а слово стало трактоваться как «минимальная полнозначная единица». Однако и до настоящего времени, если встает вопрос об универсальности всех этих единиц, мнения лингвистов в отношении их элементарности продолжают нередко расходиться. Так, для ряда языков ставится под сомнение продуктивность противопоставления морфемы и слова [1], а минимальной артикуляционно-акустической единицей признается не фонема, а слогафонема [2]. Хотя дискуссии на эту тему мало затрагивают исследователей флективных индоевропейских языков, однако для тех, кто стоит перед задачей теоретического осмысления языков семитского строя и создания на этой основе надежной методологической базы их описания, решение подобных споров имеет принципиальное значение.

Уточним, что у семитологов, как и у индоевропеистов, нет оснований сомневаться в том, что в исследуемых ими языках существует минимальная полнозначная единица — слово. Но если учесть, что в отличие от индоевропейских языков, в которых нет по существу разницы между корнем и минимальной, или первичной, основой, получаемой в результате линейного членения слова, в семитских языках такая основа, как правило, морфологически разложима еще на собственно корень, состоящий из согласных (в подавляющем большинстве — трех<sup>1</sup>), и определенный набор гласных, перемежающих корневые согласные [*kataba*/k<sup>a</sup>t<sup>a</sup>b | a/ «он (на) писал», *kātabū*/k<sup>ā</sup>t<sup>ū</sup>b | ā/<sup>2</sup> «они переписывались»], то этот факт уже не может не вызывать вопроса о своеобразии логического статуса согласных и гласных в пределах всей семитской словоформы, с одной стороны, и в границах ее основы — с другой, и, следовательно, о том, фонемы или слогафонемы являются минимальными единицами построения звуковых обо-

<sup>1</sup> Наличие в семитских языках относительно небольшого количества слов (преимущественно — имен), имеющих в своем составе менее трех корневых согласных и не возводимых к однокорневым с ними глаголам, не перечеркивает отмеченного правила, поскольку не принадлежит к определяющим чертам типологии семитских языков [3].

<sup>2</sup> В косых скобках представлена схема членения слова: вертикальная черта обозначает границу основы, получаемую в результате линейного членения, а группа приподнятых над строкой букв — деривационный комплекс гласных, модифицирующий исходное содержательное значение корня.

лочек значащих единиц в семитских языках. Решение подобных проблем семитологии представляет, очевидно, интерес и для общего языкознания.

После работ Н. В. Юшманова и М. Коэна [4—6] семитский корень трактуется преимущественно как носитель основного значения — некоторого первоначального представления, самой общей идеи, некоторого элементарного понятия. Наиболее последовательное обоснование данный взгляд на семитский корень (взгляд, по существу своему, кстати, очень близкий к тому, который доминировал среди арабских и еврейских грамматистов средневековья) получил в работе В. П. Старина «Структура семитского слова», опубликованной в 1963 г. [7]. Вместе с тем в «Курсе арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении» Б. М. Гранде, который вышел в том же году, утверждалось, что «корень является лишь скелетом для морфологических построений и почти не дает материала для семантического анализа» [8, с. 13]. Таким образом, Б. М. Гранде, вольно или невольно продолжал придерживаться преодоленной уже наукой точки зрения К. Броккельмана, для которого семитский корень был абстракцией, не имеющей в реальном мире никаких соответствий [9].

Знаменательно, что во «Введении в сравнительное изучение семитских языков», опубликованном девятью годами позже «Курса...», Б. М. Гранде, не отказавшись от такой интерпретации семитского корня, внес изменения в трактовку своеобразия минимальных единиц на фонологическом уровне, развив выдвинутую им еще в 1965 г. идею «слогофонемы» [10] как якобы специфической особенности семитских языков, заключающейся в том, что «языковой коллектив в качестве неразложимых комплексов, в качестве как бы последних „кирпичиков“ состава слова воспринимает не отдельные согласные и гласные фонемы, но тесное сочетание согласного звука с последующим гласным» [10, с. 751; 11, с. 70]. В подтверждение своих рассуждений Б. М. Гранде ссылаясь на средневековых еврейских и арабских грамматистов, которые, по его мнению, «в сущности оперировали аналогичными же понятиями» [11, с. 72]. Решающая ссылка делалась, в частности, на Профиата Дурана Галеви, который считал необходимым рассмотреть сочетание «согласный + гласный» как самостоятельную единицу и насчитал в иврите 145 таких единиц.

Отметим сразу, что позицию Б. М. Гранде, занятую им в «Курсе...» и позже во «Введении...», вряд ли можно расценить как последовательную и убедительную. Например, на с. 12 «Курса...» отмечается, что «обычно слова, группирующиеся вокруг одного корня, семантически связаны между собой». На с. 49 говорится о «родственных корнях... с близкими значениями» и подчеркивается следующее: «Еще старые арабские грамматисты обратили внимание на то, что часто группа трехбуквенных (трехсогласных. — К. С., М. Г.) корней с близким значением имеет в своем составе по два общих согласных звука, с которыми и связано общее значение всей группы, третий же коренной придает данному корню частное значение». Во «Введении» корень уже прямо признается как та часть слова, которая является носителем вещественного значения, причем для его выделения «необходимо устранить не только аффиксы, но и гласные» [11, с. 104].

В «Курсе...» вопрос о слогофонах не затрагивался вообще. Что же касается ссылок во «Введении» на средневековых грамматистов, в частности — П. Галеви, то тут необходимо обратить внимание на следующее. Полагая, что этот ученый конца XIV — начала XV вв. рассматривал комбинации «согласный + гласный» в сущности так, как предлагается понимать слогофону, Б. М. Гранде не обратил внимания на то, что число 145 получено как сумма фонетических сочетаний согласных с гласными: с одной стороны, учитываются только качественно различные гласные, т. е. всего 5 гласных безотносительно к их количественным характеристикам, столь существенным фонематически, а с другой — наряду с сочетаниями основных, или «сильных», комбинаторных вариантов 22 согласных с этими 5 гласными принимаются в расчет еще и «слабые» варианты 7 согласных — *b, g, d, k, p, t, r* — с той же неизменной пятеркой гласных [11, с. 72]. Если бы П. Галеви мыслил сочетания «согласный +

+ гласный» так, как полагал Б. М. Гранде, он должен был бы, очевидно, считать не по своей формуле  $22C \times 5V + 7C' \times 5V = 145$  (где  $C$  — «сильный» фонетический вариант согласного,  $C'$  — его «слабый» фонетический вариант, и  $V$  — один из 5 качественно разных гласных), а по формуле  $22C \times 5V + 22C \times 5\bar{V} + 22C = 242$  ( $\bar{V}$  — долгий гласный,  $22C$  — согласные с «нулем гласного», которые, по Б. М. Гранде, также включаются в число комбинаций «согласный + гласный») [11, с. 70]. Но он этого не сделал, поскольку поставил перед собой вполне понятную задачу — определить для иврита возможное число качественно разных артикуляций «человеческих звуков» (*xaqqōlōt xā'ēnōšim*<sup>3</sup>), т. е. качественно разных фонетических сочетаний согласных с гласными. И задача эта не связывалась с вопросом о минимальной границе фонеморфологического членения слова, который по существу поставил Б. М. Гранде, когда занялся поиском «последних кирпичиков» его состава. Знаменательно, что подобный поиск не мог не привести такого серьезного и глубокого исследователя, каким был Б. М. Гранде, к выводам, мало совместимым с формулой «тесное сочетание согласного звука с последующим гласным», предложенной им в качестве модели слогафонемы семитских языков: «согласные звуки, которые в основном остаются стержневой составной частью слогафонемы, во многих позициях в слове (разрядка наша. — *К. С., М. Г.*) приближаются к тому состоянию, которое можно считать простой звукофонемой. Это имеет место, когда согласный звук закрывает слог, т. е. когда за ним не следует гласный звук. Можно, конечно, исходя из общей характеристики слогафонем в семитских языках, считать эти случаи вариантами с „нулевым гласным“, однако характер фонетической связи между звуками закрытого слога и частота встречаемости этого явления как внутри слова, так и в конце его заставляют предпочесть другой взгляд, а именно, что мы имеем дело со сдвигом в сторону выделения простой согласной звукофонемы» [11, с. 71—72].

Теория слогафонемы применительно к семитским языкам уязвима не только в силу отмечаемых в ней самим Б. М. Гранде «исключений». Еще более серьезным фактором следует признать принципиальную несовместимость линейного членения слова, применяемого в этой теории по существу в качестве единственного и универсального приема, с ее важнейшим положением о том, что «комбинация согласного звука с последующим гласным воспринимается как неразрываемый комплекс, причем согласный звук такого комплекса является его фундаментальной составной частью, а гласные звуки придают этому комплексу различные вариации» [11, с. 70]. Ведь одним из самых очевидных результатов членения семитского слова может оказаться как раз отделение от его основы морфологически самостоятельных гласных, выступающих в функции реляционных аффиксов, и в таком случае «слогафонемное» членение слова вступит в явное противоречие с его морфологическим строением. Ср. соответственно следующие примеры из арабского языка: *ka-ta-ba* — *ka-ta-b | a* «он (на)писал» и *ka-ta-bū* — *ka-ta-b | ū* «они (на)писали» (дефис обозначает «слогафонемные» границы, а вертикальная черта — границу основы слова).

Больше того, на материале арабского языка нетрудно также показать, что линейное членение семитского слова в любом случае должно иметь своей конечной логической границей не «неразрываемый комплекс» — «согласный + гласный», но непременно отдельно взятые согласные и гласные фонемы. Возьмем, в частности, пары словоформ, которые при любой трактовке фонологического статуса семитских согласных и гласных признаются за члены одной формальной парадигмы варьирования некоторого инвариантного исходного содержания словоформы: *kabura* «быть большим» — *kabara* «быть старше»; *karuḥa* «быть отвратительным, ненавистным» — *kariḥa* «не желать; ненавидеть»; *kataba* «писать» — *kātaba* «переписываться». Если допустить, что «последними кирпичиками» состава

<sup>3</sup> Транскрипция еврейских и арабских слов дается по системе, предложенной в кн. «Семитские языки» [12].

семитского слова являются комплексы «согласный + гласный», то логически следует признать, что в приведенных парах слова отличаются друг от друга соответственно комплексами *bu — ba, ru — ri, ka — kā* и именно им можно приписать функцию выразителей модифицирующего содержания по отношению к инвариантному содержанию в каждой из рассмотренных словоформ. Но тогда придется признать, что это инвариантное содержание представлено совпадающей частью сравниваемых словоформ: то комбинацией из двух последних «слогофонем» трехсложной словоформы (например, *-ta-ba* с общей идеей писания для пары *kataba* и *kātaba*, ибо первые «слогофонемы» у них различны и им, следуя логике слогофонемной теории, необходимо приписать функцию грамматических модификаторов сопоставляемых словоформ), а то из двух крайних слогофонем — *ka-...-ra* с общей идеей старшинства или *ka-...-ha* с общей идеей отворачивания, неприязни — и тогда считать «слогофонемы» *-bu-, -ba-* или *-ru-, -ri-* грамматическими модификаторами в парах соответствующих словоформ — *ka-bu-ra — ka-ba-ra* и *ka-ru-ha — ka-ri-ha*. А если подобным же образом сопоставить словоформы одной типичной семитской словарной статьи, то, во-первых, в разных словоформах, при очевидном наличии в них содержательного инварианта, совпадающими придется признать различные слогофонемы и, во-вторых, у многих из таких словоформ вообще не найдется ни одной одинаковой слогофонемы, и члены безусловной парадигмы, с ее общепризнанной поразительной регулярностью и даже «алгебраичностью», придется считать конгломератом супплетивных знаков. Например, чисто супплетивной выглядела бы в таком случае связь между *qatala* «он убил» и *qutilū* «они были убиты».

Подобного рода выводов, плохо согласующихся с реальностями семитских языков, можно, однако, избежать, если отказаться от теории слогофонемной структуры семитской словоформы и признать, что носителем исходного инвариантного лексического значения в членах одной парадигмы является корень, представленный согласными, а модифицирующее значение выражено аффиксально с помощью определенного набора и определенной последовательности гласных фонем, перемежающих корневые согласные.

Дополнительным аргументом в пользу именно такого решения является содержательное сопоставление семитских словоформ, тождественных по составу и по позициям гласных, «вставляемых» в корни с различным консонантным составом: одинаково огласованные корни образуют основы с совпадающими лексико-грамматическими значениями. Не случайно в арабской грамматической традиции корневые согласные обозначаются «алгебраически» — через три буквенных символа *f, ε, l*, передающих соответственно первый, второй и третий по счету корневой<sup>4</sup>, в то время как гласный состав слова указывается вполне определенно<sup>5</sup>. Так, например, при сравнении *kabura, kabara, kabira* будут противопоставляться не изолированные *-bu-, -ba-, -bi-* и тем более не *-u-, -a-, -i-*, но непременно полные формулы этих слов — *faula, faala, faila*. Прямым подтверждением этому может служить также свидетельство Г. М. Габучана о том, что «кроме изменения корневой основы, аффиксация, в том числе и неразрывающие прерывные аффиксы... рассматриваются в арабской грамматической теории как часть системы словообразования в языке...» [14, с. 124].

Теперь обратим еще раз внимание на то, что за консонантной последовательностью закреплено прежде всего лексическое корневое значение

<sup>4</sup> Показательно, что представление о доминировании трехслогового корня настолько прочно вошло в арабскую грамматическую традицию, что для обозначения четвертого корневого в ней не было даже выработано специального буквенного символа, и в случае необходимости этот корневой обозначается так же, как и третий, т. е. через букву *l* [13].

<sup>5</sup> В различных европейских школах арабистики, в том числе и в отечественной, используется аналогичный принцип с той только разницей, что вместо комбинации *f-ε-l* часто употребляется более легкая для произношения комбинация *q-t-l* или еще более наглядные схемы —  $C_1-C_2-C_3$  и даже просто 1-2-3 или I-II-III, перемежаемые соответствующими определенными наборами гласных.

(кстати, мало чем отличающееся от корневого значения флективных и «классических» агглютинативных языков, например, урало-алтайских), а за последовательностью гласных, образующих «прерывный аффикс» — служебное, грамматическое, значение. Этот факт свидетельствует о явной функциональной неравноценности содержания, выражаемого согласными и гласными, поскольку информационная нагруженность лексических оппозиций безусловно выше информационной нагруженности оппозиций грамматических. Иными словами, можно говорить о наличии иерархических отношений между семитским консонантизмом и вокализмом с доминирующим функциональным положением состава семитских согласных как целого над составом гласных. Эта доминация находит свое выражение и в относительной бедности семитского вокализма, и в синтагматике семитской словоформы: если гласный в своей наиболее «сильной» форме, т. е. в форме, которую он имеет в максимально независимой от окружения позиции, плохо согласуется с соседним согласным, то «уступить» должен гласный, т. е. он должен быть произнесен в той из своих «слабых» модификаций, которая в артикуляционной речевой цепи обеспечивает максимум инвариантности артикуляции согласного<sup>6</sup>. Так, функциональное доминирование согласных над гласными в составе словоформ, в их парадигматике естественным образом проецируется на их доминирование и в последовательности, в синтагматике, в результате чего с чисто артикуляционно-акустической точки зрения семитская речь представляется как последовательный линейный поток тесно спаянных консонантно-вокалических пар. Поэтому, возражая против фонологической трактовки таких пар как слогофонем, следует признать их объективное существование как специфических фонетических, т. е. артикуляционно-акустических, единиц языков семитского строя. Замечательным отражением данной особенности явилась, в частности, выработка в традиционной арабской грамматике понятия «харф» для передачи по существу как раз той минимальной фонетической единицы, которую можно реально выделить при линейном членении слова в потоке речи<sup>7</sup>. Заметим попутно, что аналогичные отношения между согласными и гласными наблюдаются не только в семитских языках. Например, в русском языке артикуляция гласного обычно в большей мере зависит от артикуляции предыдущего согласного, чем предыдущего согласного от последующего гласного (особенно если иметь в виду противопоставление согласных по твердости—мягкости, ср. *мы* и *ми*). Таким образом, о «фонетической слогофонеме» можно было бы говорить и при рассмотрении русского языка, что, однако, не дало бы никаких оснований видеть в ней минимальную единицу именно фонологического яруса<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Отсюда, например, при относительной бедности состава арабских гласных фонем, что, кстати, также закономерно вытекает из функциональной неравноценности семитских согласных и гласных [15], живая арабская речь отличается исключительным качеством разнообразием гласных, определяемым в первую очередь и преимущественно консонантным окружением. Наглядной иллюстрацией могут служить различные говоры марокканского диалекта, в котором общая для арабского языка тенденция к ограничению состава гласных фонем проявилась особенно сильно [16]. Например, для танжерского говора В. Марсэ насчитал 17 качественно разных звукотипов гласных [17], а для рабатского Л. Брюно — 13 [18].

<sup>7</sup> Г. М. Габучан, детально проанализировавший различные аспекты понятия «харф», пришел к заключению о возможности интерпретировать его и «как на лексическом уровне неделимый сегмент в строении слова», связав это с выводом о «несостоятельности рассмотрения гласного элемента как особого вида аффиксации» [14, с. 124—125]. Подобная расширительная трактовка «харфа» сближает его по существу со «слоговой фонемой» Б. М. Гранде, и на это уже обращалось внимание в литературе [19, 20].

<sup>8</sup> Поскольку рассматриваемый вид доминации определяется прежде всего тем, что за согласными закреплена основная инвариантная абстрактная информация, а за гласными — служебная модифицирующая информация, благодаря которой словоформа становится выразительницей целостного актуального конкретного содержания, то согласно известным законам физиологии, в соответствии с которыми абстрактная инвариантная информация хранится преимущественно в левом полушарии головного мозга, а конкретные целостные представления и образы — в правом [21], системы команд для распознавания согласных должны быть локализованы в психике носителей семитских языков в левом полушарии, а гласных — в правом. В индоевропейских язы-

Поскольку аргументация в пользу признания за семитскими согласными и гласными статуса фонем, т. е. минимальных строительных единиц, последовательности которых образуют минимальные значащие единицы языка — морфемы, основана у нас на учете прежде всего иерархичности значений, выражаемых морфемами, и таким образом мы разграничиваем корни и аффиксы, постольку естественно ожидать, что грамматические наиболее контрастно противопоставленные значения, в первую очередь — словообразовательные и словоизменительные, т. е. деривационные и реляционные, также должны отразиться на противопоставленности своих репрезентантов, т. е. словообразовательных и словоизменительных аффиксов. Такое различие аффиксов действительно наблюдается, и проявляется оно прежде всего в их позиционных характеристиках. Как отмечали еще Р. Блашер и М. Годфруа-Демомбин, гласные, внедряемые в консонантный костяк семитской словоформы, есть «не что иное, как только деривационные элементы» [23], откуда логически следует, что недеривационные, реляционные, грамматические значения могут при этом выражаться уже лишь внешними агглютированными аффиксами, выделяемыми при линейной сегментации словоформы на морфемы, что и подтверждается на фактическом материале семитских языков. А так как в роли реляционных аффиксов могут выступать отнюдь не одни только тесно спаянные комплексы «согласный + гласный», или «харфы», но и отдельные гласные (например, флексии *-u-*, *-i-*, *-a-* для выражения падежного склонения имен [24] или *-u-*, *-a-*, *-∅* для выражения глагольного спряжения), то на этом уровне членения они по своему логическому статусу должны быть приравнены к «полноправным» фонемам. Вместе с тем, поскольку те же гласные на другом уровне членения, а именно в пределах основы словоформы, обладают лишь «коллективной значимостью», т. е. лишь в определенных комбинациях, то этот факт, по-видимому, мог послужить основанием для замечания Б. М. Гранде о том, что в семитских языках «до выработки совершенно независимых гласных фонем не дошло» [11, с. 71]. Однако если исходить из подобных оснований, то равным образом можно было бы усомниться в окончательной сформированности фонемного уровня, например, в индоевропейских языках, поскольку и в них единство морфемы достигается благодаря наличию у составляющих ее фонем определенной «коллективной значимости»: *gor* — это не то же, что *gol* или *pol*, подобно тому, как прерывная морфема *-a . . . a-* — это не то же, что морфема *-a . . . i-* или *-u . . . i-*.

Следует, кстати, заметить, что до разработки своей теории слогофонем Б. М. Гранде высказывал мысли, очень близкие к сформулированным выше выводам о трехаспектном содержании семитской словоформы. «В большинстве слов семитских языков, — писал он, например, в „Курсе“ . . .», — включены как вещественная часть, обозначение самого понятия, так и функциональная часть, обозначение разных модификаций основного понятия и различных грамматических отношений» [8, с. 109]. И, подчеркнем еще раз, каждое из этих трех значений, которые одновременно несет в себе семитская словоформа, находит свое объективное субстанциональное выражение в виде трех соответствующих морфем — консонантного корня, вокального прерывистого аффикса (трансфикса), которым «переложены» согласные корня, и внешнего по отношению к образуемой ими основе реляционного аффикса. При этом выделить все три морфемы с помощью одно-

---

ках, в том числе и в русском, хотя и менее ярко, но все же проявляется аналогичное направление консонантно-вокальной доминации.

Однако есть языки, распространенные главным образом в Океании, с обратным направлением функциональной доминации: корень слова в этих языках опознается в основном по «вокалическому костяку» словоформы. Интересно, что недавние эксперименты японских ученых обнаружили весьма показательный факт: хранение и обработка информации о гласных у представителей этих языков осуществляется в левом полушарии головного мозга, а согласных — в правом, тогда как у носителей индоевропейских языков «консонантным» оказывается левое полушарие, а «вокальным» — правое [22]. Тем самым лишний раз продемонстрировано единство принципов человеческого мышления: функционально аналогичные процессы протекают в психике всех людей одинаково.

го только линейного членения невозможно, поскольку они принадлежат различным уровням функционально-содержательного анализа и находятся, таким образом, как бы в различных несовместимых друг с другом плоскостях. Операционный метод выделения рассматриваемых морфем наряду с линейным приемом членения должен непременно включать в себя еще и парадигматический, чтобы быть адекватным объективной природе семитского слова. И одним из выдающихся завоеваний традиционной арабской грамматики несомненно следует считать то, что еще на заре своего становления она нашла такой метод в плодотворном соединении двух операционных приемов анализа — линейного и парадигматического, на что обращает внимание Г. М. Габучан, отмечая, что выделение основы слова (*'ašl*) в арабской традиционной грамматике производится исходя из линейного членения, но ее дальнейшее рассмотрение ведется уже обязательно в парадигматическом плане [14, с. 122].

Расчленение семитской словоформы на основу и вокалический аффикс демонстрирует тот факт, что между согласным и гласным даже при линейном членении словоформы может проходить морфемный шов. Следовательно, если признавать за минимальную фонологическую единицу семитских языков слогофонема, то придется констатировать весьма странные свойства такой единицы: ее начальный сегмент служит для различения одной морфемы, а конечный для различения другой. В то же время признание членимости словоформы на основу и вокалический аффикс не только делает естественным описание словоизменительных семитских парадигм, но позволяет обнаружить и составную, парадигматическую, дифференциацию семитских гласных по отношению к тем или иным разновидностям грамматического значения [25].

Следует заметить, что и Б. М. Гранде, вольно или невольно абсолютизовавший принцип линейного членения слова при построении им теории семитских фонем, в других случаях так или иначе исходил не только из него. Например, он же подчеркивал, что «характер и последовательность гласных звуков в слове являются одним из основных морфологических средств в семитских языках» [11, с. 103]. Верные выводы, противоречащие, однако, принципу универсальности линейного членения слова, но хорошо согласующиеся с представлением о двусоставности основы семитского слова, которое наиболее последовательно отстаивал В. П. Старинин.

Все более убеждаясь в необоснованности введения категории слогофонемы в число минимальных единиц фонологического яруса семитской грамматической системы и не отрицая в то же время объективности существования такой весьма самостоятельной фонетической единицы как «харф», получающейся при тесном слиянии согласного с последующим гласным, мы вправе теперь остановиться и на более широком вопросе о том, а могут ли быть вообще обнаружены такие языки, в которых подобная единица могла бы иметь фонологический статус.

Как известно, введение понятия слогофонемы принадлежит Е. Д. Поливанову [26, с. 1—7]. Через это понятие он стремился выразить своеобразие звукового строя корнеизолирующих языков типа китайского, в которых практически каждый слог является морфемой, и поэтому невозможно расчленить слог на фонемы путем установления морфемных границ внутри слога. Это функциональное своеобразие слогов как специфических минимальных единиц корнеизолирующего языка Е. Д. Поливанов подчеркивал тем, что называл их «слогофонемами», или «силлабемами». Как отмечает в связи с этим В. М. Солнцев, в языках иного морфологического типа, например, в русском, слоги не являются силлабемами, но только фонетическими единицами, ибо членение слова на слоги не есть «в то же время членение слова на морфемы» [27, с. 36].

Цельность силлабемы как выразительницы элементарного значения в корнеизолирующем языке проявляется и в том, что она связана, по Е. Д. Поливанову, с «мелодическим представлением слога» [26, с. 7], т. е. с тоном.

Таким образом, становится очевидным, что по исходному, определяющему признаку, заставившему китайстов ввести понятие слогафонемы, или силлабемы, а именно — по признаку тождества слова и морфемы, сочетание «согласный + гласный» в семитских языках не может быть отнесено к слогафонеме. И все же представим на время, что отнесение этих семитских сочетаний к числу силлабем справедливо. Следует ли отсюда, что даже в таком случае лишь они могут рассматриваться как минимальные фонологические единицы семитского строя? Обратимся в связи с возникающим вопросом снова к идеям Е. Д. Поливанова, а также его последователей о продуктивности для строя корнеизолирующих языков выделения понятия силлабемы — А. А. Драгунова, Е. Н. Драгуновой, В. М. Солицева [28, 27].

По Е. Д. Поливанову, наличие «силлабического представления слога», т. е. силлабемы, «в китайском языковом мышлении» отнюдь не означает отсутствия делимости этого представления на более мелкие, собственно фонологические представления — согласные, гласные, полугласные. Развивая эту мысль, В. М. Солицев отмечает: «нельзя делать вывод, что функция слога в китайском языке полностью аналогична функции отдельного звука (фонемы) русского языка» [27, с. 33].

Китайская фонема отличается от фонем «несиллабемных» языков лишь тем, что не может быть самостоятельной морфемой. Что же касается тех функциональных свойств, наличие которых было положено И. А. Бодуэном де Куртене в основу введения понятия фонемы, а именно — способность фонем как элементарных артикуляционно-слуховых представлений служить средством противопоставления единиц, связанных с различным смыслом, то и в силлабеме «смыслоразличительную функцию несут элементы слога: согласная часть (в том числе нулевой согласный) и гласная часть» [28]. «Иначе говоря, фонемные, т. е. смыслоразличительные функции в китайском языке свойственны отдельным согласным и гласным звукам, но не слогу в целом» [27, с. 33].

Таким образом, даже в тех языках, в которых слоговое членение совпадает с морфемным, минимальной фонологической единицей остается фонема. В семитских же языках, где через сочетание «согласный + гласный» может проходить морфемная граница, весьма трудно найти объективное обоснование идее о том, что этот комплекс представляет собой минимальную фонологическую единицу — слогафонему (силлабему), тем более, что его свойства как целого функционально отличны от тех свойств, на основании которых было введено понятие слогафонемы (силлабемы) в корнеизолирующих языках.

Однако подчеркнем еще раз, что сказанное отнюдь не означает отрицания в языках семитского строя специфических слоговых единиц, особенность которых заключается в чрезвычайно высокой степени доминанции консонантных артикуляционно-акустических характеристик над вокальными, вследствие чего эти единицы приобретают свойство очень тесной фонетической спаянности и, тем самым, самостоятельности. Речь идет лишь о том, что эти объективно существующие единицы, для которых в классической арабской грамматике неслучайно был выработан специальный термин «харф», принадлежат не фонологическому, а фонетическому уровню<sup>9</sup>, и при анализе семитских языков их описание должно включаться не в разделы о парадигматике минимальных смыслоразличительных единиц, т. е. о составе фонем, а в разделы о синтагматике артикуляционно-акустической речевой репрезентации этих единиц. При такой трактовке статуса семитских «слогафонем», или «харфов», не будет возникать и упоминавшейся проблемы «слогафонемы с нулевым гласным» (см. выше), ибо фонетически такие единицы уже не являются слоговыми. В то же время любые функциональные модификации согласного с последующим гласным, даже если они не фонологичны, должны быть отнесены к числу «слогафонем-

<sup>9</sup> Дополнительным подтверждением этому служит вывод Г. М. Габучана о том, «что харф в первую очередь и чаще всего употребляется в грамматических трактатах средневековых арабских филологов в значении какой-то звуковой единицы» [14, с. 120—121].

харфов». При этом, поскольку длительность гласного, при доминации согласного, не влияет на возникновение каких-либо своеобразных отношений между артикуляционно-акустическими характеристиками гласных и согласных в слоге, то наличие семитских пар «согласный + гласный» отличающихся только длительностью гласного, несмотря на фонологичность противопоставления гласных по длительности, к возникновению соответствующих пар «слогофоном-харфов» не приводит. И если с учетом сказанного вернуться к примерам П. Галеви и подсчитать количество таких единиц, взяв приводимые им для иврита исходные данные, то как раз и получится выведенное им уже известное число 145. Сам по себе подобный факт может служить хорошим подтверждением статуса семитской «слогофонемы» как синтагматической фонетической единицы, не дающей повода для сомнения относительно наличия в семитских языках «обычных» парадигматических единиц фонологического яруса, репрезентирующихся как согласные или гласные фонемы.

Подводя общие итоги проведенного анализа, можно констатировать, что минимальными единицами языков семитского строя на фонологическом уровне являются фонемы (не слогофонемы!), минимальными значащими единицами — морфемы, представляющие собой определенные комбинации фонем, и в этом отношении семитские языки принципиально ничем не отличаются от других языков мира, даже таких типологически далеких от них, как корнеизолирующие.

Сделанный вывод еще раз подтверждает, что языковые категории фонемы и морфемы оказываются универсальными для всех естественных языков и что, таким образом, до введения этих понятий И. А. Бодуэном де Куртене общая лингвистика не имела достаточно надежной универсальной базы как для описания отдельных языков, так и для их типологического сопоставления.

Естественно, что обнаружение в семитских языках тех же самых минимальных единиц языкового строя, которые присущи всем другим языкам, не только не лишает исследователя возможности вскрыть уникальные особенности семитской грамматики, но, напротив, позволяет более четко сформулировать суть обнаруженного своеобразия и поставить вопрос о причинах его возникновения. Изложение принципов такого этиологического подхода, позволяющего связать проблему особенностей минимальных смыслоразличительных и значащих единиц языка с особенностями единиц на всех иных ярусах в синхронии и диахронии, могло бы представить тему для отдельного исследования. Здесь же ограничимся пока лишь напоминанием о том, что возможность причинных объяснений в языкознании вытекает из диалектического положения, в соответствии с которым «язык постоянно приспосабливается к общественному устройству и функции его социально обусловлены», причем «сама возможность приспособления порождена социальной сущностью языка» [29]. И семитология та область лингвистики, где впервые была продемонстрирована перспективность этогоологического подхода [30].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Солнцева В. М. Язык как системно-структурное образование. 2-е изд. М., 1978.
2. Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М., 1977, с. 40.
3. Дьяконов И. М. Семито-хамитские языки. (Опыт классификации). М., 1965, с. 27, 30—31.
4. Юшманов Н. В. Грамматика литературного арабского языка. Л., 1928.
5. Юшманов Н. В. Строй арабского языка. Л., 1938.
6. Cohen M. Essai comparatif sur vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique. Paris, 1947.
7. Старинин В. П. Структура семитского слова, М., 1963.
8. Гранде Б. М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. М., 1963.
9. Brockelmann C. Grundriss der vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen. I. Berlin, 1908, S. 286—287.
10. Гранде Б. М. Слогофонема в семитских языках.— В кн.: Семитские языки. 2-е изд. Вып. 2. Ч. 2. М., 1965.

11. Гранде Б. М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972.
12. Кямилев С. Х. Возможный подход к унификации транскрипции (для сборников типа «Семитские языки»).— В кн.: Семитские языки. Вып. III. М., 1976.
13. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка. М., 1960, с. 85.
14. Габучан Г. М. К вопросу о структуре семитского слова (в связи с проблемой «внутренней флексии»).— В кн.: Семитские языки. Вып. II. Ч. 1. М., 1965.
15. Мельников Г. П. Системный анализ причин своеобразия семитского консонантизма. Методические разработки. М., 1968.
16. Cantineau J. Reflexions sur la phonologie de l'arabe marocain.— In: J. Cantineau. Études de linguistique arabe. Paris, 1960.
17. Marçais W. Textes arabes de Tanger. Paris, 1911.
18. Brunot L. Textes arabe de Rabat. Paris, 1934.
19. Милитарев А. Ю. Развитие взглядов на семитский корень.— В кн.: Восточное языковедение. М., 1976, с. 22.
20. Солнцева В. М., Вардугин И. Ф., Алпатов В. М., Бертельс А. Е., Коротков Н. Н., Санжеев Г. Д., Шарбатов Г. Ш. О значении изучения восточных языков для развития общего языковедения.— В кн.: Теоретические проблемы восточного языковедения. Ч. 2. М., 1982, с. 13.
21. Иванов В. В. Чет-нечет. М., 1978.
22. Брабин Г. Родной язык и мозг. Интересное открытие японского экспериментатора.— Курьер ЮНЕСКО, 1982, март.
23. Vachère R. et Godefroy-Detombynes M. Grammaire de l'arabe classique. 3-me éd. Paris, 1952.
24. Шагал В. Э. Структура категории склонения в арабском литературном языке.— В кн.: Семитские языки. Вып. III, с. 173.
25. Кямилев С. Х. О совпадении средств выражения именного склонения и глагольных наклонений в арабском литературном языке.— ВЯ, 1979, № 1.
26. Иванов А. И., Поливанов Е. Д. Грамматика современного китайского языка. М., 1930.
27. Солнцева В. М. Очерки по современному китайскому языку. (Введение в изучение китайского языка). М., 1957.
28. Драгунов А. А., Драгунова Е. Н. Структура слова в китайском национальном языке.— Советское востоковедение, 1955, № 1, с. 58.
29. Степанов Г. В. Внешняя система языка и типы ее связи с внутренней структурой.— В кн.: Принципы описания языков мира. М., 1976, с. 154.
30. Мельников Г. П. Взаимобусловленность структуры ярусов в языках семитского строя.— В кн.: Семитские языки. Вып. 2. Ч. 2.

ФЕДОРОВА Л. Л.

О ДВУХ РЕФЕРЕНТНЫХ ПЛАНАХ ДИАЛОГА

Анализ диалога как формы речевого общения предполагает рассмотрение его в рамках ситуации общения с учетом ряда экстралингвистических факторов. Одним из таких факторов является наличие так называемой референтной ситуации, к которой относится содержание высказываний собеседников. Такая ситуация, модель которой формируется в сознании собеседников в процессе общения, представляет собой некоторый фрагмент действительного мира, связанный с высказываниями говорящих референтной соотнесенностью, и образует внеязыковой контекст сообщения. «Самый факт использования и присвоения языка отвечает потребности говорящего установить посредством речевого сообщения некоторое соотношение, референцию с реальным миром, а у партнера создает возможность установить тождественную референцию — в той прагматической согласованности, которая делает из каждого говорящего собеседника. Референция является неотъемлемой частью акта высказывания» [1].

Однако помимо очевидной референтной связи с ситуацией, о которой идет речь в диалоге, высказывания собеседников тесным образом связаны и с самой ситуацией общения. Эта связь проявляется прежде всего в складывающейся в диалоге и согласованной между собеседниками системе координат — временных, пространственных, лично-субъектных [2] — точкой отсчета, в которой и выступает сама ситуация общения и на основе которой производится употребление глагольных времен, дейктических форм речи, личных местоимений, а также форм вежливости и стилистически окрашенных форм.

Особый вид референтной связи, характеризующей употребление в речи некоторых языковых форм, отмечается Э. Бенвенистом. Он выделяет три типа языковых форм, связанных в разной степени с производством высказывания: местоимения *я* — *ты*, средства остенсивного указания (типа *это*, *здесь* и т. п.) и глагольные времена, центральной формой которых является настоящее время, определяемое моментом речи. Все эти языковые средства образуют формальный аппарат высказывания, который Э. Бенвенист характеризует как ауторефлексивный, т. е. соотнесенный с собственным употреблением говорящего. К формальным средствам высказываний Э. Бенвенист относит и ряд текстовых функций, таких, как вопрос, подтверждение, побуждение, модальность. В центре группы языковых средств, относящихся к формальному плану высказывания, находится местоимение *я*, по отношению к которому определяются и другие речевые формы, имеющие ауторефлексивную референцию.

Иначе к вопросу референтной неоднородности высказываний подходят другие лингвисты, выделяя в структуре текста два семантических плана — один, относящийся к предмету речи, и другой, относящийся к самому высказыванию. Второй план, называемый метатекстом, представляет собой как бы комментарии самого говорящего к основному тексту, выявляющий его структурную и смысловую организацию. Метатекстовые элементы внедряются в структуру основного текста, однако они обычно могут быть извлечены из него без изменения его содержания. К ним относятся такие формы, как *начну с того*, *прежде всего*, *иначе говоря*, *кстати*, *в сущности*, *откровенно говоря*, *например*, *кажется*, *вроде бы*, *довольно*, *почти*, *что касается*, *во-первых*, *во-вторых*, *наконец*, *итак*, *а именно* и т. д. К метатекстовым относятся также глаголы, выражающие волеизъяв-

ление (*прошу, советую*) или перформативные глаголы (*обещаю, протестую*). Ядро семантической структуры этих речевых форм образует метаплеонастический элемент «я говорю, что . . .».

Можно заметить, что основной чертой метатекстовых элементов является их референтная отнесенность к высказыванию, к акту речи, которую можно назвать метареферентной соотнесенностью.

Итак, в лингвистической литературе уже намечены подходы к анализу явления метареференции и его сущности.

Ниже мы постараемся показать, что обращение к социолингвистическим и психолингвистическим аспектам анализа диалога может дать более полную картину этого явления.

Элементарным объектом такого анализа будет служить акт речевого взаимодействия, представляющий собой однократный обмен речевыми действиями — иначе говоря, репликами — между собеседниками. При этом первая реплика выступает в роли акции, вторая (и остальные) — в роли реакции.

Каждый акт речевого взаимодействия производится в рамках некоторой ситуации общения. Под общением здесь понимается комплексная деятельность, внешней стороной которой является собственно коммуникация, т. е. передача сообщения, а внутренней — социальное взаимодействие людей. Уровневый характер содержания общения обуславливает возможность выделения двух уровней его анализа: коммуникативного и социологического.

Модель ситуации общения включает ряд факторов, необходимых для осуществления речевого взаимодействия. Помимо отмеченной соотнесенности с референтной ситуацией, одним из основных факторов модели является наличие по крайней мере двух собеседников, осуществляющих в речевом взаимодействии свои цели. Поскольку собственно коммуникация, или передача сообщения, подчинена социальному взаимодействию людей, она непосредственно определяется промежуточными целями, подчиненными целям социального взаимодействия. Под социальным взаимодействием понимается «активность коммуникантов, направленную на регуляцию, координацию (в широком смысле) их совместной деятельности» [3].

Для каждого акта речевого взаимодействия можно говорить, таким образом, о двух типах целей, определяющих речевое поведение каждого из собеседников: цели речевого (социального) воздействия (здесь мы используем термин Дж. Остина) и цели передачи сообщения, или коммуникативной цели. Для диалога в целом, рассматриваемого как последовательное объединение актов речевого взаимодействия, можно говорить еще и об определяющей его развитие общей цели социального взаимодействия — а именно цели общения.

В соответствии с изложенным механизмом целенаправленностей речевые действия, производимые собеседниками, могут быть разложены на составляющие их элементарные действия: речевое воздействие и коммуникативное действие. Эти элементарные действия имеют различные объекты: объектом речевого воздействия является собеседник, объектом коммуникативного действия — сообщение.

В наиболее общем виде речевое воздействие может трактоваться как стимулирование ответа собеседника («прошу ответить»), коммуникативное действие — как собственно сообщение, предметом которого является *x* («сообщаю *x*, говорю об *x*»). Более частными формами речевого воздействия являются приказ, просьба, предложение, разрешение, приглашение, совет и др.; более частными видами коммуникативных действий являются вопрос, сообщение, суждение, подтверждение, отрицание, эмоциональная оценка и др. Такая модель описывает акты речевого взаимодействия, относящиеся к общению-действию, т. е. к речевой деятельности, включаемой в деятельность более высокого порядка — в социальное взаимодействие — и подчиненной ее целям.

Существуют, однако, акты речевого взаимодействия и другого типа, относящиеся к общению-деятельности, т. е. непосредственно соответствующие социальному взаимодействию в той его форме, которая имеет

собственно речевое воплощение — в форме ритуализованного речевого поведения. Это, в частности, акты приветствия, прощания, извинения, благодарности и др., образуемые действиями некоммункативного характера.

Описанные два типа смысловых структур (а также возникающие на их основе смешанные типы) определяют смысловую организацию диалога, выделяя в ней два содержательных плана: один, связанный с предметом сообщения, и другой, связанный с самой ситуацией общения. Первый содержательный план оказывается как бы вложенным во второй, аналогично тому, как предмет сообщения, являясь одним из компонентов акта речевого взаимодействия, включается в рамки модели ситуации общения. В соответствии с этим референтная соотнесенность второго содержательного плана диалогической речи с ситуацией общения приобретает особый характер, позволяющий обозначить ее термином «метареференция», а сам этот второй план — метареферентным.

Обращаясь к собственно лингвистическому уровню анализа диалога, можно теперь проследить сферу распространения метареферентного плана в его языковой структуре. Очевидным образом в эту сферу включается и формальный аппарат высказывания, и метатекстовые элементы. Более широкие границы метареферентного плана диалога определяются тем, что в его основе лежит нечто большее, чем ауторефлективный элемент «я» или метаплеоназм «я говорю, что. . .», — а именно смысловая структура акта речевого взаимодействия.

Интерес представляет выделение системы метареферентных элементов в структуре диалога. В эту систему включаются разнообразные языковые средства: лексические, грамматические, интонационные (интонационные средства не включаются в сферу нашего анализа).

Метареферентные элементы могут трактоваться как поверхностные представления глубинных структур, соответствующих обобщенным смысловым моделям актов речевого взаимодействия. Таким образом могут быть рассмотрены поверхностные представления основных компонентов глубинной — метареферентной — структуры акта речевого взаимодействия: субъекта речи и его собеседника и различных типов речевых действий: речевого воздействия, коммуникативного действия, некоммункативного речевого действия. Последний компонент глубинной структуры — предмет сообщения — предстает в диалоге в виде референтной ситуации, «вложенной» в метареферентную ситуацию общения. Потому представляющие его языковые средства выступают в собственно референтной функции и образуют референтный план высказывания.

Для обозначения субъекта речи и его собеседника используются формы личных местоимений и личные формы глаголов. Выступая в ауторефлективной функции, эти элементы определяют ауторефлективное употребление сопряженных языковых категорий: притяжательных местоимений, указательных местоимений и наречий места и времени. Подробно употребление ауторефлективных элементов рассматривается в работах Э. Бенвениста.

Обозначению собеседника служат также формы обращения. Категория обращения включается тем самым в ряд метареферентных категорий.

Поверхностные представления речевых действий некоммункативного типа, соответствующих обычно ритуализованному речевому поведению, нередко имеют форму клишированных сочетаний, например: *Добрый день! Здравствуйте! Привет!* (приветствие); *До свидания! Пока!* (прощание); *Спасибо* (благодарность); *Всего доброго! Счастливого пути! Ни пуха, ни пера!* (пожелание); *Пожалуйста!* (просьба); *Хорошо, ладно* (согласие) и др.

Реплики, содержащие речевые действия некоммункативного типа, могут образовывать самостоятельные элементарные диалоги (т. е. соответствующие одному акту речевого взаимодействия), однако чаще они включаются непосредственно в коммуникативный диалог, выступая как самостоятельные речевые действия или же усиливая передаваемое репликой речевое воздействие, например:

— *Пожалуйста*, передайте ей приглашение.

— Хорошо, постараюсь.

Сложные речевые действия, разложимые на два элементарных — речевое воздействие и коммуникативное действие — имеют более разветвленную систему соответствий на поверхностном уровне. Прежде всего следует заметить, что сложные речевые действия конкретизируются обычно в каком-либо одном из двух своих аспектов: либо как речевые воздействия, либо как коммуникативные действия.

Для поверхностного представления речевых воздействий могут использоваться различные языковые средства: лексические (использование глаголов, непосредственно называющих соответствующие речевые действия, в определенной грамматической форме: *прошу, предупреждаю о чем-либо; обещаю что-либо*); грамматические (использование повелительного и желательного наклонений: *подожди меня! ты бы меня подождал*); лексико-грамматические (использование конструкций с модальными глаголами и модальными словами в изъявительном и желательном наклонении: *не могли бы вы меня подождать; надо бы ее подождать; ты должен ее подождать*).

Если речевое действие не конкретизируется как речевое воздействие, оно приобретает форму коммуникативного действия в каком-либо из его основных тактических видов: вопроса, суждения, сообщения, подтверждения, отрицания, эмоциональной оценки. Для каждого из этих тактических видов могут быть отмечены собственные языковые средства выражения. Одним из наиболее общих языковых средств является модальная форма высказывания: так, для вопроса, отрицания модальная форма однозначно задана и полностью их характеризует. В то же время остальные тактические категории могут иметь различные модальные формы: утверждение, предположение, сомнение, отрицание. Кроме того, многие тактические категории могут быть более детально описаны как логические операции: обобщение, заключение, противопоставление, сопоставление, уподобление, аналогия, уточнение, установление начала, установление порядка и т. д. Эти частные категории коммуникативных действий имеют свои средства выражения, лексические и грамматические, которые являются показателями коммуникативно-логической организации высказывания. Например, вывод, заключение, передаются лексически использованием слов *итак, таким образом*; уточнение — *а именно, например*; установление порядка — *во-первых, во-вторых, наконец, прежде всего*; аналогия — *и т. д., и т. п.* Грамматическими средствами передаются противопоставление, сопоставление, уподобление (*У лисы была избушка ледяная, а у зайца — лубяная; У него такие же глаза, как у матери; волнообразные движения; по-медвежьи неуклюжий*).

Тактическая категория эмоциональной оценки также имеет собственные языковые средства выражения. К ним относятся междометия, определенные синтаксические конструкции, передающие различные формы коммуникативных действий эмоциональной оценки — удивление, восхищение, возмущение, досаду и т. д. (*Ах, какая жалость! Что за безобразие! Вот это да! Ну и ну!*).

Итак, проведенный анализ способов поверхностного представления смысловой структуры акта речевого взаимодействия показал, что метареферентный план занимает в диалоге определяющее место по отношению к собственно референтному плану и не сводится к чисто формальному аппарату высказывания. Он представляет собой как бы ситуативный смысловой контекст, строящийся на основе коммуникативных намерений собеседников и включающий конкретное содержание высказывания. При этом нередко бывает трудно произвести четкое разграничение этих двух планов на поверхностном уровне, поскольку они нередко объединяются в рамках единых синтаксических структур.

Обращаясь к собственно референтному плану содержания реплики, можно заметить, что этот план оказывается значительно обедненным и практически несамостоятельным, т. е. не способным существовать независимо от метареферентного плана. В самом деле, за вычетом категорий повелительного и желательного наклонений, категорий лица,

модальности, времени, обращения, дейксиса, в референтном плане остается довольно ограниченный пласт грамматики. Что же касается лексического расслоения состава диалогических реплик, то здесь сфера мета-референтного плана ограничена выражением компонентов акта речевого взаимодействия, в то время как сфера референтного плана принципиально не ограничена.

Выделение двух планов в содержании диалога определяет его отличительную черту — двойственную ситуативность, т. е. одновременную референтную связь с ситуацией, о которой идет речь, и с ситуацией общения. Степень вхождения ситуации общения в диалогическую речь может быть различна, однако оно всегда имеет место.

Здесь встает вопрос о соотношении диалогической и монологической речи. При таком подходе традиционное противопоставление диалогической и монологической речи утрачивает смысл, поскольку любые проявления речевой деятельности оказываются включенными в рамки некоторой ситуации общения, что обуславливает невозможность существования референтного плана высказывания вне мета-референтного. Иначе говоря, любые формы речи предполагают собеседника, реального или потенциального: лекция — аудиторию, книга — читателя, дневник — самого его автора. Речь может здесь идти лишь о различии коммуникативных установок говорящего, в одном случае непосредственно направленных на восприятие собеседника, в другом — отвлекающихся от него, что и определяет различную степень вхождения ситуации общения в различные формы речи. Такой взгляд на соотношение диалогической и монологической речи (согласно которому монологическая речь в чистом виде представляется несуществующей абстракцией) не является принципиально новым. В современной лингвистической теории он развивается, в частности, Вяч. Вс. Ивановым. Обращаясь к истокам теории речевой коммуникации, мы находим его у В. Н. Волошинова, еще в 20-х годах отмечавшего: «Действительной реальностью языка — речи является не абстрактная система языковых форм и не изолированное монологическое высказывание и не психо-физиологический акт его осуществления, а социальное событие речевого взаимодействия, осуществляемого высказыванием и высказываниями» [4].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 314.
2. Rommetveit R. On message structure. London, 1974, p. 36.
3. Тарасов Е. Ф. К построению теории языковой коммуникации. — В кн.: Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шагнарвич А. М. Теоретические и прикладные проблемы языкового общения. М., 1979, с. 32.
4. Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Л., 1929, с. 113.

ГРИНАВЕЦКИС В. З.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ВОКАЛИЗМА ГОВОРОВ  
ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА

(Редукция гласных и монофтонгизация дифтонгов)

Вокализм говоров литовского языка довольно тщательно исследован (1, 2). Тем не менее отдельные явления все еще требуют объяснения и уточнения. К ним относится, в частности, редукция гласных, охватывающая большую часть территории говоров литовского языка (см. карты З. Зинкявичюса [1, с. 474, 480, 481, 491]).

В настоящей статье на вновь собранном диалектном материале рассматриваются некоторые вопросы распространения и развития редукции гласных в основе и в конечных слогах, а также проблема монофтонгизации дифтонгов.

Р е д у к ц и я г л а с н ы х о с н о в ы с л о в а. I. В жемайтских говорах безударный гласный *e* в определенной позиции превратился в суженный *e* (*i*) [2, с. 175—176; 3, с. 74—79]. За последнее время накопились новые диалектные данные, свидетельствующие о том, что в жемайтских северо-западных дунининкских говорах гласный *e* превратился в *e* в положении, никогда не имеющем основного древнего ударения. Данное преобразование отмечено в следующих случаях:

1. В деминутивном суффиксе *-el-*:

а) в формах всей парадигмы имен существительных и прилагательных, которые, не считая суф. *-el-*, имеют еще и другие деминутивные суффиксы (*-aitis*, *-aitė*; *-elis*, *-elė*; *-ytis*, *-ytė*; *-ukàs*, *-ukė* и т. п.). Ср: *mažėlātes* ~ *mažėlāitis*<sup>1</sup>, *mažėlėlės* ~ *mažėlėlis*, *mažėlītės* ~ *mažėlītis*, *mažotėlītės* ~ *mažotėlītis* «малютка, малюсенький», *bruolelātes* ~ *brolelāitis* «братик», *dokrėlītė* ~ *dukrelītė* «доченька», *vaikėlėlės* ~ *vaikėlėlis*, *vāikėlōks* ~ *vaikėlūkas* «ребеночек», ср. соответствующие формы с несуженным *-el-* (например: *mažėlītis* ~ *mažėlītis* «малюсенький») в других жемайтских дунининкских говорах, например, в Паграмантисе [4, с. 34—35];

б) в формах звательного падежа ед. числа имен существительных и прилагательных, например: *juonėlė* ~ *Jōneliai* «Иванушка», *māmūnėlė* ~ *māmūneliai* «мамаша, матушка», *māžėlė* ~ *māželiai* «малютка», *pārūnėlė* ~ *pārūneliai* «папочка» и др. Вместе с тем отмечается, что в формах других падежей вышеприведенных слов, когда деминутивный суф. *-el-* произносится с основным древним ударением, гласный *e* сохраняется без изменения, например: *juonėlės* ~ *Jonėlis* «Иванушка», *māmūnėlė* ~ *māmūnėlė* «матушка» (Лаукува и ее окрестности, Шилальский р-н);

в) в формах сравнительной и превосходной степени имен прилагательных и наречий, например: *baltėlėsnes* ~ *baltėlėsnis* «более белый», *gerėlėsnes* ~ *gerėlėsnis* «более добрый, более качественный», ср. соответствующие формы некоторых других жемайтских говоров: *baltėlėsnis*, *gerėlėsnis* [1, с. 275]; *baltėl'āuses* ~ *balteliāusis* «самый белый», *menkėl'āuses* ~ *menkeliāusis* «самый слабый», *pluonėl'āuses* ~ *ploneliāusis* «наитончайший»; *bāl'tėl'āu* ~ *balteliaū* «немного белее», *gėr'ėl'āu* ~ *gereliaū* «не-

<sup>1</sup> Здесь и далее за тильдой (~) приводится литературное соответствие диалектного примера.

много лучше, немного качественнее»; *baltel'ausijė ~ balteličiusiejai* «белее всех», *pluoņel'ausijė ~ ploneličiusiejai* «тоньше всех» и др.

2. В формах составных числительных *dvidešimti — devyniasdešimti* «двадцать — девяносто»:

а) во втором компоненте числительных *dvidešimti — trisdešimti*, например: *dvėdešimtė ~ dvidešimti* «двадцать», *trėdešimtė ~ trisdešimti* «тридцать»;

б) в окончании первого компонента числительных *kėturiusdešimti — devyniasdešimti*, например: *kėtorezdėšimtė ~ kėturiusdėšimti* «сорок», *pėnkezdėšimtė ~ pėnkiasdėšimti* «пятьдесят», *šėšezdėšimtė ~ šėšiasdėšimti* «шестьдесят», *septinezdėšimtė ~ septyniasdėšimti* «семьдесят», *aštunezdėšimtė ~ aštuoniasdėšimti* «восемьдесят», *devinezdėšimtė ~ devyniasdėšimti* «девяносто».

В данном случае происхождение суженного *e*, как видно из примеров, иное: оно происходит не из широкого *e*, а из *a* после палатализованных согласных, произносимого как широкий *e* (ср. произношение аналогичных форм вин. падежа мн. числа в литературном языке: *pėmpes* «чибицы» и *lyges < lygias* «ровные»).

Формы вин. падежа имен числительных *kėturius — devynias* при самостоятельном употреблении, а не в составе сложных числительных не сузили *e* (< *ia*): *kėtores ~ kėturius* «четыре», *septines ~ septynias* «семь», *aštunes ~ aštuonias* «восемь», *devines ~ devynias* «девять». Причиной этого является, по-видимому, древнее конечное ударение некоторых подобных числительных (*pėnkės ~ penkiūs* «пять», *šėšės ~ šešiūs* «шесть», ср. еще формы вин. падежа мн. числа прилагательных жен. рода *grāžės ~ gražiūs* «красивые», *žalės ~ žaliūs* «зеленые» и др.).

Поскольку *e* переходит в *e(i)* лишь в безударном положении, уместен вывод, что данное преобразование является результатом редукции. Редукцией можно объяснить и переход *e* в *e(i)* в безударном положении перед гетеросиллабическими *m* и *n* [3, с. 78].

Возможно, что редукция, обусловленная позиционно, послужила толчком к сужению первых компонентов циркумфлексных дифтонгических сочетаний *am, an, em, en* в восточноаукштайтском пантининском говоре (ср. *roņka ~ rankā* «рука», *peņkts ~ peņktas* «пятый» и *lāngs ~ lāngas* «окно», *pėmpė ~ pėmpė* «чибицы») и *em, en* в пантининском и понтининском говорах (ср. *peņkts ~ peņktas* «пятый», но *pėmpė ~ pėmpė* «чибицы»), так как сужение гласных *a, e* данных дифтонгических сочетаний здесь связано с ослабленным их произношением. В положении перед согласными *m, n* сужение гласных *a, e* в первую очередь все-таки обуславливается ассимилятивным влиянием согласных *m, n* [5, с. 19; 2, с. 203—210]. Необходимо отметить, что в жемайтских говорах гласный *a* в позиции между *m* и *n* (или *n* и *m*) сузился тоже прежде всего лишь в безударном положении [3, с. 78].

Как уже было отмечено выше, в большинстве литовских говоров гласный *e* в безударном положении перед гетеросиллабическими *m* и *n* превратился в *i* (в жемайтских говорах в *e*) [3, с. 74—79]. Однако до сих пор остается неясным происхождение безударного диалектного суф. *-in-* вместо литер. *-en-* имен существительных с основой на согласную, например: *ākmėni ~ ākmeni* «камень» (вин. п. ед. ч.), *vāndėni ~ vādeni* «воду» и др., где *-in-* может быть и слабой ступенью суф. *-en-*.

В последнее время нами обнаружено, что в жемайтском говоре окрестностей Лаукувы (Шилальский р-н) наряду с формами *ākmėnė ~ ākmeni* «камень» (вин. п. ед. ч.), *ōndėnė ~ vādeni* «воду» и формами остальных падежей перечисленных слов (где гласный *e* конца основы сужен) употребляются формы род. п. ед. ч. с несуженным *-en-*, например, *ākmėnc ~ ākmėns* «камня», *ōndėnc ~ vādens* «воды». В данных словоформах гласный *-e-* не сузился потому, что на него падает перенесенное побочное ударение. Приведенные формы с *-en-* ясно показывают, что суженный *-in-(-en-)* других падежных форм происходит только от *-en-*.

Отмечаются также случаи, когда вследствие редукции безударный *e* в северных жемайтских говорах превратился в суженный *e(i)* и в от-

дельных других словоформах, например: *didil'us* ~ *dīdelius* «большие» (вин. п. мн. ч.), *dīovēnā* ~ *dovēnā* «подарок», *kōpele/kōpeta/kōpētā/kūpitā*, *kūpile* ~ *kūpelēl' kūpeta*, *kupetā* «копна», *nūotņeņeš* ~ *nōtņerēs* «крапивы» (им. п. мн. ч.), *rudini* ~ *rūdenī* «осень» (вин. п. ед. ч.), *sēsērēi* ~ *sēserie* «сестре», *vūobēlēš* ~ *obelis* «яблонь», *oudegā* ~ *uodegā* «хвост», *vūovērēs/vūovērēi/vūovīrēi* ~ *voveris/voverē* «белка» и др. [6, I, 151, 167, 186; II, 21, 38, 54, 90, 113].

Обнаружено также, что гласный *e* в безударном положении часто переходит в *i* и в западноаукштайтском говоре бывшего Клайпедского края, в окрестностях Плашкяй (Шилутский р-н), например: *akminū* ~ *akmenū* «камень», *karūomine* ~ *karūomenē* «войско», *mīenisis* ~ *mēnesis* «месяц», *šāudmine* ~ *šāudmenio* «боеприпасов» *šīpsina* ~ *šjpsena* «улыбка», *truobiseī* ~ *trobesaiā* «постройки», *abijūoti* ~ *abejōti* «сомневаться» и др.

II. а) В северножемайтских тельшяйских говорах и в южножемайтских говорах окрестностей Ужвентиса, Кяльме (Кяльмский р-н) безударные долгие гласные в основе слова сокращаются до кратких [2, с. 247—249]. За последнее время удалось установить, что безударные долгие гласные аналогичным образом сокращаются и в южножемайтском говоре деревни Билёнис и ее окрестностей (Шилальский р-н). В этом говоре прежде всего в проклитическом положении сокращаются до расширенных кратких долгие гласные *y*, *ū* предлогов и префиксов *i(-)* «в», *pry(-)* «при, у», *nū(-)* «от, с», например: *e ōgne* ~ *i ūgni* «в огонь», *estūote* ~ *istōti* «вступать» *prē vāka* ~ *pry vaiķo* «при ребенке» *preēte* ~ *pryēti* «подойти», *no stūoga* ~ *nū stōgo* «с крыши», *ņomāute* ~ *nūmāuti* «снять». Следует отметить, что ударные долгие гласные приведенных префиксов свою исконную долготу сохраняют: *īneš* ~ *īneša* «внесет, -ут», *nūpēn* ~ *nūpēna* «сплетет, -ут», *prījēm* ~ *prījēma* «принимает, -ют» и др.

К количеству древних долгих гласных в префиксах *i-* «в-», *nū-* «от-, с-», *pry-* «при, у-» в говоре дер. Билёнис приравнено и количество древних кратких гласных префиксов *iš-* «вы-, из-, с-», *su-* «с-, по-», *už-* «за-, на-»; это значит, что ударные краткие гласные префиксов *iš-*, *su-*, *už-* здесь всегда удлиняются (*īšmeld* ~ *īšmelda* «вымаливает, -ют», *sūtēlp* ~ *sūtelpa* «помещается, -ются», *ūžmēn* ~ *ūžmena* «наступает, -ют»), а безударные — сохраняются краткими и расширенными (*ešvērđ* ~ *išvērda* «разваривает, -ют», *sođieje* ~ *sudējo* «сложил, -ла, -ли», *osāķe* ~ *užsāķe* «заказал, -ла, -ли»).

В предупдарных слогах основы слова древние долгие гласные *y*, *ū* в этом говоре сокращаются до кратких расширенных, например: *gevēna* ~ *gyvēno* «жил, -ла, -ли», *doķsāva* ~ *dūksāvo* «дышал, -ла, -ли», *poštēlnīnks* ~ *pūštēlnīnkas* «отшельник», *zeļēķe* ~ *zyļēķe* «синичка» и др. В данной позиции здесь одинаково сокращаются и долгие гласные *i*, *u*, соответствующие дифтонгам литературного языка *ie*, *uo*: *pēmēnū* ~ *piemenū* «пастухов» (род. п. мн. ч.), *tēsōmō* ~ *tiesumū* «пряником», *ven'ālektā* ~ *vieniūolektā* «одиннадцатая», *jođtjē* ~ *juodīejai* «черные» и др. Однако дифтонги говора *ie*, *uo*, соответствующие долгим гласным *ē*, *o* литературного языка, в данной позиции не сокращаются, ср.: *siejles* ~ *sējējas* «сеяльщик», *pjuovīes* ~ *pjuvėjās* «жнец», *žmuogēļes* ~ *žmogēlis* «человек» и др.

Как видно из приведенных примеров, в говоре дер. Билёнис древние долгие гласные сокращаются до кратких и под аттрактивным ударением в тех случаях, когда в других южножемайтских говорах (например, в Лаукуве) они обычно произносятся со средней слоговой интонацией, ср.

*pītmēnū* (Лаукува) и *pēmēnū* (Билёнис) ~ *piemenū* «пастухов». Таким образом, характер сокращения долгих безударных гласных данного южножемайтского говора является совершенно аналогичным сокращению гласных вследствие редукции в северножемайтских тельшяйских говорах [2, с. 247—249].

б) Другой очаг редукции безударных долгих гласных локализуется на территории южножемайтского наречия в Расяйнском районе вдоль западноаукштайтской границы. В указанном языковом ареале сокращаются древние долгие *y, ū, o* и долгие *y, ū*, соответствующие дифтонгам *ie, io* литературного языка: *līnksminis ~ līnksminys* «веселишься», *grāndis ~ grāndys* «будет, -ут скрестя», *vālgit ~ vālgyti* «кушать», *darbūjus ~ darbūjuos* «я тружусь», *stēng'us ~ stēngious* «я стараюсь», *baltui ~ baltuoja* «белеет, -ют», *būvat ~ būvot* «вы были», *likat ~ likot* «вы остались» и др. (дер. Пумпурай и ее окрестности, Расяйнский р-н).

в) Выявлено, что древние долгие гласные \**ā, \*ē* (литер. *o, e*) в безударной основе слова в западноаукштайтских шяуляйских и в восточноаукштайтских паневежских говорах в процессе сокращения совпали с краткими гласными *u, i*. Это подтверждает мнение о том, что в процессе сокращения данные долгие гласные \**ā, \*ē* уже были узкими (т. е. *o, e*, как и в литер. яз.). Однако в безударных окончаниях те же самые гласные \**ā, \*ē* в указанных выше говорах превратились в краткие *a, e*, из чего ясно, что в период сокращения они в этой позиции еще были широкими (т. е. *ā, ē*).

Как свидетельствуют письменные памятники этого языкового региона, в XVI в. безударные древние долгие гласные в его говорах еще были долгими [7, с. 73].

Р е д у к ц и я к о н е ч н ы х г л а с н ы х. Редукция конечных гласных в говорах литовского языка является двойкой: жемайтской и восточноаукштайтской. Жемайтская редукция конца слова характерна для северо-западной части территории литовского языка, в которую, кроме жемайтских говоров, еще входит и прилегающий к ним ареал северо-западных аукштайтских говоров. Восточноаукштайтская редукция конца слова распространяется и на восточные пограничья западноаукштайтских говоров [8, 9].

Для остальной части территории литовских говоров редукция не характерна. В настоящее время установлено, что в юго-западных аукштайтских говорах в окрестностях Гялгаудишкиса и Гришкабудиса и в прилегающих к ним населенных пунктах (Шакайский р-н) зачастую редуцируется безударное именное окончание *-as*, т. е. выпадает древний краткий *-a* закрытого окончания, например: *dvārs ~ dvāras* «имение», *gērs ~ gēras* «добрый», *sēns ~ sēnas* «старый», *žēms ~ žēmas* «низкий». Однако аналогичное открытое окончание *-(i)a* 3-го лица глаголов наст. времени здесь сохраняется (например: *dīrba* «работает, -ют», *tēka* «течет, текут», *lāukia* «ожидает, -ют», *šaiķia* «призывает, -ют» и др.). Редукция закрытого конца слова с выпадением безударного краткого гласного *a* в именном окончании *-as* спорадически наблюдается и в других юго-западных аукштайтских говорах, распространенных еще дальше к югу, например, в окрестностях Виштитиса и др. [10, с. 149, 152].

О том, что отпадение безударного древнего краткого *-a* в форме 3-го лица глаголов наст. времени является более поздним, чем его выпадение в именном окончании им. падежа ед. числа, свидетельствуют и данные приморского литовского говора бывшей Восточной Пруссии, приведенные Г. Геруллисом и Х. Стангом. Так, словоформы *bāts ~ bādas* «голод», *mēts ~ mētas* «пора; год», *rākts ~ rāktas* «ключ», *krāsts ~ krāstas* «край», *mēgstas ~ mēgstas* «вязаный» и др. [11, с. 28—29], записанные с краткими ударными *a, e* во вторичных конечных слогах, указывают на то, что в данном говоре гласный *a* в именном окончании *-as* исчез еще тогда, когда ударные древние краткие *a, e* в основе слова сохраняли свою исконную краткость, т. е. произносились кратко.

Необходимо также подчеркнуть, что древний краткий *-(i)a* в окончании формы 3-го лица наст. времени данного говора не во всех глаголах исчез одновременно. На это указывает следующее обстоятельство: после отпадения конечного *-a* в данной форме гласные *a, e* во вторичном окончании этого говора обычно произносятся кратко: *kās ~ kāsa* «копает, -ют», *vēd ~ vēda* «ведет, -ут», *lēk ~ lēkia* «летит, -ят», но эти же гласные аналогичного окончания в сочетании с *l, m, n, r* уже произносятся долго и не образуют с последними вторичного дифтонгического сочетания (*bār ~ bāra*

«ругает, -ют», *kāl ~ kāla* «вбивает, -ют», *gēr ~ gēria* «пьет, -ют», *kēl ~ kēlia* «поднимает, -ют») [11, с. 50]. Все это явно свидетельствует о том, что конечный *-a* данной формы после *l, m, n, r* исчез позже, уже после удлинения ударных *a, e* в середине слова, а во всех остальных случаях — раньше, до этого удлинения.

В южножемайских говорах окрестностей Куршенай, Шаукенай, Куртувенай, Ужвентиса (Шяуляйский и Кяльмский р-ны) древний долгий \**ē* в безударном окончании им. падежа мн. числа имен существительных и прилагательных сократился до краткого *e* (*kārves ~ kārvēs* «коровы», *rūopes ~ rūpēs* «репы»), а в род. падеже ед. числа — превратился в гласный *i* (*kārvis ~ kārvēs*, *rūopis ~ rūpēs*). Подобное различие в тех же самых падежных окончаниях наблюдается и в северножемайских смежных говорах окрестностей Папила (Акмянский р-н) и Рауденай (Шяуляйский р-н), ср: *kārves ~ kārvēs* «коровы» (род. п. ед. ч.) и *kārves ~ kārvēs* «коровы» (им. п. мн. ч.)

Указанное различие в окончаниях, по-видимому, возникло по причине их одновременного сокращения: гласный *ē* окончания им. п. мн. ч., как баритонированных, так и окситонированных слов, будучи всегда безударным, сократился раньше, нежели *ē* окончания род. п. ед. ч., которое в примерах окситонированных слов является ударным. В связи с этим уместно сравнить аналогичное произношение безударного гласного *u* в окончаниях род. п. мн. ч. и вин. п. ед. ч. в некоторых жемайтских и западноаукштайтских говорах. В окрестностях Гиркальниса (Расяйнский р-н), Юрбаркаса, Ваджгириса, также Пауписа, Эржвилкаса (Юрбаркский р-н) и соседних, например, долгий *u* (< *-un*) в вин. п. ед. ч. всегда произносится кратко (например: *grāžu ~ grāžū* «красивый, красивого», *sūnu ~ sūnu* «сына» и др.), так как окончание вин. п. ед. ч. всегда безударное, а этот же самый безударный конечный *u* баритонированных слов в род. п. мн. ч. здесь произносится долго (например: *vīgu ~ vūgu* «мужчин», *lāpu ~ lāpu* «листьев»), так как его долготу «охраняет» соответствующее долгое ударное окончание окситонированных слов, например: *laukū ~ laukū* «полей», *mažū ~ mažū* «маленьких» [2, с. 216].

Обращает на себя внимание тот факт, что в южножемайском говоре в окрестностях Расяйнй и к нему прилегающем говоре северо-западных аукштайтов безударное окончание *-ēs*, как в род. п. ед. ч., так и им. п. мн. ч., произносится совершенно одинаково как краткий *-es*, например: *kārves ~ kārvēs* «коровы» (род. п. ед. ч. и им. п. мн. ч.), *pēmpes ~ pēmpēs* «чибиса; чибисы».

Причиной такой унификации окончаний скорее всего является их одновременное сокращение. Вместе с тем здесь могло сказаться и аккомодационное влияние твердого конечного *-s*, под влиянием которого широкий *e* в этих говорах превращается в продвинутый вперед гласный *a*<sup>2</sup>.

В южножемайских говорах окрестностей Куршенай, Шаукенай, Куртувенай, также Расяйнй безударный гласный *-ē* абсолютного конца слова, как известно, превратился при сокращении в краткий *i*, например: *lāpi ~ lāpē* «лисица», *sāki ~ sākē* «сказал, -ла, -ли» и др. В данном случае (в открытом окончании) аккомодационное влияние твердого конечного согласного отсутствовало, поэтому конечный безударный *e* мог сузиться раньше, до сокращения окончания, но оставаться все же долгим и лишь позже при сокращении мог превратиться в краткий *i*.

Последнее предположение поддерживают аналогичные диалектные данные северножемайского говора окрестностей Крятинга, в котором вместо безударного древнего \**ē* в абсолютном конце слова имеется более узкий *e* (*žēme ~ žēme* «земля», *māte ~ mātē* «видел, -ла, -ли»), а в закрытом,

<sup>2</sup> В этой связи уместно обратить внимание на противоположное явление в юго-западных аукштайтских говорах окрестностей Вилкавишкиса, Шакайя, Кудиркос, Пауместиса (Шакайский р-н) и соседних, когда ударный *e* (как и *a* после мягких согласных открытого слога скорее всего из-за отсутствия любого аккомодационного влияния) произносится более узко, с оттенком дифтонга *ie*, например: *nīša ~ nēša* «несет, -ут», *vīda ~ vēda* «ведет, -ут», *giēras ~ gēras* «добрый»; *keliēvo ~ keliāvo* «путешествовал, -ла, -ли», *važiēvo ~ važiāvo* «ехал, -ла, -ли», *trečiēdienis ~ trečiādienis* «среда» и др.

где возможно аккомодационное влияние конечного твердого -s, произносится более широкий гласный *e*, например: *kātes* ~ *kātēs* «кошки» (им. п. мн. ч.), *žemes* ~ *žēmēs* «земли» (род. п. ед. ч.) и др. [1, с. 75].

На наш взгляд, сужение в северножемайтских говорах гласного *e* (восходящего к *-ē*, *-e*, *-iā*, *-ēn*) в конечных слогах тоже является следствием редукции [12, с. 97—100]. Данное мнение подтверждается фактами южножемайтского говора окрестностей Лаукувы, Шилале и др., где такой *e* произносится только в безударном окончании, например: *kāte* ~ *katē* «кошку», *būste* ~ *būste* «вы будете», но *kātē* ~ *katē* «кошкой», *kātēs* ~ *katēs* «кошки», *lāukē* ~ *laukē* «на поле» и др.

Переход безударного конечного долгого \**ē* в *i* (через ступень *e*), как и ранее упомянутое превращение безударного краткого *e* в *e*, является несомненным результатом редукции.

В говорах литовского языка имеется немало случаев, когда гласные переднего ряда или гласные, продвинутые вперед, вследствие редукции преобразуются в гласные типа *i*. В качестве примера этого прежде всего может служить превращение безударного долгого конечного *ē* (через ступень *e*) в краткий *i* в западноаукштайтском велюонском говоре, превращение всех современных конечных гласных, следующих после мягких согласных, в редуцированный *i* в восточноаукштайтских южнопаневежских говорах.

В итоге можно сказать, что в процессе редукции гласные звуки переходят в более узкие. Этот вывод подтверждают и данные исследований Э. Зинкявичюса, согласно которым в южнопаневежском говоре даже *-a*, *-u* и другие конечные гласные в процессе редукции превратились в узкий *v* [13, с. 60].

Безударные конечные гласные севернопаневежских говоров, следующие после мягких согласных, вследствие редукции превратились в бормочущие гласные [1, с. 119—120; 2, с. 276] скорее всего через ступень краткого (или редуцированного) *i*. На такую мысль наводят примеры диалектных текстов А. Баранаускаса, записанные в окрестностях Биржай, например: *k'āli* ~ *keliū* «дорогой», *numirdāmi* ~ *numirdamī* «умирая», *mīslis* ~ *mīslis* «мысли» (вин. п. мн. ч.), *szn'āki* ~ *šnekī* «говоришь» и др. [14, с. 85—86]; они также убедительно говорят о том, что сравнительно недавно современные краткие конечные гласные в биржайском говоре еще не были так сильно редуцированы, как это имеет место в настоящее время, а произносились как редуцированные, т. е. подобно тому, как в настоящее время они произносятся на территории южнопаневежских говоров.

Данное положение полностью подтверждается и диалектными фактами этих говоров, приведенными К. Яунюсом (1897). Во времена К. Яунюса, например, в окрестностях Пасвалиса (севернопаневежский говор восточных аукштайтов) конечные краткие гласные еще сохраняли свои качественные особенности, т. е. еще не были бормочущими звуками, какими они оказываются в настоящее время [15, с. 135—138].

**М о н о ф т о н г и з а ц и я д и ф т о н г о в.** В говорах литовского языка имеются случаи монофтонгизации дифтонгов *ie*, *uo*, *ai*, *ei*, *ai*, *ei*. Монофтонгизация последних в определенных случаях наблюдается в жемайтских, в западно- и восточноаукштайтских говорах. Она обычно является результатом или различной редукции одного из компонентов дифтонга, или редукции обоих его компонентов и их слияния в один гласный звук (в конце слова некоторых восточноаукштайтских говоров).

В жемайтских говорах монофтонгизируются конечные дифтонги *ai*, *ei*. При монофтонгизации они образуют долгие гласные *a*, *e* [2, с. 198—202, 170—171]. Так как указанные дифтонги монофтонгизируются как в говорах, в которых сила голоса сильноконечной (протяжной) интонации сосредоточивается на первом компоненте дифтонга, так и в говорах, где сила ее голоса падает на второй компонент (говор окрестностей Куршенай, Куртувенай, Кяунорай, Кяльме и др.), нельзя согласиться с мнением К. Яунюса, что монофтонгизация зависит только от жемайтских различных (прерывистой и протяжной) слоговых интонаций [15,

с. 170—171]. В связи с тем, что второй компонент дифтонгов *ai*, *ei* при произношении йотирован, а конечный *-j* (*-i*) после гласных в жемайтских говорах исчез, по-видимому, остается в силе точка зрения, согласно которой монофтонгизация этих дифтонгов в конце слова скорее всего совпала с процессом исчезновения конечного *j* (*i*) после гласных [2, с. 201].

Однако необходимо подчеркнуть, что в середине слова в большинстве жемайтских говоров монофтонгизация *ai*, *ei* зависит только от жемайтского акута и циркумфлекса [2, с. 201].

В литовских говорах бывшей Восточной Пруссии ударные дифтонги *ai*, *au*, *ei* с акутовой (прерывистой) интонацией превратились в долгие монофтонги *a'*, *e'*, например: *dákts ~ dáiktas* «вещь», *paáškina ~ paáiškinu* «объяснил, -ла, -ли», *gal'ásei ~ galiáusiai* «наконец, окончательно», *gásim ~ gáusim* «получим», *láks ~ láuks* «будет, -ут ждать», *sále ~ sáulė* «солнце», *š'áre ~ šiaurė* «север», *ákšts ~ áukštas* «высокий», *áksas ~ áuksas* «золото», *trumpėsei ~ trumpiáusiai* «короче всего»; *aplėsti ~ aplėisti* «запустить» (дер. Рауджяй вблизи Рагайне, сейчас Неман Калининградской обл. РСФСР). Однако в абсолютном конце слова акутовые дифтонги *ái*, *áu*, *éi* в этом говоре монофтонгизации не претерпели, например: *žinái* «ты знаешь», *buváu* «я был», *matéi* «ты видел». Монофтонгизация в рагайнском говоре, по-видимому, связана с прерывистой интонацией, с которой гласные, а также и первые компоненты дифтонгов произносятся как своего рода удвоенные гласные [2, с. 88]. В связи с этим второй компонент таких дифтонгов теряется и таким образом дифтонг редуцируется.

Безударные и ударные с циркумфлексной интонацией дифтонги *ai*, *au*, *ie*, *uo*, *ei* в конце слова в восточноаукштайтских паневежских говорах монофтонгизировались в узкие краткие гласные *e*, *o*, *e*, *o*, *e*. Такая монофтонгизация не является древней; по всей вероятности, она происходила после сокращения окончаний местн. п. ед. ч. имен с основой на гласную *-ā* и *-ē*, т. е. после исчезновения в конце слова *-j* (*i*) после гласных. Подтверждением этого может служить и тот факт, что на сравнительно большой территории этих говоров именные формы указанных основ в дат. и местн. падежах ед. ч. произносятся совершенно одинаково, например: *ruñke ~ rañkai* «руке» и *rañkoje* «в руке» (Биржай) [1, с. 92].

Следует отметить, что конечные дифтонги этих говоров, произносимые с акутовой интонацией, монофтонгизации не подвергались, например: *katrái* «которой» (дат. п. ед. ч.), *geresnėi* «лучшей» (дат. п. ед. ч.) [1, с. 92].

Дифтонги *ai*, *au*, *ei* этих говоров превратились в краткие монофтонги несомненно через ступень редуцированных дифтонгов *ai*, *au*, *ie*, все еще произносимых на южных окраинах территории, например: *laukaĩs ~ laukaĩs* «полями», *lietaĩs ~ lietaĩs* «дождя» (род. п. ед. ч.) *rašĩĩ ~ rašeĩ* «ты писал, -ла» [1, с. 92—93, 119—120].

Обращает на себя внимание тот факт, что в других восточноаукштайтских говорах при монофтонгизации дифтонги не полностью теряют свою исконную долготу. Так, в окрестностях Кирдейкяй (Утянский р-н), Скудутишкиса (Молетский р-н), Лабанораса (Швянченский р-н) безударный *uo* основы слова при монофтонгизации превратился в полудолгий *o* (как и в купишкском говоре), например: *jo.dũmas ~ juodũmas* «чернота», *po.dėlis ~ puodėlis* «кружка», *so.lā.li.s ~ suolėlis* «скамеечка». Это говорит о том, что монофтонгизация не везде характеризуется одинаковой интенсивностью.

В заключение следует подчеркнуть, что монофтонгизация дифтонгов как в жемайтских, так и аукштайтских говорах прежде всего тесно связана с концентрацией силы голоса при интонировании гласных звуков. В жемайтских формах монофтонгизация дифтонгов происходит за счет второго компонента, так как их акут и циркумфлекс свою силу голоса концентрируют на первом компоненте, в аукштайтских же — за счет первого компонента, так как их циркумфлекс свою силу голоса концентрирует только на втором компоненте.

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Zinkevičius Z.* Lietuvių dialektologija. Vilnius, 1966.
2. *Grinaveckis V.* Žemaičių tarmių istorija (Fonetika). Vilnius, 1973.
3. *Grinaveckis V.* Dėl lietuvių kalbos tarmių balsio *e* pakitimo heterosilabinių *m, n* aplinkoje.— *Baltistica*, 1977, II priedas.
4. *Jonikas P.* Pagramančio tarmė. Kaunas, 1939.
5. *Salys A.* Lietuvių kalbos tarmės. Tübingenas, 1946.
6. Lietuvių kalbos atlasas. T. I. Vilnius, 1978; T. II. Vilnius, 1982.
7. *Zinkevičius Z. M.* Petkevičiaus katekizmo (1598 m.) tarmė. — *Baltistica*, 1971, VII(1).
8. *Grinaveckis V.* Galūnių trumpėjimas lietuvių kalbos tarmėse.— Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Mokslo darbai, 1959, t. VIII.
9. *Grinaveckis V.* Žemaičių tarmių žodžio galo dėsnių susiformavimas.— *Kalbotyra*, 1963, t. IX (1).
10. *Senkus J.* Kapsų-zanavykų tarmių būdvardžio ir skaitvardžio kaitybės bruožai.— *Lietuvių kalbotyros klausimai*, 1960, t. 3.
11. *Gerullis J. Stang'as Chr.* Lietuvių žvejų tarmė Prūsijoje. Kaunas, 1933.
12. *Girdenis A.* Atvirasis *e* varduviškių (kalvariškių) vardažodžio galūnėse.— *Kalbotyra*, 1972, t. XXIV(1).
13. *Zinkevičius Z.* Lietuvių kalbos dialektologija. Vilnius, 1978.
14. *Baranowski A.* Litauische Mundarten. Bd. I. Leipzig, 1920.
15. *Drotvinas V., Grinaveckis V.* Kalbininkas Kazimieras Jaunius. Vilnius, 1970.

**КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ**

**ОБЗОРЫ**

**АЛЕКСАНДРОВА О. В., МИНАЕВА Л. В., МИНДРУЛ О. С.**

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА  
НА XIII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ЛИНГВИСТОВ**

29 августа — 4 сентября 1982 г. в Токио проходил XIII Международный конгресс лингвистов. Было проведено 8 пленарных заседаний, 20 секционных встреч и 24 заседания рабочих групп [1, 2]. В работе конгресса приняли участие видные языковеды мира. На конгрессе присутствовала советская делегация, которую возглавляла чл.-корр. АН СССР проф. В. Н. Ярцева.

Характеризуя доклады и сообщения в целом, можно отметить общее признание несостоятельности теории трансформационно-генеративной грамматики для собственно языковедческих исследований и обращение лингвистов к историзму и изучению фактов языка и речи.

В большинстве докладов, посвященных синтаксису, подчеркивается необходимость рассмотрения не отдельно взятых отрывков текста или предложений, но целых текстов, т.к. только на этой основе можно понять реальное функционирование синтаксических единиц. Так, Т. Г и в о н (Орегон) в докладе «Типология и функциональные сферы» (Typology and functional domains) показал соотношение формы и функции в синтаксисе. Кодовая система в синтаксисе — это структура, состоящая из комбинации кодирующих устройств: последовательности слов, морфологии и интонации. Единицей сообщения в синтаксисе является некоторая функция, определяемая как обработка (processing) информации. Синтаксическая типология поэтому изучает двоякие структуры — внутриязыковые и межъязыковые. Автор подчеркивает, что до недавнего времени практика синтаксической типологии сводилась к выделению синтаксической структуры, кодирующей одну функциональную область, — основного информативного отрезка речи («простое предложение»). Однако эта сфера не была определена в ясных функциональных терминах. В докладе сделана попытка предложить критерии для определения так называемых функциональных сфер («functional domains»). При этом подчеркивается, что основой синтаксической типологии является точное определение сферы, типологического изучения. Много внимания уделяется типологии пассивных конструкций.

Доклад С у с у м у К у н о (Гарвард) называется «Принципы синтаксического вычленения отрезков речи» (Principles of discourse deletion). Как известно, принцип, обозначаемый термином «deletion», заключается в том, что можно изъять какие-то части предложения, не нарушив при этом его синтаксического строения и семантики. В работе объясняется, в каком порядке могут производиться эти «изъятия». Главным фактором, определяющим порядок «изъятий», является фактор сопоставления «более важного/менее важного», с одной стороны, и «более нового/более старого» — с другой, причем, по мнению автора, главенствующее значение имеет первый фактор. Возможность «изъятия» (опущения) отдельных элементов в высказывании проверяется автором на конкретном материале. Для этого им вводится понятие «восстановимости/невосстановимости» (recoverable/unrecoverable) тех частей, которые изымаются. Автор подробно

рассматривает взаимодействие между семантико-синтаксическими категориями и теми формальными ограничениями, которые накладывает на речь та или иная система синтаксиса. Автор считает, что детальное исследование материала откроет новые пути для работы, направленной на изучение взаимодействия речи и тех ограничений, которые накладываются на построение речи языком.

Доклад М а с а й о с и С и б а т а н и (Кобе) называется «К вопросу о понимании типологии и функции падежной маркированности» (Toward an understanding of the typology and function of case-marking). До сих пор считалось, что падежные функции определяют грамматические отношения существительных в предложении. Исследования последних лет пролили свет на взаимоотношения между падежными и другими грамматическими отношениями. Вместе с тем были определены и другие функции показателей падежа. Изучая это явление, автор показывает, что основной функцией падежных показателей является различительная функция.

В разделе «Синтаксис» особенно интересными были доклады А. К ю л и о л и (Париж) «Роль металингвистических репрезентаций в синтаксисе» (Rôles des représentations métalinguistiques en syntaxe). Автор определяет языкознание как науку, предметом которой является речь, воспринимаемая через различие естественных языков. Он предлагает систему терминов, при помощи которых могут обозначаться синтаксические явления.

Наибольший интерес для синтаксиса представляют два других доклада: С. Д и к а (Амстердам) «Некоторые основные принципы функциональной грамматики» (Some basic principles of functional grammar) и Р. Х а д с о н а (Лондон) «Грамматика слова» (Word grammar). В своем докладе С. Дик развивает идеи, представленные им еще в статьях 1978 г.

С функциональной точки зрения язык рассматривается как инструмент, используемый людьми в целях общения. Функциональная грамматика описывает факты языка с точки зрения их использования в данном произведении речи в данных условиях, т. е. с точки зрения их способности передавать определенные сообщения. Но это не сводит функции грамматики к отдельно взятому предложению, потому что функциональная грамматика разъясняет, как предложения соединяются в связные тексты. Функциональная грамматика должна, естественно, быть тесно связана с психолингвистикой, потому что она придает важное значение функционированию в речи различных аспектов языка. Автор исходит из того, что большой интерес для синтаксистов представляет грамматика слова. Как подчеркивает С. Дик, последние 20 лет ознаменовались поисками основных направлений в изучении синтаксиса, а именно обобщением фактов и отображением их в виде тех или иных грамматических систем и стремлением соединить, сблизить процессы, осуществляющиеся в мозгу говорящего и слушающего. Теория, предложенная автором, называется «word grammar», потому что в качестве основной единицы синтаксиса и семантики принимается слово. Автор подробно останавливается на природе структуры предложения. Любое предложение структурируется на трех лингвистических уровнях: семантическом, синтаксическом и формальном (при этом форма может быть как фонологической, так и графологической). Одним из преимуществ создания грамматики на основе слова является то, что с ее помощью легко соотнести эти три уровня, поскольку слово является воплощением формы, содержания и синтаксической принадлежности. В задачи грамматики слова входит соединение слов в предложения, причем «грамматические отношения» считаются основополагающими для синтаксиса.

Кроме пленарных докладов, на конгрессе было также много выступлений на секциях и в рабочих группах. Среди наиболее интересных можно упомянуть сообщение Н. Д а н и э л с е н а (Оденс) «Распространенный анализ предложений в естественном человеческом языке» (A dissemination analysis of human language sentences), где рассматривается синтаксическая роль глагола в человеческом языке. В сообщении П. С г а л л а (Прага) говорилось о понятии смысла предложения.

Подводя итог докладам в области синтаксиса и семантики, следует отметить наметившийся поворот в сторону историзма. Историзм прежде всего предполагает использование сравнительно-исторического метода, доказавшего свою жизнеспособность. Кроме того, широкий отклик в последнее время получили сравнительно-типологические исследования на базе историзма. В этом плане большой интерес представило сообщение В. Н. Ярцевой о типологических ограничениях синтаксической двойственности. В докладе подчеркивается, что изучение синтаксически двойственных (ambiguous) конструкций обычно основывается на их семантическом значении. Однако не меньше внимания следует уделить морфологическим свойствам членов синтаксически двойственных предложений. В течение некоторого времени считалось, что синтаксис может расщепляться как средство, создающее новые морфологические явления. Однако совершенно очевидно, что изменения, происходящие в структуре языка, намного сложнее, чем простое замещение одного структурного приема другим. Только результаты очень тщательного типологического исследования могут прояснить синтаксически двойственные конструкции. Распределение типологически сходных элементов в рассматриваемом языке очень важно, потому что некоторые элементы могут совпадать в двух языках, но их функциональное значение обычно различно.

Много внимания в докладах и сообщениях на конгрессе уделялось взаимоотношению методологии и истории в языкознании. Были представлены библиографические обзоры по разным разделам языкознания, по разным языкам. Безусловно, большой интерес представил доклад В. П. Вомперского о новых открытиях в истории русского языкознания XVII—XVIII вв. (From the history of Russian linguistics: some new discoveries). Традиционным является мнение, что начало русскому языкознанию положил М. В. Ломоносов. Однако это не совсем так. Были обнаружены работы, появившиеся еще в XVII в.: рукописная риторика Макария, риторика Михаила Усачева, ряд исторических сочинений Андрея Белободского и др. Эти работы, как показал в своем докладе В. П. Вомперский, имеют принципиальное значение для становления русского языка и его нормализации.

Следует отметить также работу секции лингвистической географии и ареальной лингвистики, где выступил с докладом член советской делегации чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебряников. Его доклад был посвящен изучению зон значения (On areas of meanings). В качестве объекта исследования им было выбрано шесть угро-финских и тюркских языков северо-восточной части СССР — коми-зырянский, удмуртский, марийский, татарский, башкирский и чувашский. Докладчик выделил специфические связи значений, присущие языкам данной зоны. Например, глагол «мыть» означает также «сыпать», глагол «сидеть» одновременно означает «быть расположенным» и т. д. В указанной зоне наблюдаются также и специфические зональные грамматические значения. Например, возвратный залог одновременно имеет значение греческого медиума, во всех языках зоны существует эмфатический имперфект. Изучение зон специфических значений представляет большой лингвистический интерес. Особенно важным является изучение причин указанных явлений и особенности их изоглоссы.

Специальное пленарное заседание, а также ряд докладов на секции «Семантика слова» (Word semantics) были посвящены проблемам анализа лексического значения. Вопрос о сложностях, с которыми сталкивается исследователь в процессе работы над внутренней стороной слова, был сформулирован в пленарном докладе О. С. Ахмановой «Семантика» (Semantics). Значение слова идеально и не поддается прямому наблюдению. В разных языках слово может включать в себя то больше, то меньше понятийного материала, поэтому, исследуя слово, необходимо большое внимание обращать на его форму, определяемую разными системами национальных языков. Эта мысль перекликается с соображениями, изложенными в ряде секционных докладов [ср., например, доклад М. Г. де Бурга (Утрехт) о словарном описании служебных слов (A le-

xical entry for function words: the Italian preposition *da*]). Как показывают сопоставительные исследования лексических систем разных языков, именно это свойство слова и создает значительные трудности, в частности, при создании словарей синонимов [ср. доклад К. Р о б е р д ж а «Составление словаря, относительно семантических трудностей, возникающих у японцев при изучении французского языка» (The making of a dictionary, concerning the main semantic difficulties met by Japanese learners of French)]. Понятно, что в значении слова входит не только отражение понятия, но и его социолингвистическая оценка, что также следует учитывать [ср. доклад В. К ю л ь в а й н а (Трир)] «Социосемантический подход к контрастивной лексикологии: понятие „красота“ в английском и французском» (A sociosemantic approach to contrastive lexicology: «beauty» in English and French).

Все еще не решенным вопросом остается проблема обнаружения взаимно-однозначного соответствия между содержанием и выражением в слове как основной единице языка. Понятно, что для правильного подхода к решению этой проблемы необходимо прежде всего составить себе ясное представление о характере различных «обозначаемых». В докладе подчеркивается, что онтологические слова различаются, и это необходимо учитывать при изучении диалектической связи содержания слова с его выражением. В этой связи интересен секционный доклад Л. В. М и н а е в о й «Семасиологический анализ слова в свете теории лексикологической фонетики» (The semasiological analysis of a word in terms of lexicological phonetics), где показано, что значение слова находит выражение в его просодии. При этом, как подчеркивает автор, семасиологическое изучение слова должно быть теснейшим образом связано с лексикографической практикой, поскольку только практика может дать ответ, насколько тщательно был проведен семантический анализ того или иного слова.

Вопросом о семантических компонентах слова занимались ученые разных направлений и взглядов. Первоначально интересные результаты были получены антропологами. Много сделал для развития этого направления Ю. Найда, изучавший трудности перевода, обусловленные культурно-историческими особенностями словарного состава разных языков. Но основная проблема, т. е. пути и возможности соотнесения постулируемых компонентов слова с планом выражения, остается нерешенной. Именно этим и объясняются попытки разработать другие методы анализа слова [ср., например, секционный доклад А. Б у р к х а р д т а (Дармштадт) «Принципы прагматической семантики слова» (The principles of pragmatic word semantics)] или модернизировать метод компонентного анализа [ср. секционный доклад С. Н а г а р а (Мичиган) «Компонентный анализ лексической структуры гибридных языков и социолингвистические факторы, влияющие на овладение ими» (Componental analysis of the lexical structure of pidgin languages and socio-linguistic factors affecting their acquisition)]. В этой связи следует остановиться на докладе Э. К о с е р и у (Тюбинген) «За и против семного анализа» (Pour et contre l'analyse sémique), в котором проводится мысль о том, что необходимо тщательно различать умозрительное выделение в слове легко вычленяемых компонентов и исследование значения слова, опирающееся на строгие структурные методы. Исходным моментом для Э. Косериу является положение о том, что «означаемое» (signifié) задано знанием языка (*la connaissance de la langue*), что «первичные лексемы соответствуют единичным интуициям, и они ни в каком смысле не являются результатом сложения заранее заданных дистинктивных признаков». Выделение сем (или семантических компонентов значения слова) становится возможным в определенной степени, по мнению Э. Косериу, если продолжать развивать методы структурного анализа. В докладе большое внимание уделяется описанию различных структур лексического означаемого. Это — парадигматические структуры, среди которых выделяются два первичных типа — поле и класс [например, поле прилагательных, означающих температуру (*froid, tiède, chaud*), и класс одушевленных и неодушевленных существительных] и три вторичных, которые соответствуют трем способам образования слов, — модификации,

развитию и сложению. Последний способ — сложение — может быть «пролексематическим» (обобщающим) и «лексематическим» (уточняющим). Кроме парадигматических структур, выделяются структуры синтагматические, подразделяющиеся на три типа: общность (affinité), избирательность (sélection) и импликация (implication).

В докладе М. Б и р в и ш а (Берлин, ГДР) «Формальная и лексическая семантика» (Formal and lexical semantic) излагается методика изучения значения, опирающаяся на законы математической логики. Хотя, судя по заглавию, доклад должен был бы быть посвящен обсуждению вопросов, связанных с анализом слов а, М. Бирвиш начинает с пространного рассуждения относительно значения п р е д л о ж е н и я. На первый взгляд может показаться, что это и есть единственно правильное решение вопроса, поскольку, если задача языковеда заключается в изучении реальных произведений речи, в которых функционирует слово, то, безусловно, следует начинать с синтаксиса, с того, как соединяются в потоке речи разные элементы языка. Но анализа речи в этом докладе нет. Все рассуждение строится на нескольких предложениях, рассматриваемых вне контекста. При этом основным является не языковедческое изучение способов выражения содержания-намерения, а логический разбор смысла предложения, который представлен в виде целой последовательности формул и уравнений. Предлагаемый семантический анализ слова осуществляется суммарно и, что самое главное, в полном отрыве от лексикографической практики. Научное описание значения сводится к тому, чтобы создать новые способы формальной репрезентации, которая дала бы ясный эквивалент идеального содержания слова. Сделать это автору не удается. Поэтому проблемы семантики постепенно исчезают и уступают место рассуждениям, касающимся соотношения языка и мышления. Эта часть доклада представляет собой еще одну попытку обосновать априорно-дедуктивный подход к явлениям языка, который уже получил критическую оценку в целом ряде отечественных и зарубежных работ.

В докладе Р. Ш а н к а и др. (Йейл) «Интеграция семантики и прагматики» (Integrating semantics and pragmatics) утверждается, что плодотворное изучение значения слова возможно тогда, когда ученый принимает во внимание такие факты, как особенности истории и культуры общества, говорящего на данном языке, фоновое знание, касающееся условий жизни этого общества, и т. п. Иначе говоря, нельзя ограничиться только системно-структурным анализом слова, необходимо учитывать психолингвистические, социолингвистические и экстралингвистические моменты. Этот подход заслуживает внимания, т. к. он опирается на принцип глобальности и идиоматичности слова. Но хотя в целом идея связи и взаимодействия разных наук, имеющих отношение к изучению поведения индивида в обществе (психолингвистики, теории памяти, нейролингвистики, поведенческих наук), может быть принята, отрицательная сторона этого подхода состоит в том, что и здесь теоретические выводы оказываются оторванными от лексикографии. За ними также не стоит большого лексикологического исследования.

На XIII конгрессе лингвистов вопросам соотношения фонетики и фонологии были посвящены пленарные заседания. Ю. Х е н д е р с о н (Лондон) выступила с докладом, название которого говорит само за себя: «Фонетика и фонология в 80-е годы: перспективы и проблемы» (Phonetics and phonology in the eighties : prospects and problems). Основными вопросами, требующими внимания лингвистов в настоящее время, как утверждает докладчик, являются проблемы соотношения фонетики и фонологии и природы фонологических единиц. Подвергая критике целый ряд положений генеративной фонологии и звуковой модели языка, господствовавших на Западе в 70-е годы и усугубивших отрыв фонетики от фонологии, Ю. Хендерсон вскрывает причины, побуждающие лингвистов в настоящее время ставить вопрос о необходимости сближения фонетики и фонологии. Однако данная в докладе характеристика некоторых направлений и отдельных исследований в современной фонологии (таких, как, например, «естественная фонология» и «естественная генеративная фонология») говорит

о том, что стремление к выявлению фонетических основ фонологии все еще естественно рамками генеративных понятий. Что же касается вопроса о характере фонологических единиц, то и здесь наблюдается тенденция к переосмотру положений звуковой модели языка и отказу от них, причем дифференциальные признаки характеризуются как в артикуляторных, так и в акустических и перцептуальных терминах. Вместе с тем в работах некоторых лингвистов попытка увязать инвентарь признаков звуковой модели языка с фонетической реальностью привела к необходимости четко разграничивать фонетические и фонологические признаки, находящиеся в неодуозначном отношении друг к другу. Генеративисты исключали из фонологии слог, тональные группы, фонологические фразы. Интерес к этим единицам сейчас все более возрастает, т. к. явления просодии и ритма не могут быть решены на сегментном уровне. В этой связи возникает еще одна проблема — соотношение сегментного и сверхсегментного «яруса» в фонологии. Так, в рамках «автосегментной фонологии» происходит отказ от термина «сверхсегментный» как вводящего в заблуждение: высокая тона, например, может рассматриваться как последовательность тоннальных сегментов. Что же касается соотношения уровней, то они парадоксальны и не находят в взаимно-однозначном соотношении. Обращение к таким параметрам, как тон, интонация, гармоническая структура гласных, назальность, характерно для автосегментной фонологии, но, в отличие от просодической фонологии Фрса, также имеющей дело с этими параметрами, автосегментная фонология остается в основном сегментной и рассматривает тональные контуры как последовательность статических признаков: высоких и низких тонов. До сих пор совершенно не рассматривался вопрос о темпе речи в рамках фонологической теории. Некоторые исследователи, как отмечает Докладчик, обращают внимание на необходимость учитывать временные характеристики при реализации различных сегментных звуков как индентно им присущие. Большой интерес, по мнению Ю. Хендерсона, представляет динамическая несегментная фонология Т. П. Триффена, который отказывается от понятия сегмента как последовательности звуков на основе соотношения звуков речи с алфавитом. Творя о последовательном развитии идей Фрса, Триффен предлагает трехстороннюю систему, в которой гласные выступают как слоговая основа, реализующаяся параллельно с лабиринтными и консонантными признаками. Понятие аллофона, таким образом, устранилось, т. к. варианты можно рассматривать как одновременно артикуляторные признаки в соотношении и фонетикой и исчезает.

Докладчик И. Л. е х и с т е (Отайо) «Роль просодии во внутренней организации предложения» (The role of prosody in the internal structuring of a sentence) подтверждает мысль Ю. Хендерсона о возрождении интереса к просодическим явлениям, не получившим объяснения в рамках генеративной теории. В докладе дан обзор исследований последних лет, посвященных изучению роли различных просодических явлений во внутреннеязычной организации предложения. Изначально признан ритм английской речи вании ударных слогов как отличительный признак ритма английской речи до сих пор остается предметом обсуждения. Результаты различных экспериментально-фонетических исследований, по наблюдению И. Лехисте, как подтверждаются, так и опровергаются данными Д. Абергрома, Виска-занниче им еще в 1964 г. Однако изучение роли этого явления в синтаксической организации предложения позволяет И. Лехисте прийти к убежденным выводам о правомерности выделения в качестве минимальной ритмической единицы слога, а чередование ударных слогов рассматривать как изохорное. Однако в вопросе об изохорности есть еще много неясного. Так, в результате пелого ряда экспериментов было установлено, но, что при прослушивании акустических сигналов, возникающих через равные промежутки времени, слушающие не воспринимают их как изохорные, на основании чего был сделан вывод о необходимости различать акустическую и перцептуальную изохорность. Было высказано предположение о существовании так называемых «перцептуальных центров»

в слове, от которых зависит восприятие изохронности. Подтверждение этой гипотезы было получено в результате некоторых экспериментальных работ, которые позволили сделать вывод о том, что существует артикуляторная, а не акустическая изохронность; восприятие предложения как изохронного происходит тогда, когда изохронна мускульная активность речевого аппарата. Однако несмотря на целую серию экспериментальных исследований, остается неясным, что именно в акустическом сигнале несет информацию об артикуляторной изохронности.

В докладе приводятся результаты некоторых исследований, которые дают основание утверждать, что основным средством синтаксической организации предложения является темп. Так, на материале английского языка было показано, что признаком внутрифразовых синтаксических границ является увеличение интервала между ударными слогами, т. е. такое изменение темпа, которое обусловлено нарушением ритмического чередования ударных слогов. Основополагающая роль темпа доказывается в этих работах еще и тем, что эксперименты по определению внутрифразовых границ предложения проводились на материале предложений, в которых высота тона оставалась неизменной.

Давно существующее мнение о том, что интонация (мелодика) является основным средством внутренней организации предложения, оказывается опровергнутым и экспериментальными исследованиями на материале голландского языка. Изучение темпа в отличие от мелодики более определенно указывает на синтаксические границы внутри предложения, хотя наиболее верное определение слушающими синтаксических границ достигается при учете особенностей как темпа, так и мелодики в организации предложения. Вопрос о роли просодии во внутренней организации предложения, по утверждению докладчика, может и должен быть решен не только для языков с изохронным чередованием ударных слогов (таких, как английский), но и для языков, в которых такой закономерности не наблюдается (для таких, как, например, французский). Анализ соответствующих работ на материале французского языка позволяет И. Лехисте прийти к выводу о том, что между ритмической организацией английского и французского языков можно провести параллели.

Завершая доклад, И. Лехисте говорит о том, что вопрос о соотношении просодии и синтаксиса решается разными лингвистами по-разному: некоторые исследователи считают, что просодическая структура предложения не зависит от синтаксиса, другие придерживаются прямо противоположного взгляда и выводят фонетическую реализацию предложения непосредственно из синтаксиса. Мнение же И. Лехисте состоит в том, что ритмическая структура в основе своей независима от синтаксиса, но вступает с ним в различные отношения. Основным признаком, оказывающим влияние на синтаксическую организацию предложения, является темп.

Доклад Д. О х а л а (Беркли) под названием «Фонологическая цель оправдывает любые средства» (*The phonological end justifies any means*) посвящен анализу некоторых фонологических явлений, таких, как спонтанная назализация, асимметрия звуковых изменений, звуковой символизм. Исследование этих явлений, по мнению докладчика, возможно при обращении к другим областям знания — акустике, психологии, этологии. Заклучая доклад, Д. Охала делает вывод о том, что фонологию от других дисциплин отличают цели, а не методы и средства их достижения.

Большое внимание на конгрессе было уделено вопросам лингвистики текста, что свидетельствует о растущем интересе языковедов мира к этой проблеме. Обсуждались вопросы, связанные с логическим аспектом языка, выявлением признаков текста, определением роли связок в тексте. Этим вопросам посвящался, в частности, и доклад Г. В. К о л ш а н с к о г о (Москва) «Коммуникативная основа для адекватной интерпретации семантики текста» (*Communicative basis for adequate interpretation of text semantics*), в котором отмечалось, что текст следует расценивать как основную минимальную единицу коммуникации, обладающую значимой информацией.

Подводя общий итог докладам, прочитанным на Конгрессе, следует

подчеркнуть, что языковеды мира все больше обращаются в настоящее время к изучению реального функционирования речи во всем ее многообразии, учитывая как ее содержательную сторону, так и различные формы выражения. Такой подход к изучению речи дает возможность наиболее полно и плодотворно проводить языковедческие исследования.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Preprints of the plenary session papers. The XIII International Congress of linguists. Tokyo, August 29 — September 4, 1982. Organized under the Auspices of CIPL. Tokyo, 1982.
2. Abstracts of section papers and working groups. The XIII International Congress of linguists. Tokyo, August 29 — September 4, 1982. Organized under the Auspices of CIPL. Tokyo, 1982.

ЛЕЙЧИК В. М.

**НОВОЕ В СОВЕТСКОЙ НАУКЕ О ТЕРМИНАХ**  
(Обзор тематических сборников ИРЯ АН СССР)

По подсчетам специалистов, в словарях, фиксирующих неологизмы таких языков, как русский, английский, французский, чешский и т. д., термины составляют от 50 до 80 % новых слов и значений. Это значит, что в последние годы лексика этих языков пополняется в значительной степени за счет терминов. Поэтому не удивительно то пристальное внимание, которое уделяется терминологии со стороны лингвистов — специалистов по лексикологии, лексикографии, стилистике, культуре речи, не говоря уже о представителях таких наук, как философия, логика, науковедение, информатика и др. Создан ряд международных и национальных организаций, занимающихся различными теоретическими и прикладными аспектами терминологической деятельности.

Чрезвычайно важную в теоретическом и практическом плане работу проводит Институт русского языка АН СССР. За последние годы опубликован ряд тематических сборников, посвященных научно-технической терминологии.

Лингвистическому изучению терминологии посвящены четыре сборника ИРЯ АН СССР: «Исследования по русской терминологии» (М., 1971); «Терминология и норма. О языке терминологических стандартов» (М., 1972); «Терминология и культура речи» (М., 1981); «Культура речи в технической документации. На материале ГОСТов и специальной литературы» (М., 1982) (далее для краткости — 1971, 1972, 1981, 1982). К ним непосредственно примыкает сборник «Литературная норма и вариантность» (М., 1981) (далее — Вариантность), часть статей которого написана на терминологическом материале.

Общей особенностью всех этих сборников является широкий охват проблем научно-технической терминологии. Нет, пожалуй, ни одного вопроса лингвистического изучения терминов, который бы не был затронут в статьях сборников и по которому не было бы сказано новое слово. Это тем более важно, что в настоящее время по проблемам терминологии ежегодно публикуются многие сотни работ.

Хотя упомянутые тематические сборники вышли в серии «Культура русской речи», их содержание шире, чем раскрытие культурно-речевых аспектов терминов. Терминология в них рассмотрена как важная составная часть лексики современных литературных языков. Соответственно в статьях сборников всесторонне описаны семантические, формальные и функциональные особенности терминов как лексических единиц. Прежде всего эти особенности оцениваются с точки зрения лингвистической правильности, т. е. соответствия требованиям нормы литературного языка. В частности, в статьях В. П. Даниленко «Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов» (1971) и «Лингвистические требования к стандартизуемой терминологии» (1972) сформулированы семь лингвистических критериев, которым должны отвечать научно-технические термины как элементы лексической системы языка: отнесение термина-слова к одной из частей речи определенного языка; возможность использования в качестве терминов исконных, иноязычных, диалектных и просторечных слов; достижение относительной однозначности терминов при допущении некоторой семантической их вариантности (синонимии); выбор ряда словообразовательных моделей, отвечающих нормам словообразования; отдельные особенности в употреблении грамматиче-

ских категорий рода, числа, падежа при общем соблюдении грамматических норм; выполнение общих стилистических требований к лексическим единицам языка; правильность орфографического оформления терминов.

В то же время в статье В. П. Даниленко и Л. И. Скворцова «Нормативные основы унификации терминологии» (1982) делается следующий важный шаг вперед. От признания требования лингвистической адекватности термина авторы переходят к признанию «некоторой самостоятельности лингвистического критерия оценки термина» (1982, с. 7). Эта «самостоятельность» оценки зависит, по мнению авторов, от того, что терминология занимает центральное место, является семантическим ядром лексики языка науки, который признается функциональной разновидностью литературного языка на современном этапе. Именно «функциональная самостоятельность языка науки делает возможным при общей ориентации на закономерности образования и употребления слов в общелитературном языке появление самостоятельных тенденций терминообразования и терминопотребления, отличных от тенденций общелитературного языка. Это в конечном счете позволяет ввести понятие профессионального варианта нормы» (1982, с. 15). Этот вывод имеет принципиальное значение. Признание специфики профессионального варианта нормы позволяет и авторам упомянутой статьи (а они посвятили этому вопросу и другие работы, в частности, [1]), и авторам других статей последних сборников ИРЯ АН СССР решить ряд сложных вопросов изучения терминологии. Так, наряду с понятием лингвистической нормативности термина, правомерно вводятся понятие содержательной нормативности терминов, в компетенцию которой входит содержательное соотношение термина (знака) и его дефиниции, термина и понятия, реалии, а также понятие логической нормативности, под которой авторы понимают правильность иерархии понятий, отраженной в системе терминов, понятийную точность термина и т. п. (1982, с. 5). Далее, появляется возможность оценить конкретные особенности терминообразования, которые сводятся к максимальной специализации словообразующих морфем и даже целых моделей для выражения определенных значений, к увеличению регулярности определенных словообразовательных моделей, к формированию собственно терминологического словообразующего фонда и ряду других» (1982, с. 7—8). В этой же статье авторы формулируют три основных принципа отбора средств и способов образования лексических единиц в сфере профессиональной реализации системы и структуры языка: принцип актуальности, принцип целесообразности, принцип аналогичности.

Наконец, признание специфичности профессионального варианта нормы позволило по-новому сформулировать отношение к процессам упорядочения и стандартизации терминологии. Следует сказать, что отношение к этим процессам в статьях рассматриваемых сборников было неоднозначным. В первых сборниках при общем признании правомерности выпуска терминологических стандартов основной упор делался на различных ошибках, которые допускались составителями стандартов [в частности, статья Б. З. Букчиной в сборнике 1972 г. называлась «Анализ орфографических ошибок (на материале проектов терминологических ГОСТов)»]. Имело место неточное знание правил стандартизации, что отразилось даже в предисловии к сборнику 1982 г., где говорится о «проектах отраслевых ГОСТов» (на деле отраслевые стандарты в СССР отличаются от государственных стандартов — ГОСТов.) В упомянутой статье В. П. Даниленко и Л. И. Скворцова показано, что самым общим понятием в терминологической работе является упорядочение, т. е. приведение терминологии в известный специалистам порядок, причем «для упорядочения терминологии необходима ее унификация, т. е. сложная и многоаспектная работа по приведению отраслевой терминологии по возможности в систему на всех необходимых уровнях — содержательном, логическом и лингвистическом» (1982, с. 14). И далее: «Вся работа над терминологией совершается при ее унификации. И только унифицированная терминология может быть предложена для стандартизации» (1982, с. 14—12), иначе говоря, для утверждения ее «законодательным» актом в виде специального доку-

мента. Такой подход к унификации, упорядочению (хотя он и отличается от взглядов Комитета научно-технической терминологии АН СССР, который занимается в нашей стране упорядочением терминологии [2, 3]) и стандартизации терминологии позволяет рационально оценивать практическую терминологическую деятельность, проводимую во многих странах (напомним, что к 1982 г. в сорока странах было утверждено около 12 тысяч терминологических стандартов, в том числе в СССР — свыше 600 ГОСТов и около 150 отраслевых стандартов на термины). При условии выполнения «лингвистических требований к стандартизуемой терминологии» на основе критериев профессионального варианта нормы сотни тысяч стандартизованных терминов различных национальных языков могут выполнять свои важные функции в использовании достижений науки и техники.

В настоящем обзоре статье В. П. Даниленко и Л. И. Скворцова «Нормативные основы унификации терминологии» уделяется большое внимание, т. к. она имеет принципиальное значение для оценки всей концепции научно-технической терминологии, которая характерна для упомянутых тематических сборников ИРЯ АН СССР. С точки зрения этой концепции можно рассматривать различные частные проблемы, затронутые в материалах сборников.

Одно из важных мест занимает в них комплекс вопросов, связанных с изучением лексико-семантических особенностей терминов. Эти особенности проанализированы в уже упомянутых статьях В. П. Даниленко в сборниках 1971 и 1972 гг., причем более подробно — в статье «Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов» (1971). Примыкая к ряду работ того же автора и являясь как бы наброском соответствующих глав ее монографии [4], статья содержит изложение взглядов В. П. Даниленко на полисемию, омонимию, синонимию, антонимию терминов. Эти взгляды отличаются рациональностью подхода к семантическим особенностям термина. На большом фактическом материале показано, что термины, являясь элементами лексической системы определенного (в данном случае — русского) языка, обладают всеми признаками лексических единиц естественного языка, что их функционирование постоянно порождает и полисемию, и синонимию, а омонимия и антонимия присущи терминам даже в большей степени, чем другим лексическим единицам. Поэтому попытки терминологов устранить полисемию, омонимию, синонимию терминов в процессе их упорядочения и стандартизации наталкиваются на непреодолимые трудности, и автор статьи не поддерживает эти попытки.

Статья Т. Л. Канделаки «Дифференциальные семантические признаки терминов процессов техники» (1971) посвящена актуальным проблемам, связанным с мотивированностью термина. Автор, пользуясь методом ономастологии (от значения к знаку), выявляет закономерности использования дифференциальных признаков, выделяемых в значении терминов (категории процессов), для создания этих терминов. В целом этот прием дает возможность представить зависимость структуры технического термина от его значения.

Лингвистический подход к термину и его семантике реализован и в ряде других материалов сборников, в частности в статье А. А. Брагиной «Значение и оттенки значения термина» (1981), где показано, что термин связан со всей лексической системой языка, выделяясь из нее только своей специфической функцией, в связи с чем у него могут сохраняться и коннотации, которые позволяют термину затем, в процессе детерминологизации, восстановить все свои былые семантические связи.

В этом же ключе написаны и две статьи Н. Г. Михайловской (1981): «О формировании и функционировании юридической лексики» и «К вопросу о „специальных“ словах в составе лексико-семантической группы». Они посвящены так называемой общественно-политической терминологии, особенностью которой, в частности, является то, что большинство входящих в нее единиц представляет собой общеупотребительные лексемы литературного языка с известной специализацией значения. В первой

статье рассмотрены слова типа *опознать* и *опознание*. Базируясь на мысли Т. С. Коготковой о явлении «межфункционально-стилевой омонимии» [5], Н. Г. Михайловская показывает, что «двойственность» лексических единиц упомянутого типа определяется только использованием их в разных функциональных разновидностях языка. Во второй — на примере применения *verba dicendi* в современных судебных выступлениях продемонстрировано различие лексем по параметру *о б щ е л и т е р а т у р н о е — с п е ц и а л ь н о е*.

Говоря об отражении в сборниках семасиологической проблематики терминологии, следует выразить сожаление, что в них непростительно мало уделено внимания вопросу о мотивированности терминов. Этому посвящена (кроме упомянутой статьи Т. Л. Канделаки) публикация О. И. Блиновой «Термин и его мотивированность» (1981). Однако и в ней дается практически только определение мотивированности слова вообще («под мотивированностью слова понимается структурно-семантическое свойство слова, позволяющее осознать рациональность связи значения и звуковой оболочки слова на основе его лексической и структурной соотносительности» (1981, с. 30), а также определение внутренней формы слова, и ничего не говорится о мотивированности термина, которая рядом исследователей признается вторичной по отношению к мотивированности слова (мотивированность термина определяется не в сопоставлении с компонентами плана выражения термина, а в сопоставлении с единицами данного естественного языка в целом), из чего вытекает важное следствие: слово, не мотивированное в языке, став термином, приобретает мотивированность, например: *звук, вода* [6, с. 21—22]. О. И. Блинова выступает за то, чтобы количество мотивированных терминов возрастало. Эта рекомендация, хотя она и совпадает с ведущей в наше время тенденцией в терминообразовании, не может быть безоговорочно принята. Во-первых, в составе терминосистем имеется огромное количество немотивированных терминов, успешно выполняющих свои функции (автор приводит, например, термины *залог, надеж*). Во-вторых, полностью мотивированные термины обычно бывают очень протяженными по длине, что препятствует их функционированию.

Следующий круг проблем, рассмотренный в сборниках, — это *г р а м м а т и ч е с к и е о с о б е н н о с т и т е р м и н о в*. Справедливо подчеркивая, что «терминология, создаваясь и функционируя в пределах общелитературного языка, совершенно естественно, не имеет своей, отличной от него грамматической системы» (1972, с. 25), В. П. Даниленко показала, что в терминологии наблюдаются некоторые особенности в употреблении отдельных грамматических категорий (1971, 1972). Так, существительные в форме множественного числа могут лексикализироваться, отрываясь от форм единственного числа (*осадок — осадки*). Следует отметить, что этому вопросу посвящена и специальная статья Л. К. Чельцовой «Лексикографические варианты форм числа», где на материале большого количества слов, обозначающих сложные предметы и действия, имеющих вещественное или отвлеченное значение, в основном терминологического характера, показано, что в этих группах существительных происходит размежевание форм числа, в частности утрата одной из форм (*потрох*), закрепление за каждым из чисел свойственного ему особого значения (*мощность — мощности*) (Вариантность, с. 136—137).

В работах В. П. Даниленко перечислены и другие грамматические особенности терминов, в том числе в использовании различий в роде существительных (*компонент — компонента*) и т. д. После выхода в свет сборника 1971 г., а также статьи В. П. Даниленко [7], можно считать завершенной давнюю дискуссию о том, представлена ли терминология всеми знаменательными частями речи или только одной, но наиболее универсальной — именем существительным. В перечисленных исследованиях показано, что глаголы, прилагательные, наречия в состоянии самостоятельно выражать специальные понятия, а в текстах (в отличие

от словаря) понятия часто реализуются именно в личных формах глагола. Подробно характеризуется формообразование терминов-существительных, глаголов, прилагательных, в том числе качественных (1971, с. 57—66).

Большое внимание в ряде статей сборников уделено словообразовательным особенностям терминов. Пожалуй, именно в сфере терминообразования ярче всего реализуется возможность противопоставления терминов нетерминам, возможность выделения терминов как особого пласта в лексике литературного языка<sup>1</sup>. В. П. Даниленко выделяет три основные тенденции терминообразования: 1) тенденция к регулярности функционирования словообразовательных моделей, 2) тенденция к специализации словообразующего аффикса и всей модели на выражении какого-то конкретного значения, соответствующего специальному терминологическому понятию и 3) тенденция к комплексному (гнездовому) образованию слов-терминов (1972, с. 20—21). Наличие этих тенденций, действительно, подтверждается огромным фактическим материалом, приведенным как в сборниках, так и во множестве других работ. В частности, в статье Г. И. Миськевич «К вопросу выбора термина (*каротаж*)» (1982) убедительно показано, что целая терминосистема может строиться на основе некоторого центрального термина, который входит в качестве основного элемента в значительное количество терминов. Это явление языковой системности, связности терминосистемы (Э. Ф. Скороходько говорил о семантической связности) наряду с логической системностью играет важную роль в выполнении терминами и терминосистемами их познавательной, эвристической функции. Что касается регулярности способов образования терминов в пределах определенной терминологии, то и эта тенденция подтверждена в ряде материалов сборников, например, в статье Н. П. Кузьмина «Отглагольные существительные в специальной лексике (на материале лексики станкостроения, приборостроения и общего машиностроения)» (1971) и в статье В. Н. Хохлачевой «К соотношению номинативных свойств существительных и образования терминов» (1981). Приведенные в этих статьях новые материалы, относящиеся к использованию суффиксов *-ние* и *-ка*, свидетельствуют о дальнейшем развитии тенденций к специализации суффиксов в составе терминов, которые были проанализированы Г. О. Винокуром в 30-е гг. Интересна в этом плане мысль В. Н. Хохлачевой, согласно которой закрепление значения за определенной формой является причиной терминологизации производных лексических единиц (1981, с. 196).

Говоря о словообразовании в терминологии, следует упомянуть и о длительном обсуждении вопроса относительно нового явления в сфере сложных слов — о словах типа *медьсодержащий* [статья Б. З. Букчиной «*Серосодержащий, серусодержащий или серосодержащий?*» (1971) и другие ее публикации в разных изданиях]. Жизнь решила этот вопрос не так, как рекомендовано в статье 1971 г., где отвергается присоединение первого компонента сложного слова в падежной форме (типа *серусодержащий*). В настоящее время в сфере терминологии преобладает именно этот способ сложения (точнее, сращения, лексикализации словосочетаний: *кремнийсодержащий* и др.).

В кругу проблем терминообразования специальное внимание в сборниках уделено вопросу о так называемых кратких формах термина, которые, как подчеркивает В. П. Даниленко, точнее называть краткими вариантами термина. Им посвящены прежде всего статьи В. П. Даниленко «Еще раз к вопросу о кратких вариантах терминов», (1982) и В. Н. Хохлачевой «Краткие варианты терминов в ГОСТах» (1982). Здесь тщательно проанализированы пути сокращения длины терминов (аббревиация, деривация типа *воздухоприемное устройство — воздухоприемник*, лексические сокращения, образуемые путем исключения малоинформативных слов из многословных терминов). Правда, авторам следовало бы подчеркнуть различия контекстуальных и словарных кратких вариантов — ведь

<sup>1</sup> Правда, следует сказать, что в последние годы получила ряд новых убедительных подтверждений иная точка зрения, которую еще в 30-е гг. высказал Г. О. Винокур: термины — это не особые слова, а только слова в особой функции.

семантика терминов *электровакуумированный стабилитрон* и *стабилитрон*, из которых второй используется в качестве «краткого варианта» термина в ГОСТе, не идентична вне контекста, и это побудило некоторых исследователей внести предложение не включать подобные «краткие формы» в стандарты.

Способам сокращения словосочетаний, в том числе терминов, посвящена статья С. И. Виноградова «Аббревиатуры как варианты обозначения в русском литературном языке 20-х — начала 30-х годов» (Вариантность). Автор приводит классификацию аббревиатур и подробно характеризует процессы становления аббревиации в русском языке. Плодотворной представляется мысль о появлении в языке «„абброморфем“ — сокращенных отрезков слов с фиксированным фонемным составом, вычленяемых в структуре нескольких аббревиатур» (Вариантность, с. 179). Кроме таких «абброморфем», встречающихся в структуре собственных имен и номенклатурных единиц, имеется некоторое количество «абброморфем», типичных для терминов (*сов-, нар-*). Можно думать, что сейчас число этих «абброморфем» значительно возросло (*-вит-, -строй-*), причем среди них есть и такие, которые образовались из инициальных аббревиатур-акронимов (*НИИ, гиро*).

Аббревиатуры рассмотрены также в двух статьях В. А. Ицковича «Новые тенденции в образовании аббревиатур (о путях включения аббревиатур в систему языка)» (1972) и «Акронимы-омонимы» (1982). Показывая, что в последние годы в русском языке (добавим — и в других языках) появилось много аббревиатур, которые приближаются по звуковому облику к словам русского языка (*лавсан*), а то и совпадают с ними полностью (*АИСТ — автоматическая информационная станция*), В. А. Ицкович выражает сомнение в целесообразности широкого применения акронимов последнего типа (1982, с. 157—158). На это можно возразить, что лишь дальнейшее развитие языка покажет жизнеспособность подобных образований; во всяком случае в настоящее время их число в разных языках, в том числе в русском, продолжает быстро расти.

Значительное место в сборниках уделено фонетическим и орфографическим особенностям терминов. В статьях Л. Н. Кузнецовой «Некоторые наблюдения над ударением в сложных словах (на материале терминологии)» (1981) и «О произношении терминов» (1982) и В. Л. Воронцовой «О специфике акцентуации терминов» (1982) по существу впервые подняты вопросы фонетики терминов. Находясь в русле культурноречевой проблематики, эти вопросы важны также для изучения закономерностей развития литературного языка в целом. Так, В. Л. Воронцова показала, что акцентуация терминов нередко представляет «в специальных сферах как бы более продвинутый этап развития» (1982, с. 199). Можно, правда, к этому добавить, что в сфере терминологии нередко сохраняются и некоторые архаические фонетические черты, особенно в тех терминологиях, где много диалектных и жаргонных элементов. В ряде статей Б. З. Букчиной и Л. П. Калакуцкой рассмотрен комплекс сложных орфографических проблем. В частности, в богатых материалом публикациях Б. З. Букчиной и Л. П. Калакуцкой «Орфография и грамматика (на материале терминологической лексики)» (1981) и Б. З. Букчиной «Об орфографии в терминологии» (1982) показаны пути устранения орфографического разнобоя в терминах, характерного для различных изданий, в том числе даже отдельных томов и статей БСЭ. Эти рекомендации имеют большое практическое значение для терминологов.

Пристальное внимание уделено проблеме и с т о ч н и к о в ф о р м и р о в а н и я т е р м и н о в. Начиная с работы В. П. Даниленко «Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов» (1971), где показаны основные источники терминов («заимствования из литературного языка», из диалектов, из других языков, включая использование элементов классических языков), в различных материалах сборников систематически анализируются взаимосвязи лексических единиц, выступающих в терминологической и нетерминологической функции, и показываются на примерах целых терминологий и отдельных терминов процессы

терминологизации и детерминологизации. Так, в упомянутых двух статьях Н. Г. Михайловской в сборнике 1981 г. продемонстрировано образование юридической терминологии из общелитературной лексики. Г. И. Миськевич и Ю. Ф. Хаустова на одном примере проследили обратный путь: слово, пришедшее в русский язык в терминологической функции, стало использоваться в неспециальных сферах языка [«От термина к слову (*регион*)»] (1981). Хочется отметить, что, кроме широкоизвестных источников формирования терминологии, привлечены и новые источники. Так, в статье Н. В. Новиковой «Название летательных аппаратов в современной научно-фантастической литературе» (1981) показано, что научно-фантастическая литература также может явиться питательной почвой для создания терминов (напомним термин *робот* и ряд других, о которых сейчас пишут многие специалисты). Н. В. Новиковой поднят и еще один существенный вопрос — о роли ученых в терминотворчестве. Обсуждение этого вопроса, имеющего традицию от работ Д. С. Лотте и Л. Ольшки, несомненно, должно быть продолжено.

Проблема соотношения терминологии и лексики, относящейся к другим стилям, обсуждается в ряде материалов сборников. Одной из наиболее содержательных является работа Т. С. Коготковой «Профессионально-терминологическая лексика в газете (способы раскрытия и введения в текст)» (1981). Здесь показаны особенности публицистического стиля, который, по мнению ряда ученых, занимает промежуточное положение между научным и художественным стилями. На многих примерах продемонстрированы способы введения и объяснения терминов в газетных текстах (путем перевода иностранного термина, истолкования его значения, описания объекта, обозначенного термином, и др.). Автор иллюстрирует принципиальное различие определения понятия в научном тексте и толкования термина в произведении публицистического стиля и в то же время подчеркивает необходимость включения терминов в эти последние: «Специальные слова в газете — это своеобразные „цитаты“, достоверные и естественно уважаемые читателем инкрустации из языка специалистов» (1981, с. 89). При этом термин в газете выполняет специфическую двойную функцию — и информировать, и воздействовать, чего нет и не должно быть в научном тексте. Интересные наблюдения над функционированием термина в научно-популярной литературе описаны в статье Г. И. Миськевич «К вопросу о становлении терминологии (на материале космической лексики)» (1981). Вообще изучение термина вне обычной сферы его функционирования дает важный материал общелингвистического и культурноречевого плана. В этом смысле, кроме упомянутой, важна еще одна статья Г. И. Миськевич «Некоторые наблюдения над новыми терминами» (1971), где показано, что словообразование, характерное для терминов, может использоваться и при образовании слов, не носящих терминологического характера (а эта тенденция очень характерна для лексики в современную эпоху). В связи с этим следует выразить сожаление, что в сборниках уделено мало внимания соотношению научного стиля (с его терминами в качестве ядра лексики) и разговорного стиля, поскольку в словообразовании лексических единиц того и другого стилей наблюдаются поразительные совпадения, о чем свидетельствуют, например, материалы книги [8].

Важное место занимает обсуждение проблемы в а р и а н т н о с т и в т е р м и н о л о г и и. Являясь в последнее время предметом внимания многих лингвистов, эта проблема затронута в материалах сборника «Литературная норма и вариантность», в том числе в упомянутой работе С. И. Виноградова, в статьях Н. Г. Михайловской «Лексическая вариантность в списках древнерусских памятников», Г. И. Миськевич «Из наблюдений над словообразовательными вариантами», Н. В. Новиковой «Варианты в названиях лиц со значением „житель планеты“ (на материале современной фантастической литературы)». При анализе этих публикаций важно подчеркнуть плодотворную мысль о том, что существует, помимо лексической вариантности, вариантность номинации (Н. Г. Ми-

хайловская, с. 8; С. И. Виноградов, с. 154), которая и проявляется в основном в вариантах терминов. Кроме того, Г. И. Миськевич рассмотрела словообразовательную вариантную пару *океанский* — *океанический* с ее стилистическими различиями. Однако никто из перечисленных авторов, к сожалению, не добавил, что в сфере терминологии достаточно часто варианты (и словообразовательные, и иные) дифференцируются, расходятся, что и ведет к вариантности номинации (*лесник* — *лесничий*, *роженица* — *родильница*).

В сборнике «Терминология и культура речи» также затронуты различные виды и аспекты вариантности. На примерах группы слов с одной морфемой этот вопрос рассмотрен в статье Л. П. Катлинской «Варианты сложносокращенных слов и лексикографическая традиция (на материале сложных слов с препозитивными элементами *авиа-*, *авто-*, *аэро-*, *кино-*, *радио-*, *теле-* и др.)». Анализируя перечисленные элементы, автор предлагает назвать их прилагательными морфемами (1981, с. 172). Конкретный случай вариантности проанализирован Е. И. Голановой [«К проблеме выбора терминологического варианта (*озвучение*, *озвучивание* или *озвучание*)»]. Исходя из семантики термина и норм словообразования, а также с учетом норм культуры речи, автор дает рекомендацию о выборе варианта термина.

Неисчерпаемость проблемы вариантности привела к тому, что и в сборнике «Культура речи в технической документации» этой проблеме специально посвящен ряд материалов. Помимо упомянутых выше публикаций В. П. Даниленко и В. Н. Хохлачевой о кратких вариантах термина и Г. И. Миськевич «К вопросу выбора термина (*картаж*)», здесь помещены статьи Е. И. Голановой «К проблеме терминологической вариантности (на материале терминологии кинематографии)», где даны советы по выбору терминов из дублетных рядов; Е. В. Моськиной «Функциональные варианты наименований», где дается анализ номенклатурных единиц, относящихся к видам тканей; А. С. Дерябиной «О прилагательных типа *однореверсный*», где показана закономерность появления словообразовательных вариантов терминов в случаях, когда необходима передача новой информации, дополняющей ранее имевшуюся (*реверсивный* — *реверсный*); Н. В. Новиковой «Некоторые наблюдения над группой терминов со второй частью — метр и -мер», — о лексической вариантности, которая неизбежно появляется, несмотря на все попытки ее ограничения в процессе упорядочения и стандартизации терминологии. Даже из этого краткого перечисления можно увидеть, что проблематика вариантности терминов очень разнообразна и еще долго будет предметом внимания термиологов—теоретиков и практиков.

Особую ценность в рассматриваемых сборниках представляет анализ отдельных терминосистем и даже изолированных терминов. Выполненные с лексикологической, словообразовательной, стилистической, историко-лингвистической и собственно терминологической точек зрения, помещенные здесь исследования значительно обогатили литературу конкретно-терминологического характера, тем более, что они написаны опытными языковедами с использованием всего арсенала лингвистических методов и средств. Следует в этом смысле назвать публикации Т. С. Коготковой «Из истории формирования общественно-политической терминологии (по материалам последних десятилетий XIX в.)» (1971) и «Опыт лингвистического описания одной терминосистемы» (1982). Автором показаны источники формирования терминосистем, дана языковая характеристика большинства терминов, входящих в них, тщательно проанализированы и языковые недостатки терминов. Кроме того, во второй статье на материале русских терминов кожевенного производства, зафиксированных в специальном терминологическом ГОСТе, перечислены и все типы структуры многословных терминов (1982, с. 84—90). Выводы автора из анализа структуры терминов могут быть сопоставлены с выводами специалистов, занимавшихся этим вопросом, но на материале других терминосистем [9], для выдачи рекомендаций составителям терминологических стандартов.

Исследованию отдельных терминосистем посвящены работы Т. А. Бобровой «Из истории кодификации русских фитонимов» (1981), в которой хорошо показано место терминов в лексике языка в целом, а также намечены логические аспекты кодификации замкнутой системы наименований, и Л. К. Граудиной «О языке и стиле журналов мод» (1982), где поднята проблема неологизмов. Из публикаций, в которых рассмотрены один-два термина с различных точек зрения, в том числе стилистической, следует назвать статьи И. А. Елисеевой «О термине и понятии „словосочетание“» (1981), Т. С. Коготковой «Зябление? Жабрование? (лингвистический комментарий)» (1972), Г. И. Миськевич и Ю. Ф. Хаустовой «ГОСТ» (1982), Л. А. Шкатовой «Заметки об унификации названий профессий» (1971).

Из всего сказанного выше видно, что содержание сборников далеко вышло за пределы культурноречевой проблематики. Тем не менее в сборниках имеется ряд материалов, посвященных собственно культуре речи применительно к терминологии. Это прежде всего статьи Л. И. Скворцова «Терминология и культура речи (заметки лингвиста)» (1971), «О языке и стиле ГОСТов (в связи со структурой „словарной статьи“» (1972), «Вопросы терминологии и терминоведения в эпоху НТР» (1981). Все они в известной мере дополняют монографию Л. И. Скворцова, где есть специальный раздел «Терминология и норма. НТР и развитие языка» [10, с. 144—162] (особенно в этом смысле важна его статья в сборнике 1981 г.). Автор доказывает необходимость повышения точности высказывания, что определяется, в частности, характерной для современной эпохи интеллектуализацией литературного языка (1981, с. 5—6). В работах Л. И. Скворцова дается научная оценка многочисленных дискуссий, возникающих на страницах прессы, в которых приводится «вкусная» оценка тех или иных терминов. Л. И. Скворцов показывает, что оценка терминов должна определяться не просто желаниями и пристрастиями отдельных лиц, а строгими нормами культуры речи с учетом соответствующих вариантов нормы. Подчеркивается также необходимость совместной работы лингвистов и терминоведов.

И в этой связи в заключение обзора нужно специально коснуться статьи В. П. Петушкова «Лингвистика и терминоведение» (1972). Здесь показано, что в настоящее время складывается, «образуется» наука, которая и по предмету, и по методам, и по подходам к материалу отличается от лингвистики, хотя и использует лингвистические методы для изучения языковых аспектов терминов. В. П. Петушков еще в 1967 г. предложил назвать ее терминоведением (впервые в печати это название появилось в 1969 г. в тезисах доклада Б. Н. Головина на научном симпозиуме «Место терминологии в системе современных наук» [11, с. 38—40]). Статья В. П. Петушкова содержит перечисление проблем, которыми должно заниматься терминоведение. За прошедшие годы мысль о том, что наука о терминах и терминосистемах — это самостоятельная научная дисциплина, получила дальнейшее развитие, была поддержана и в нашей стране, и за рубежом (в трудах Э. Вюстера, П. Агрона, в материалах многочисленных международных конференций и симпозиумов), воплотилась в деятельности специализированных терминоведческих органов и организаций. И для советской науки тем более почетно, что эта мысль впервые прозвучала со страниц наших изданий.

Таким образом, обзор тематических сборников ИРЯ АН СССР по вопросам терминологии свидетельствует о глубоком внимании, которое уделяют лингвисты терминам и терминосистемам. В материалах сборников изложена по существу новая концепция лингвистических аспектов терминоведения, которая является шагом вперед по сравнению со многими работами других организаций, занимающихся разработкой терминологических проблем. При этом нужно подчеркнуть, что данная концепция развивается и углубляется от сборника к сборнику, методы анализа терминов и терминосистем совершенствуются, рекомендации терминологам-практикам становятся более убедительными. В этой связи следует сделать несколько замечаний составителям и авторам сборников. Во-первых,

в настоящее время уже назрела необходимость оценить предшествующие этапы развития терминоведения, дать критику устаревших концепций, которые еще имеют хождение среди ученых (в частности, что терминология — это периферия лексического состава языка, что «термины противопоставляются словам», и т. п.). Во-вторых, не сделаны все выводы из положения о различии сферы фиксации и сферы функционирования терминов. А между тем именно при анализе терминов в тексте могут быть, по нашему мнению, выявлены их новые существенные признаки.

Эти критические замечания носят характер скорее пожеланий на будущее. Нужно надеяться, что за вышедшими сборниками последуют новые. Это отвечает общественной потребности нынешнего этапа развития науки.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Даниленко В. П., Скворцов Л. И. Лингвистические проблемы упорядочения научно-технической терминологии. — ВЯ, 1981, № 1.
2. Краткое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии. М., 1979.
3. Сифоров В. И. Проблемы научно-технической терминологии. — Вестник АН СССР, 1975, № 8.
4. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. М., 1977.
5. Коготкова Т. С. Терминология и межфункционально-стилевая «омонимия». — В кн.: Проблематика определений терминов в словарях разных типов. Л., 1976.
6. Романова Н. П. О мотивированности исконных и заимствованных терминов. — В кн.: Вопросы терминологии и лингвистической статистики. Воронеж, 1976.
7. Даниленко В. П. Терминологизация разных частей речи (термины-глаголы). — В кн.: Проблемы языка науки и техники. Логические, лингвистические и историко-научные аспекты терминологии. М., 1970.
8. Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1984.
9. Кобрин Р. Ю. О принципах терминологической работы по созданию тезаурусов для информационно-поисковых систем. НТИ, сер. 2, 1979, № 6.
10. Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. М., 1980.
11. Головин Б. Н. О некоторых аспектах лингвистического и информационного изучения терминов. — В кн.: Научный симпозиум «Место терминологии в системе современных наук»: Тез. докл. и сообщ. 24—27 декабря 1969 г. М., 1969.

РЕЦЕНЗИИ

**Филин Ф. П.** Истоки и судьбы русского литературного языка.— М.: Наука, 1981. 328 с.

Название рецензируемой работы, на первый взгляд, может показаться слишком широким, общим, недостаточно определенным, но при внимательном чтении возникает обратное убеждение: название книги удивительно точно соответствует ее содержанию.

Сложная история русского литературного языка со времен его формирования в Киевской Руси, дальнейшие преобразования в его структуре в зависимости от смены диалектной базы, от расширения сферы его применения, от новых иноязычных заимствований, использование церковнославянского языка в разных жанрах литературы, роль писателей и ученых в становлении языковых норм — эти вопросы продуманы автором с опорой на большое количество фактов.

Все это позволяет считать книгу Ф. П. Филина оригинальным исследованием по теории и истории русского литературного языка и вместе с тем трудом, в котором критически проанализирован и обобщен опыт изучения истории литературного языка многими поколениями ученых, русских и европейских. Но поскольку аспект исследования в большинстве работ не совпадает, научный уровень исследования языковых фактов и их объем разный, а «многое в них и вовсе не нашло своего отражения» (с. 3), — процессы истории становления и развития русского языка отражены в этих работах непоследовательно. Поэтому категоричность утверждения Ф. П. Филина: «История русского литературного языка еще не написана» (с. 3) вполне справедлива. «Написать полную историю русского литературного языка означает исследовать по более или менее единой программе язык всех письменных произведений от начала письменности на Руси до нашего времени..., не пропуская ничего важного, существенного, причем на всех уровнях языка» (с. 3).

Это утверждение имеет методологически программное значение для создания курса истории русского языка, оно соответствует ленинскому принципу изучения явлений: «...необходимо брать не отдельные факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов без единого исключения» [1]. Свою книгу Ф. П. Филин также не считает историей русского литературного языка и поэтому не случайно называет ее «Истоки и судьбы русского литературного языка». Об этом свидетельствует и структура работы: расположение ее глав и аспект исследования фактического материала в каждой из них

сознательно противопоставлены автором структурной организации историко-лингвистических сочинений, в которых последовательность расположения разделов соответствует диахроническому порядку в развитии фактов.

Первая глава книги целиком посвящена истокам русского литературного языка — истории его формирования в Киевской Руси. Эта сложная проблема в лингвистической науке решалась односторонне, тенденциозно и упрощенно. Ф. П. Филин в своих исследованиях подвергает анализу огромный фактический материал, осмысленный им с точки зрения современной лингвистической теории. Именно такой подход к проблеме, прежде всего на основе изучения лексики, помещенной в «Словаре современного русского литературного языка» (в 17-ти томах) и «Частотном словаре русского языка» под ред. Л. Н. Засориной, с привлечением сведений из работ советских и зарубежных лингвистов об истории слов (куда входят книги и статьи самого автора) позволил Ф. П. Филину критически оценить работы своих предшественников.

Как известно, по мнению А. А. Шахматова, русский литературный язык по своему происхождению — «это перенесенный на русскую почву церковнославянский (по происхождению своему древнеболгарский) язык, в течение веков сближавшийся с народным языком и постепенно утративший и утрачивающий свое иноземное обличье...». Чтобы доказать свой тезис, А. А. Шахматов выделил в современном русском литературном языке двенадцать признаков его иноязычной основы (с. 13). Ф. П. Филин убедительно показал, что большинство церковнославянизмов в процессе длительной истории их употребления в русском литературном языке (а многие из них — и в говорах) стало средством вторичной номинации, т. е. подверглось переосмыслению и изменениям в коннотации; другую группу составляют слова, созданные в русском языке с использованием церковнославянских морфем и словообразовательных моделей, и, наконец, третья группа так называемых церковнославянизмов составляют слова, формальные признаки которых являются общими для церковнославянского, русского (и даже других славянских языков). Количество собственно церковнославянизмов в современном русском литературном языке составляет, по мнению Ф. П. Филина, не более 4% словарного состава. Эта цифра показывает необоснованность

декларативных утверждений Б. О. Унбегауна о том, что современный русский литературный язык—это церковнославянский язык с русскими вкраплениями [2].

Последовательно доказывая народную основу в структуре русского литературного языка (от периода его образования и до наших дней), Ф. П. Филин не поддерживает теорию С. П. Обнорского о происхождении литературного языка в Киевской Руси [3]. Ограниченность источников, использованных в работе С. П. Обнорского, его утверждение о том, что все церковнославянизмы, встретившиеся в памятниках, язык которых он анализировал, внесены не их авторами, а переписчиками как дань моде и недостаточно корректно использованный им статистический аппарат (С. П. Обнорский в число специфических древних черт русского языка зачисляет и общеславянские явления: например, последовательно выдержанное употребление форм двойственного числа и др.)— все это делает концепцию С. П. Обнорского о происхождении русского литературного языка тенденциозной.

Ф. П. Филин подвергает осмыслению язык почти всех древнерусских текстов, изученных советскими и зарубежными филологами (см. указатель имен, с. 322—326), привлекая для сопоставления фактический материал (в основном лексический) из словарей современного русского языка и его говоров. В результате изучения языковой ситуации в древней и Московской Руси (см. гл. IV книги) автору удается объективно отразить реальное состояние древнерусского литературного языка старшей поры. Обобщенно оно представлено в схеме: «1) церковнославянский литературный язык с двумя типами: а) собственно церковнославянский язык — язык богослужебной и примыкающей к ней литературы, переведенной или созданной в Болгарии и других славянских странах, которая читалась и переписывалась на Руси; в этом языке, как уже было сказано выше, имелись восточнославянские напластования, особенно в фонетике и морфологии; б) славяно-русский язык — язык оригинальных произведений, написанных русскими, в которых преобладала церковнославянская стихия, но в той или иной степени присутствовал восточнославянский субстрат; 2) древнерусский литературный язык также с двумя типами: а) язык деловой письменности и частной переписки с отдельными церковнославянскими вкраплениями; б) язык „повествовательной литературы“ (произведений разных жанров), восточнославянский в своей основе, но с широким использованием церковнославянских средств» (с. 259). Повимая, что эта схема, как и любая модель, упрощает реальную структуру отражаемого ею явления, автор поясняет ее условность, приблизительность, указывая исследователям на необходимость дальнейшей конкретизации этой схемы по мере изучения языковых фактов в текстах древнерусской литературы разных жанров.

Исходное состояние древнерусского литературного языка служит для автора

базой, позволяющей осмыслить структуру русского литературного языка Московской Руси, а также литературного языка периода формирования и развития русской нации, когда изменяется диалектная основа общенародного языка, активизируется заимствование слов в процессе становления культурно-экономических связей с народами Западной Европы. Автору удается отразить всю сложность процесса формирования национального языка на базе основного его источника — московского койне, определить место просторечия и диалектов в интеграции языковых фактов, их отбор (через употребление в текстах художественной литературы и публицистики) в литературный язык. При этом четко обосновывается разграничение понятий «национальный язык», «литературный язык», «просторечие». За каждой из названных языковых субстанций автор видит ее носителя, что позволяет ему доказать несостоятельность надуманных терминов типа «диалектный язык» и непродуктивность искусственно созданных умозрительных схем, замкнутых моделей, предназначенных для того, чтобы формализованно отразить структуру так называемого диалектного языка.

Теоретические положения второй главы, характеризующие процессы образования русского национального языка, вместе с тем позволяют автору конкретизировать различительные признаки понятия «литературный язык», чему посвящена третья глава книги.

Вслед за В. В. Виноградовым Ф. П. Филин квалифицирует литературный язык как живую реальность, которая служит обществу, является его величайшим достоянием и изменяется, функционируя в различных жанрах произведений письменной и устной речи, совершенствуется усилиями художников слова, публицистов, ученых и общественных деятелей. Автор опровергает мнение некоторых ученых об условности термина «литературный язык», приводя конкретные исторические сведения о разнообразии типов литературных языков.

Содержание последней главы ограничено сведениями об основных тенденциях и путях в развитии современного русского языка, которые определяются расширением сферы применения его в современном мире, увеличением его функций. Автор сознательно отказывается от подробной характеристики изменений на всех уровнях современного литературного языка, от выяснения причин этих изменений, во-первых, потому что об этом написано большое число лингвистических работ, во-вторых, потому, что цель его научного сочинения — размышление над судьбами русского литературного языка. Оценивая его современное состояние, автор проявляет заботу о сохранении его самобытности, ясности, негативно оценивая факты «варваризации» научных, публицистических и художественных текстов по причине бездумного использования их авторами множества иностранных слов, главным образом, американизмов, семантически избыточных в русском языке.

Обобщая характеристику рецензируемой книги, выполненную ученым-марксистом и патриотом, хочется подчеркнуть точность доказательств, которые соответствуют адекватности утверждений автора, его принципиальность, проявляющуюся в поисках объективной истины, новизну и надежность полученных сведений. Монография Ф. П. Филина на многие десятилетия вперед определяет направление и содержание исследований по истории русского литературного языка (и, надо полагать, и новую учебную литературу по этому предмету).

Глубина и актуальность содержания этой книги, простота и ясность его изложения, аргументированность теоретических положений, важность разрешаемых автором проблем, выходящих по своему значению за пределы сугубо лингвистических работ, позволяють надеяться, что книга «Истоки и судьбы рус-

ского литературного языка» будет с интересом воспринята широким читателем, лингвистом и литературоведом, историком и философом, писателем и учителем, а также каждым любознательным человеком, для которого не безразлична история русского народа и его языка.

Федоров А. И.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Ленин В. И. Статистика и социология. — Полн. собр. соч., т. 30, с. 351.
2. Ульбегаун Б. О. Историческая грамматика русского языка и ее задачи. — В кн.: Язык и человек. Сборник статей памяти профессора Петра Саввича Кузнецова. М., 1970.
3. Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М. — Л., 1976.

*Svoboda A. Diatheme. A study in thematic elements, their contextual ties, thematic progressions and scene progressions based on a text from Ael'ric.* — Brno: Univ. J. E. Purkeně, 1981. 205 p.

Рецензируемая книга представляет собой опыт создания функциональной грамматики по схеме Я. Фирбаса, на материале текста проповеди монаха Эльфрика (955—1020) на древнеанглийском языке. Рамки содержания (крещение Христа) позволили автору представить не только весь текст в виде огромной сцены, на которой появляются персонажи проповеди (Христос, Иоанн-креститель, апостолы, ученики, дьявол, грешники и т. п.), совершающие ограниченный круг действий. Каждый параграф выведен в виде широкой сцены, на которой происходят определенные события, а каждое предложение трактуется в виде узкой сцены того, что осуществляется на переднем плане.

Основной методикой анализа принят подсчет того, как ведут себя элементы предложения в той или другой функции (диатемы, темы, ремы и т. п.) и какими связями они соединены. Все эти данные представлены в диаграммах, схемах, графиках и таблицах. Книга состоит из «Введения» (с. 1—7), где излагаются основы теории и поясняется терминология, и самого исследования, разбитого на четыре главы: «Описание текста», «Грамматика», «Семантика», «Контекст» (с. 8—190). Завершается книга «Приложением» (с. 197—204). Библиография из 94 названий включает труды преимущественно чешских лингвистов.

Опыт построения функциональной грамматики, предложенный А. Свободой, заслуживает внимания хотя бы потому, что за последние годы языковедение вплотную подошло к проблеме выявления особенностей «языка в действии», т. е., как стало модным говорить, к прагматике языка, к его функционированию. Используя сословские термины, можно было бы сказать, что лингвистику

языка сменила лингвистика речи, и коммуникативный аспект языковых явлений завоевал себе прочное место в лингвистических исследованиях. Подчеркнем, что главным предметом анализа остался фиксированный текст. Изменился лишь ракурс анализа: в научный обиход был введен новый понятийный и терминологический аппарат, который позволил рассмотреть динамику построения текста. В центре функциональных грамматик оказался синтаксис и его основная коммуникативная единица — предложение-высказывание.

В Чехословакии идеи Я. Фирбаса оказались противопоставленными концепциям ряда лингвистов, и вместо двучленной конструкции предложения, состоящей из темы и ремы (Матезиус), была предложена трехчленная конструкция, включавшая в свой состав элемент, переходный от темы к реме, как правило, — глагольную форму (сказуемое). В рамках учения о функциональной перспективе предложения была поставлена проблема носителей разной степени коммуникативного динамизма. Дальнейшее развитие этого учения привело к выделению в тематической сфере собственно темы и диатемы как самого динамичного элемента в пределах этой сферы, а в нетематическую сферу вошли менее динамичный собственно переход, т. е. спрягаемая часть глагола (флексия) или вспомогательный глагол в аналитической форме, переход, обычно представленный содержанием компонентом глагола, и, естественно, рематическая сфера, состоящая из ремы и наиболее динамичной собственно ремы [1]. А. Свобода присоединяет к этому явлению тематической прогрессии, установленное Ф. Данешем (наличие в раз-

вертывании высказываний определенного расположения тем, их взаимного сцепления и иерархии, обеспечивающих вхождение элемента в текст, в котором выделяется также гипертема, т. е. элемент, сохраняющийся в составе тематической сферы ряда предложений без изменения его семантики) [2]. А. Свобода распространяет явление прогрессии и на динамику как широкой, так и узкой сцены. Весь репертуар этих понятий демонстрируется на материале анализа 450 предложений текста проповеди.

При анализе предложений используется позиционный принцип, включающий и нулевую позицию, которую могут занимать союзы, относительные местоимения, даже когда они представляют собой диатемы, подчиненные предложения, если они предшествуют главному, и т. д. Проведенные А. Свободой подсчеты показали, что 72,9% предложений содержат диатему одного из двух типов: субъектно-объектную (более 50%) или адвербиальную (около 20%), прочие не имеют тематической сферы.

Субъектно-объектная диатема представляет собой: 1) вновь вводимый элемент сцены, например: *Тот Иоанн (ДТ) был рожден (Пер) от отца и матери (Р) | и он (Т) был (Пер) простой человек (Р) | великий и известный (собств. Р),* и 2) хорошо известный элемент сцены, но заново выступивший на нее, например: *Мы (Т) имеем (Пер) прекрасный пример (Р) этого дела (ДТ),* т. е. дела, о котором речь шла выше<sup>1</sup>. Адвербиальная диатема представляет собой стоящий в центре сцены либо новый, либо известный адвербиальный элемент, например: *Там (Т) стоял (Пер) тот Сын (Р) в человеческом образе (ДТ) | и тот Отец (Р) воззвал (Пер) с небес (ДТ).*

В развертывании функциональной перспективы предложения идет перемена всех ролей, и то, что было ремой предыдущего, может стать диатемой (или темой) последующего предложения, например: *Иоанн (ДТ) подошел (Пер) к той реке (Р), которая (ДТ) называется (Пер) Иордан (Р).* В виде диатемы может выступать придаточное предложение, которое внутри также может разделяться на тематическую и рематическую сферы.

Глава «Грамматика» (с. 10—38) содержит характеристику классов слов и синтаксических категорий, представляющих диатемы, а также описание собственно темы и собственно ремы. Далее представлена линейность расположения элементов как первый фактор, способствующий развитию повествования. Вторым фактором названа семантика элемента, допу-

скающая изменения только под влиянием третьего фактора — контекста.

В главе «Семантика» (с. 39—92) содержится подробный анализ материала и вводится ряд уточняющих основные понятий, таких, как дополнительные и ориентированные диатемы и темы. Свободными диатемами и ремами названы подчиненные предложения, имеющие свой тема-рематический состав, но выступающие в качестве таковых по отношению к главному предложению.

Если противопоставление ремы и темы основывается на степени коммуникативного динамизма (высшей и низшей), то противопоставление ремы диатеме зиждется на сходстве их функций в каждой из сфер, в которых они выступают в качестве наиболее информативных центров. Сферы темы и не-темы асимметричны, т. е. элементы первой могут быть опущены (эллипсис темы), а переходные элементы почти не опускаются, уже не говоря о реме. В предложениях обнаруживаются две тенденции поведения элементов: (а) превращения в гиперэлементы, т. е. части гипертемы, и (б) сохранения уникальности, что свойственно реме.

Далее вводятся две шкалы, названные фирбасовскими: А-шкала (арреангасе скале) фиксирует появление элемента на узкой сцене — предложении (его наличие трактуется как частный случай этого), а К-шкала (quality scale) фиксирует элемент как носителя качества или как уточнителя этого качества. Предложения с диатемами в большинстве случаев представляют К-шкалу, а А-шкала обнаруживается лишь в 5—12% примерах.

Самая обширная глава «Контекст» (с. 93—190) основана на теории Я. Фирбаса о трех видах этого явления: контекста общего опыта, контекста ситуации и словесного контекста, предшествующих анализируемому предложению и определяющих широкую сцену, которая дополняется узкой сценой, зависящей от сиюминутной цели говорящего, который может изменять контекстуальные условия. Контекст как динамика сцены позволяет устанавливать принадлежность элементов к А-шкале или к К-шкале, т. е. определять и широкую, и узкую сцены, причем последняя составляется лишь из тематической сферы. Изменение этих сцен определяется качественно и количественно при сопоставлении с последующим состоянием сфер темы и не-темы в дальнейших предложениях.

Контекст определяет предложение на трех ступенях: (1) базовой, где элементы не зависят от него и связаны лишь линейностью и семантикой, (2) первой, где один (или более) элемент зависит от контекста, т. е. факторы вступают в действие, и (3) второй, где все элементы зависят от контекста, кроме одного, резко контрастного всему контексту, причем линейность и семантика не играют никакой роли. Автор показывает, что базовая ступень представлена начальными предложениями всего произведения и каждого параграфа, т. е. они формируют узкую сцену сами, а не на фоне широкой сцены, и в них широко представ-

<sup>1</sup> Все примеры даны в виде соответствующих пословных русских эквивалентов. Вертикальная черта отделяет предложения. Вводятся обозначения: ДТ — диатема, Т — тема, Пер — переходный элемент, Р — рема. При этом в целях упрощения мы не указываем собственно переход, собственно тему, собственно рему, эллипсис, но в случае необходимости добавляем эти сведения. В отличие от оригинала, используется русская нотация терминов.

лена А-шкала (22% против 5,2% в прочих предложениях). Отмечается, что в древнеанглийском, в отличие от современного английского языка, вынос ремы на первое место не означает ее особого выделения (эмфазы).

Предложения первой ступени составляют главный предмет исследования, и в них устанавливается тематическая прогрессия (ее пример приведен в «Приложении»). Для приписывания роли диатем (или тем) определенным элементам устанавливаются коммуникативные функции семантически идентичных или близко связанных элементов, которые либо предшествуют диатемам, либо следуют за ними. На диаграммах приводится подсчет, свидетельствующий, что субъектно-объектным диатемам в 40% случаев предшествуют не-тематические элементы, главным образом — ремы, а для адвербиальных диатем характерно отсутствие какого-либо элемента как в позиции перед ними, так и после них. Субъектно-объектные диатемы обычно теряют динамику и уходят в задний план «сцены», превращаясь в собственную или в ориентированные темы, а случаи перехода в ремы, т. е. интенсификации диатемы, крайне редки. Автор устанавливает три главных функции диатем в тематической прогрессии: (1) соединения предшествующих не-тематических сфер с последующими тематическими, открывая первым выход на «узкую сцену», (2) соединения следующих друг за другом «узких сцен» (тематических сфер) благодаря сохранению или выходу определенного элемента на первый план, (3) введения «нового» аспекта на «узкую сцену» таким образом, что новый элемент выглядит как уже имевший место на «широкой сцене» до этого. Субъектно-объектные диатемы в равной мере выполняют все эти функции, а адвербиальные — почти исключительно третью. В отличие от диатем, все темы, включая нулевую, характеризуются как предшествованием, так и следованием за ними тоже тематических элементов, что свидетельствует об их роли стабилизаторов «узкой сцены».

Диатемы и собственно темы могут участвовать в формировании гипертемы разной длины и разного состава от 2 до 217 элементов, причем цепочки из собственно тем составляют 10,7%, из диатем — 32,2% и смешанные цепочки — 57%, в пределах последних диатемы составляют 36,2%. Это свидетельствует об одной из главных функций диатемы — определять внутреннее направление «узкой сцены» либо в сторону к дединамизации (от ДТ к Т — 69,9%), либо в сторону к интенсификации (от Т к ДТ — 30,1%), причем сигнализирующими средствами служат грамматика, семантика и контекст. Другим видом дединамизации является переход ремы в диатему или в тему, а при интенсификации осуществляется обратный переход этих последних в рему (21,1% всех изменений). По сравнению с темами диатемы выступают в подавляющем большинстве примеров как непосредственно связанные с ремами.

Для того чтобы выделить специфику тематической прогрессии, автор дает краткий анализ рематической прогрессии,

вводящей новую информацию, и показывает, что ведущим принципом первой являются семантическое тождество и сходство, а второй — семантическое различие. Обе прогрессии взаимно дополняют друг друга в становлении «структурной когезии» текста и обеспечивают его понимание.

Глава заканчивается обобщенным анализом еще двух прогрессий — сценической и фирбасовых шкал с демонстрацией их на схемах и показом, как на «широкой сцене» всего текста возникают «широкие сцены» отдельных предложений и «узкие сцены» в пределах «широких» и как около воображаемой оси располагаются А-шкала и К-шкала с явным перевесом последней. Автор заканчивает книгу, обратив внимание на то, что в ней рассмотрена лишь сфера темы, а полный анализ должен включать и не-тематическую сферу, не говоря уже о том, что изучение фирбасовых шкал, например, должно основываться на целой совокупности текстов.

Ознакомившись с книгой А. Свободы, следует прежде всего отметить, что перед нами очень тщательно выполненное и крайне трудоемкое исследование, демонстрирующее возможность применения и развития идей Я. Фирбаса, правда, в примере ограниченного по содержанию и по структуре текста. Точность цифровых данных и графических представлений убеждают в том, что предложенные методики весьма полезны при тема-рематическом анализе и могут использоваться гораздо шире, чем это делалось до сих пор. В сущности труд А. Свободы является пионерским в этом плане. Есть в нем, однако, ряд моментов, которые заставляют задуматься и поразмыслить над ними.

Во-первых, это касается выбора языка и текста. С одной стороны, оба момента кажутся весьма благоприятными: текст жестко детерминирован и поэтому позволяет производить достаточно точные подсчеты. Кроме этого, данный текст соединяет в себе устный и письменный варианты речи (проповедь говорилась). Но, с другой стороны, содержание текста с канонизированными персонажами и событиями допускает почти однозначное толкование соотношения тематических и рематических сфер и раскрытия тематической и сценической прогрессий. Именно это обстоятельство дало нам возможность привести эквивалентные русские примеры, и, следовательно, напрашивается вывод, что тема-рематический анализ является анализом содержания, безотносительного к формам выражения, т. е. к языку текста. Переводы на современный английский язык, которыми автор сопровождается комментарий, подтверждают это, т. к. отличаются от древнеанглийских предложений по соотношению темы и ремы буквально в двух-трех случаях, объяснимых твердым порядком слов.

Вряд ли является также случайным, что автор оперирует термином «элемент», заменив им термин «коммуникативная единица», и в качестве таковых выступают не только слова, но и сочетания типа: *одна (некая) женщина, к Христу, тот*



Книга М. М. Маковского представляет собой дальнейший этап разработки вопросов языковой стратификации на материале английского языка, начатой автором еще в 60-е годы и нашедшей свое выражение, в частности, в его недавно опубликованной монографии «Английская диалектология»<sup>1</sup>. Рецензируемая книга состоит из двух глав («Общая характеристика английских социальных диалектов», с. 7—67; «Фонетические, грамматические и словообразовательные особенности английских социальных диалектов», с. 68—74), «Краткого словаря английских социальных диалектов» (с. 75—116). К работе приложен список синонимов в английских социальных диалектах (с. 117—131). Кроме того, книге предпослано краткое Предисловие (с. 4), список принятых сокращений (с. 5—6), а в конце ее имеется список литературы, содержащий названия 110 работ на русском, английском и других языках (с. 132—135).

Опубликованная в серии «Библиотека филолога», книга М. М. Маковского предназначена в качестве учебного пособия для студентов, изучающих английский язык. В этой связи в Предисловии автор справедливо подчеркивает, что, не зная особенностей английских социальных диалектов, «студент получает весьма одностороннее представление о строе современного английского языка, его разговорных разновидностях и особенностях английского языка вне Англии (американский, канадский, австралийский и др. варианты английского языка)» (с. 4).

Основную часть книги образуют две неравноценные по объему главы. Первая, посвященная общей характеристике английских социальных диалектов, является наиболее пространной (более 60 с.) и в теоретическом плане образует центр книги. Здесь автор рассматривает принципиальные понятия, термины и определения, используемые им при описании социальных диалектов, выделяет основной объект своего научного анализа — сленг, а далее знакомит читателя с различными концепциями сленга, этимологией самого слова *slang*, дает общую характеристику лексического состава сленга в его сходстве и отличии от лексики территориальных диалектов, жаргонов и профессионализмов, рассматривает территориальные разновидности сленга, а также этимологию сленговой лексики.

Понимая диалект как одну из разновидностей (территориальную, временную или социальную) языка, употребляемую более или менее ограниченным числом людей и отличающуюся по своему строю (фонетике, грамматике, лексемному со-

ставу и семантике) от литературного языка (согласно автору — «языкового стандарта»), «который сам является социально наиболее престижным диалектом» (с. 7), М. М. Маковский использует самый термин «диалект» в качестве универсального средства описания любых языковых состояний и всей системы форм существования данного языка, включая и литературный язык. Такое толкование этого понятия представляется нам слишком широким. Следует, однако, указать, что непосредственно изучаемый в монографии языковой материал — сленг, безусловно, составляет часть того проявления языка, который вместе с профессиональными или производственными разновидностями языка, с различного рода жаргонами и арго образует своеобразные языковые варианты, которые нередко называют социальными диалектами<sup>2</sup>.

Лишь упомянув самый факт существования профессиональных диалектов и бегло охарактеризовав особенности различных разновидностей английского жаргона (с. 8—9), М. М. Маковский в дальнейшем все внимание сосредоточивает на сленге, занимаясь, по его словам, совершенно особым положением среди социальных диалектов (с. 9). Своё изложение автор начинает с того, что подчеркивает существование нескольких различных концепций английского сленга (И. Р. Гальперин, Д. С. Лихачев, В. А. Хомяков, Э. Партридж, Ф. Дж. Уилстэк, С. И. Хаякава, Т. К. Честертон), в основе которых лежат попытки подвести под это понятие самые разнородные явления лексического и стилистического плана. Собственное отношение к определению сленга М. М. Маковский формирует не только на основе критической оценки различных точек зрения, а, прежде всего, после всестороннего анализа определенной совокупности фактического языкового материала, дающего возможность выявить отличия сленга от нормы литературного языка, территориальных диалектов, а также таких типов социальных диалектов, как профессиональные диалекты и жаргоны. Одновременно автор рассматривает характерные структурные особенности английского сленга. В заключение этого анализа он обращает внимание на то, что сленг «выступает как определенная четко различимая языковая система» (с. 23), которая не живет изолированно и находится в постоянном взаимодействии

<sup>1</sup> См. нап у рецензию [4].

<sup>2</sup> Ср. определения О. С. Ахмановой [2].

с литературным языком, прежде всего, с его устной разновидностью («устный стандарт»). С другой стороны, сленг постоянно контактирует с территориальными диалектами, а также с упоминавшимися социальными диалектами — жаргоном и профессиональным языком. В связи с этим М. М. Маковский формулирует свою концепцию сленга, в соответствии с которой «сленг — это исторически сложившаяся на базе английских территориальных диалектов различных регионов и других наиболее древних языковых элементов и в большей или меньшей степени общая всем носителям языка лингво-социальная норма, которая, реализуясь на уровне разговорной речи (фонетика, грамматика, лексика), генетически и функционально отлична от жаргонных и профессиональных элементов языка; семантика сленговых лексем не всегда восходит к стилистическому переосмыслению, а слова сленга не обязательно используются для создания стилистического эффекта» (с. 22—23). Подчеркивая, в отличие от своих предшественников, то обстоятельство, что сленг является исторически сложившейся категорией, автор вместе с тем не проходит мимо того факта, что сленг обладает лишь относительной устойчивостью для определенного периода времени, что он, как и другие звенья языка, постоянно развивается, пополняется новыми словами и новыми значениями, хотя для сленга и характерен сравнительно неизменный языковой «костяк», восходящий к английским территориальным диалектам, а также к элементам, давно вышедшим из языка и не сохранившимся в местных говорах (с. 23). Своим определением М. М. Маковский хочет прежде всего подчеркнуть, что сленг не следует сводить только к стилистически окрашенной лексике (ср., например, толкование сленга как шутливо-юмористической сниженной лексики [3]) ни с точки зрения семантики сленговых лексем, ни с точки зрения их использования. Таким образом, не отрицая этих свойств сленговой лексики, автор стремится к тому, чтобы дать ей более сбалансированную оценку. Использование большого фактического материала древнеанглийского языка и современных английских территориальных диалектов позволило автору показать, что многие английские сленговые значения, которые обычно объясняются как метафоры, в действительности возникли в результате омонимии. М. М. Маковский указывает, что само по себе семантическое переосмысление не является исключительной особенностью сленга: этот процесс наблюдается и в литературном языке, хотя было бы абсурдным говорить, что любая метафора здесь является сленгом. К тому же образование новых значений путем стилистического переосмысления и стилистическое использование соответствующих переосмысленных слов в речи — это совершенно различные явления. Автор указывает, что многие стилистически нейтральные слова в различных индоевропейских языках по своему происхождению являются метафорами. При этом

слово, выступающее в речи как стилистически нейтральное, могло несколько раз подвергаться переосмыслению на более ранних этапах развития языка. Эти положения с достаточной полнотой излагаются в разделах книги «Определение сленга» и «Структурные особенности английского сленга» (с. 14—30). На с. 37—40 дается краткая история сленга, основанная на рассмотрении ранних сленговых словарей. Жаль, однако, что в этом разделе ничего не говорится о выдвинутой автором в другой его работе методике реконструкции социальных диалектов древности [с. 4].

Большой интерес представляет в книге раздел «Территориальные разновидности сленга» (с. 30—36), в котором содержится описание особенностей сленга в английском языке США, Австралии, Канады. Автор показывает, что среди таких разновидностей особое положение занимает американский сленг, отличающийся своей подвижностью в процессе взаимодействия с территориальными диалектами. Эта линия развития сленга демонстрируется автором с помощью конкретных примеров.

Значительную часть первой главы книги занимает раздел «Этимология сленговой лексики» (с. 40—67), в котором автор по существу предпринимает попытку самостоятельно исследовать проблему происхождения английской сленговой лексики. Принимая во внимание, что многие ученые (например, Э. Партридж) считают почти невозможным установление этимологии сленга, так как он якобы основан на метафоре, гротеске и т. д., М. М. Маковский подчеркивает, что при этом обычно упускается из виду то обстоятельство, что в процессе развития языка происходит серия схождений (конвергенций) различных по своей природе и семантике языковых элементов, в результате чего, однако, «в языке остается лишь один лексико-семантический элемент» (с. 40). Именно поэтому поиск однозначной и единственной этимологии таких лексем не дает положительных результатов. Далее автор на конкретных примерах показывает, каким образом можно подойти к раскрытию семантики тех или иных сленговых единиц. Исследование ведется в двух планах. С одной стороны, английские сленговые лексемы этимологизируются на широком индоевропейском фоне (ср. с. 42 и сл.), а с другой стороны, автор предлагает серию оригинальных филологических этюдов, в которых на основе критики текста средневековых латино-германских глосс, изданных Л. Дифенбахом, пытается показать, что в ряде случаев различные (часто совершенно несовместимые) значения английских сленговых лексем обусловлены ошибками или контаминациями в рукописях (ср. с. 45—67, где также изложена методика проводимого автором текстового анализа). С помощью такого приема в разделе рассматривается этимология 74 сленговых единиц: *blunt* «деньги, богатство», *heeled* «вооруженный, имеющий оружие», *hive, hivy* «здоровье» и др.

Во второй главе (с. 68—74) рассмат-

риваются фонетические, грамматические и словообразовательные особенности английского сленга, учет которых позволяет видеть более последовательно значение взаимодействия различных факторов при оформлении тех или иных сленговых единиц. Весьма перспективна сделанная М. М. Маковским попытка рассмотрения акрофонетических и акросиллабических образований в сленге, т. е. возникновение новых слов на основе сложения первых (или первых и последних) фонетических элементов или слогов как синонимичных, так и несинонимичных лексем (типа *hock* «победить» < *heat* + *kibosh*; *cod* «обманывать» < *cozen* + *deceive*). К сожалению, количество примеров такого рода, приведенных автором, невелико. Однако исследование акронимических образований и выяснение возможности подобного явления не только в социально ограниченных языковых пластах могло бы внести интересные коррективы в понимание структуры индоевропейского корня.

Своеобразным приложением являются в книге «Краткий словарь английских социальных диалектов» (с. 75—116), и раздел «Синонимия в английских социальных диалектах» (с. 117—131). Расположенный в алфавитном порядке, словарь содержит свыше тысячи сленговых лексических единиц. Отметим, что многие лексемы и значения сленговых слов, включенные в словарь, приводятся в советской лексикографии впервые. Крайне важно, что подобная лексика, столь характерная для определенных сфер повседневной английской речи, собрана воедино и может служить надежным справочником. В этой связи следует иметь в виду, что сленговая лексика в наших англо-русских словарях не имеет однозначных словарных помет, что вносит определенную путаницу в понимание и без того весьма спорной категории сленга. Так, в выпущенном в 1972 г. «Большом англо-русском словаре» в двух томах под ред. проф. И. Р. Гальперина помета «сленг» отсутствует, а соответствующие лексемы приводятся под различными стилистическими рубриками.

Приложение, озаглавленное «Синонимия в английских социальных диалектах», убедительно демонстрирует, что в сфере сленга существуют широко развитые отношения синонимии. Так, например, значение «отличный, хороший, что-л. хорошее» может быть передано в сленге с помощью целого списка слов и словосочетаний, насчитывающего более 580 единиц.

Соединение в рамках одной книги всего вышеупомянутого материала делает ее полезной как в теоретическом отношении, так и в практическом плане: при изучении курса лексикологии и стилистики английского языка, в практике преподавания языка и при чтении современной английской художественной литературы.

Изучение текста книги М. М. Маковского показало, однако, известное расхождение между ее заглавием и фактическим содержанием. Назвав книгу «Ан-

глийские социальные диалекты», автор по существу не рассматривает их в совокупности, а только — сленг, отношение которого к понятию социальных диалектов является наименее бесспорным, что признает и сам М. М. Маковский, когда обращает внимание на то, что «в соответствии с общетеоретической концепцией» других авторов этот языковой материал иногда приводится в словарях не с пометой «сленг», а «под различными стилистическими рубриками» (с. 75). Такой подход означает, что данные авторы не склонны, подобно М. М. Маковскому, видеть в сленге «четко различимую языковую систему» (с. 23) и признают его лишь в рамках лексики экспрессивного просторечия в качестве определенной совокупности стилистических средств разговорной речи литературного языка [5]. Не обращаясь вновь к этой сложной и все еще дискуссионной теоретической проблеме и не отрицая за автором рецензируемой книги права на собственную интерпретацию статуса лексики английского сленга, в данном случае мы только хотели подчеркнуть, что фактический объект лингвистического анализа следовало включить в самое название книги, например: «Английские социальные диалекты. Сленг».

Представляется также, что независимо от такого специального интереса к сленгу, М. М. Маковскому следовало в начале первой главы более обстоятельно охарактеризовать совокупный состав английских социальных диалектов. Так, говоря о профессиональных диалектах, нельзя было обойти молчанием существование производственных диалектов как определенной разновидности первых. При этом в качестве средства производственного диалекта в определенных условиях может использоваться и местный территориальный диалект, что делает необходимым проблему оценки его социального статуса. Именно в этом плане была бы оправдана в тексте книги (с. 26) ссылка на В. М. Жирмунского, который указывал, что существование социальных диалектов «порождается в конечном счете классовой дифференциацией общества», имея в виду под этим роль территориального диалекта и полудиалекта в социальной среде, «употребление которых обусловлено общественной ситуацией...» [6]. Таким образом, отметим попутно, что В. М. Жирмунский использовал здесь понятие «социальный диалект» в ином контексте и с другим значением, чем то, которое в него вкладывает М. М. Маковский.

Говоря еще об одной разновидности социальных диалектов — жаргонах, автор здесь же в скобках приводит другое название — арго, ставя, тем самым, знак равенства между ними, тогда как из литературы вопроса известно, что под термин «арго» в английском языке подводятся различного рода типы кэнта, а жаргоны рассматриваются как вид фамильярной речи с пейоративностью, присущей представителям некоторых профессий и ремесел, а также групп вне профессиональных. При этом различаются так называемые

мле профессиональные и корпоративные жаргоны [5]. Подобное разграничение проводится также, например, и в немецком языке, ср.: понятие «Kontrasprachen» относительно различных видов аргы и Sondersprachen применительно к жаргонам [7].

Говоря о территориальных особенностях английского сленга, М. М. Маковский фактически рассматривает его характерные национальные черты, тогда как под территориальными следовало различать, например, шотландские или лондонские варианты британского сленга, различные территориальные особенности американского сленга и т. д.

В заключение представляется необходимым отметить, что серия учебных пособий, выпускаемая издательством «Высшая школа» для студентов-филологов, пополнилась еще одной оригинальной и интересной книгой М. М. Маковского. Содержание этой книги выходит далеко за пределы учебного пособия, поскольку автор проводит самостоятельное филологическое исследование и делает собственные общетеоретические выводы.

*Домашнев А. И.*

1. Домашнев А. И. — ВЯ, 1981, № 6. — Рец. на кн.: Маковский М. М. Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании. М., 1980.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 53, 131, 148.
3. Кузнец М. Д., Скребнев Ю. М. Стилистика английского языка. Л., 1960.
4. Маковский М. М. Пути реконструкции социальных диалектов древности. — ВЯ, 1972, № 5.
5. Хомяков В. А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1980.
6. Жирмунский В. М. Проблемы социальной диалектологии. — ИАН ОЛЯ, 1964, № 2, с. 109.
7. König W. dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. München, 1978, S. 133.

Рецензируемая работа освещает в основном один из многочисленных аспектов языковой вариативности: в ней ставится задача исследовать дифференциацию немецкого языка, характерную для коммуникативных условий ГДР.

Девять разделов монографии в полной мере раскрывают теоретические воззрения лингвистов ГДР о содержании понятия языковой вариативности, ее месте среди других лингвистических феноменов, дают представление об основных типах языковой вариативности, распространенных в этой стране, а также обуславливающих ее факторах.

В первой главе «Дифференцированность языка как содержание коммуникативного опыта» (В. Хартунг) обращается внимание на тот факт, что для социолингвистического изучения интерес представляют не все языковые явления, а только те, из которых можно почерпнуть социальную информацию, при этом исследовать их следует не как отдельные феномены, а стремиться выявить их типы, обусловленность, виды их воздействия как на язык в целом, так и на социум.

Для языковой ситуации ГДР характерны языковые различия в рамках одного языка. Анализируя их, автор выделяет два момента непосредственного коммуникативного опыта: 1) большинство носителей языка в состоянии воспринять и переработать по крайней мере определенные виды языковых вариантов; происходит это постоянно и часто неосознанно, однако процесс восприятия может совершенствоваться путем повышения внимания и активизации элементов знания; 2) при анализе языковой вариативности с социолингвистической точки зрения следует учитывать языковые явления, характерные для социальных групп или проявляющиеся в определенных социальных ситуациях, а не феномены, встречающиеся в речи только отдельных индивидов.

Особый интерес представляет проблема, поднимаемая во второй главе «Дифференцированность языка как выражение его социальности» (В. Хартунг). Автор излагает в ней свое представление о взаимоотношении языка и общества. По его мнению, разделение на языковое и социальное может быть оправдано исключительно методическими требованиями. Эта идея, представляющаяся нам весьма плодотворной, перекликается с положениями, выдвинутыми в советской социолингвистике [1]. В. Хартунг подчеркивает, что необходимо раскрыть специфику единства социального и лингвистического в социолингвистических единицах; кроме того, подчеркивается важность определения детерминирующих связей в этом единстве. Автор приходит к выводу, что доминирующим направлением детерминации является первичность социального по отношению к языковому.

В главе «Языковая вариативность и ее лингвистическое отражение» (В. Хартунг) ставится задача построить общую лингвистическую модель языковой ва-

риативности применительно к коммуникативным условиям ГДР. По мнению автора, здесь необходимо учитывать три момента: 1) формы речи, предпочтительно употребляемые носителями языка; 2) знание нормы; 3) наиболее распространенные оценки носителями языка различных форм речи. В настоящее время в целом по стране наблюдается преимущественное употребление форм речи, ориентированных на литературный язык. Однако наряду с этим в неофициальной коммуникации можно наблюдать и регионально окрашенные варианты. Чрезвычайно важным является то обстоятельство, что региональные особенности речи перестают рассматриваться в качестве своеобразных социальных маркеров и оцениваться негативно. Они все чаще воспринимаются лишь как показатель того, что общение происходит в неофициальной обстановке в противоположность официальной коммуникации, для которой характерен нормированный литературный язык. Касаясь проблемы оценки различных языковых вариантов, автор отмечает, что носители языка проявляют здесь большую терпимость.

Языковая коммуникация регулируется, с одной стороны, нормой литературного языка, с другой, более или менее отчетливо выраженными региональными нормами. При этом первая — строго кодифицирована и систематически излагается в грамматиках и словарях, вторые же — не кодифицированы и существуют как в определенной степени спонтанные манифестации некоего коллективного опыта: они ограничены как территориально, так и ситуативно.

Автор подчеркивает, что современное состояние дифференциации языка является отражением не только нынешних, но и предшествующих коммуникативных условий, и динамику ее развития можно постичь, только учитывая возможность возникновения все новых областей коммуникации.

Автор главы «Групповая деятельность и языковые дифференциации» (И. Донат) исходит из положения; согласно которому языковая коммуникация — это специфический вид деятельности, осуществляемой между обществом в целом, с одной стороны, и индивидумом, с другой. Коммуникативно-языковая деятельность всегда протекает в обществе с той или иной социально-экономической и политической организацией, и это определяет разновидности указанной деятельности. Большое внимание уделяется анализу значения социальной группы, а также свойств и функций коммуникативных событий для формирования коммуникативно-языковой деятельности. Как известно, в настоящее время широкое распространение за рубежом получило рассмотрение социолингвистических явлений с позиций теории малых групп, разработанной под влиянием идей символично-интеракционистской социологической школы, причем такой подход предлагается в качестве альтернативы подходу макросоциологическому

[2]. В этой связи исследование И. Доната, освещающее проблему с позиций марксистской методологии, представляет особый интерес. Автор приходит к выводу, что не любое коммуникативно-языковое воздействие на индивида осуществляется через группу. Кроме того, группы не являются самообособленными образованиями: они не только подвержены взаимодействию и взаимовлиянию, но также детерминируются обществом в целом. Однако группа, рассмотренная в социальном и деятельностном аспектах, играет большую роль при изучении личности, ее развития, а также путей формирования коммуникативных навыков.

В центре внимания авторов главы «Формы существования языка» (Х. Шёнфельд, Р. Папе) стоит вопрос о территориальных разновидностях немецкого языка. Под влиянием социально-экономических условий, характерных для ГДР, произошли значительные изменения в распространении различных форм существования языка. В целом по стране диалекты все больше утрачивают свои позиции, их место занимают регионально окрашенные разновидности разговорного языка. Первой формой языка, которой овладевает ребенок, уже не является диалект. Даже в тех случаях, когда родители являются носителями диалекта, из педагогических соображений они стараются говорить с ребенком на языке, по мере их возможностей приближенном к литературному. Большой вклад в распространение литературного языка вносит школа и средства массовой коммуникации. В результате всего этого знание диалекта у большинства молодежи и детей практически приближается к нулю.

В главе «Языковые дифференциации и их оценка» (М. Пайне, Х. Шёнфельд) предпринимается попытка ответить на вопрос, каким образом носители языка, принадлежащие к определенной языковой общности, воспринимают языковую систему. При этом отмечается, что данный вопрос является составной частью общей проблемы отражения в сознании объективной реальности. Языковая система воспринимается носителями языка не как абстрактная целостность: они слышат определенные языковые варианты, постигают язык в различных социальных условиях, т. е. в определенных ситуациях, в процессе всевозможных мотиваций и мыслительных операций. Каждый случай употребления того или иного варианта в конкретной ситуации влияет и на систему языка в целом. Носители языка начинают осознавать это лишь на определенной ступени изменения качества. Выбор отдельных вариантов не является произвольным, он подчиняется сложной системе социальных норм и правил. На оценку языковых вариантов носителями языка оказывают влияние многие факторы: какими формами языка владеет сам говорящий; каковы его знания нормы литературного языка; профессия; возраст; пол; место жительства.

В главе «Функционально-стилистическая теория и ее отношение к дифференцированности языка» (А. Порш) освещаются некоторые проблемы формирова-

ния функциональных стилей, уточняется терминологический аппарат стилистики, исследуются отдельные стилистические приемы, анализируются их место среди других лингвистических явлений.

Чрезвычайно значимой представляется последняя глава работы «Описание эмпирического исследования языковой вариативности» (И. Донат, Р. Папе, М. Ролофф, Х. Шёнфельд), в которой представлено очень детально и тщательно проведенное исследование, направленное на выяснение следующих вопросов: 1) связь между освоением различных знаний и использованием тех или иных форм существования языка; 2) оценка различных форм существования языка говорящими; 3) связь между коммуникативными ситуациями и употребляемыми в них вариантами языка. В качестве объекта исследования были выбраны члены сельскохозяйственного кооператива, расположенного близ Пренцлау — района, где до сих пор довольно значительное распространение имеет нижнегерманский диалект. Основным методом сбора материала была запись на магнитофонную пленку бесед информантов в различных коммуникативных ситуациях. Кроме того, проводилось анкетирование. Анализ полученных записей проводился на фонетико-фонологическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом уровнях.

В Заключении (В. Хартунг), обобщающем содержание книги, еще раз обращается внимание на то, что гетерогенность языка не является спонтанной. Она подчинена поддающимся описанию закономерностям и выполняет определенные функции. В настоящее время для языковой ситуации ГДР характерно широкое распространение литературного языка, постепенное вытеснение диалектов разговорным языком, занимающим как бы промежуточное положение между ними и литературным языком. Но при этом отмечается и возросший интерес к региональным языковым вариантам, который, однако, не должен искусственно культивироваться, как это имеет место, например, в ФРГ, Австрии и немецкоязычной части Швейцарии, где диалекты начинают использоваться даже в процессе школьного обучения и в массовой коммуникации.

На наш взгляд, несколько выпадает из общего строя работы глава «Теория языковых кодов и ее отношение к дифференцированности языка», посвященная критике теории кодов Б. Бернстайна. Теория эта подвергалась критике в научной литературе и с точки зрения ее методологических и теоретических основ, и в плане постановки проблемы и проведения эмпирического исследования.

В целом же представляемая коллективная монография написана на высоком теоретическом уровне и, несомненно, вызовет большой интерес.

*Алексеев А. А., Крючкова Т. Б.*

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Дешериев Ю. Д. Социальная лингвистика. К основам общей теории. М., 1977, с. 304—305.
2. Gumperz J. J. Language in social groups. Stanford, 1971.

Название монографии Г. В. Воронковой как нельзя лучше отражает содержание книги и вместе с тем характеризует современное состояние фонологии, многие базисные проблемы которой до сих пор не решены. Рецензируемая работа представляет собой анализ фонологического опыта, накопленного к настоящему времени представителями всех лингвистических направлений. По полноте проанализированных трудов монография Г. В. Воронковой не имеет себе равных в нашей фонологической литературе, и уже одно это свидетельствует о том, что книга должна быть интересна читателям-лингвистам.

Книга состоит из трех частей: «Фонема» (с. 5—72), «Основные направления фонологии» (с. 73—113), «Проблемы норвежской фонологии» (с. 114—125). Завершает работу обширный список цитируемой литературы (с. 126—135).

Первая часть книги, наиболее полемичная и острая, включает три раздела: 1) Лингвистическая и материальная реальность фонемы, 2) Аллофоны, 3) Дифференциальные признаки. Г. В. Воронкова избрала единый принцип анализа разнообразных концепций фонемы, а именно, анализ соотношения в фонеме лингвистического и материального, или парадигматического и синтагматического, или, шире, языкового и речевого. Актуальность дифференциации фонемы (принципиально языковой единицы) и ее «реализаций» (традиционной единиц речевой ситуации) несомненна, ибо без решения этого вопроса невозможно создать адекватную и действующую фонологическую модель языка. Расхождение фонологических проблем проводится на фоне более общих языковедческих и гносеологических вопросов, что определяет методологическую значимость данной работы.

Как показано в книге, понятие фонемы — краеугольного камня фонологии — зародилось еще в древности, но впервые получило научное толкование в работах И. А. Бодуэна де Куртене и Л. В. Щербы, сформулировано в рамках общей теории Н. С. Трубецкого и видоизменялось в различных лингвистических школах, как советских, так и зарубежных. Автор показывает, что большая часть лингвистов, по-разному интерпретируя фонему и пытаясь противопоставить ее звуку, тем не менее идентифицирует ее со звуком. Корни противоречивости концепций такого рода лежат в конечном счете в неотчетливости представлений о функционировании фонемы в синтагматическом и парадигматическом планах языка. И. А. Бодуэн де Куртене отделял звук как фонацию или произносительную единицу от фонемы — языковой единицы, которую он считал психическим эквивалентом звука. Таким образом, он, а также его последователи и единомышленники (Н. В. Крушевский, представители пражского структурализма на раннем этапе их исследований, Э. Сепир и др.) подменяли автономный лингвистический план языка психологическим планом восприятия речи. Фонему пови-

мали так же, как звук, выполняющий различительную функцию (Э. С. Харрис, Ч. Ф. Хоккет, К. Л. Пайк и др.), как класс звуков (Д. Джоунз), как абстрактную звуковую единицу, представленную в виде пучка дифференциальных признаков (Н. С. Трубецкой) и т. д. В рецензируемой работе показано, что почти все концепции фонемы (в том числе и те, авторы которых учитывают значение и функцию) могут быть подвергнуты критике именно за смешение речевого и языкового уровней.

Г. В. Воронкова указывает также на необходимость различать понятие фонемы и фонему как реальную лингвистическую единицу (с. 37—38). Лингвистическое содержание фонемы не является суммой реализаций этой фонемы в речи; фонема функциональна «не как непосредственно наблюдаемая материальная реальность, а как структура, обнаруживаемая в функционировании этой реальности, наблюдаемая только опосредствованно» (с. 38).

Наиболее серьезной критике подвергается понятие фонемы как пучка дифференциальных признаков (ДП), введенное Н. С. Трубецким<sup>1</sup>. Как следует из материала, изложенного в книге, неубедительность концепции фонемы как пучка дискретных ДП заключается в следующем. Признаки выводятся из оппозиций, которые не могут быть известны, если не известно фонологическое содержание фонемы, однако фонологическое содержание фонемы сводится как раз к этим оппозициям. Таким образом, возникает замкнутый круг. Кроме того, при определении элементов пучка противопоставляются исключительно оппозиции коррелятивных фонем, между тем как фонемы, не имеющие коррелятов, не могут, видимо, иметь признаков, поскольку последние не выделены с помощью предлагаемой процедуры. Такие фонемы оказываются лишенными всякого фонологического содержания. Наконец, фонема должна противопоставляться сразу всем фонемам языка, а не быть рядом последовательных выборов из двух возможностей. По мнению Г. В. Воронковой, трактовку фонемы как пучка ДП довел до логического конца Р. Якобсон. Отмечаемые им признаки фонем не выводятся из оппозиций, а оппозиции подбираются так, что признаки сводятся к минимальному числу пар. Полученные таким образом ДП объявляются универсальными для всех языков, лишаясь тем самым конкретного языкового содержания и превращаясь всего лишь в удобный способ описания.

Вопрос о ДП не напрасно ставится в в книге так остро: многие фонологи, пользуясь понятием признака, принимают его безоговорочно, не задумываясь

<sup>1</sup> Г. В. Воронкова не впервые излагает свое отношение к данной концепции фонемы. Подробная критика ее недостатков представлена в [1], вызвавшей оживленную дискуссию среди фонологов (ср. также [2]).

над его сущностью. Критический анализ ДП, данный Г. В. Воронковой, показывает, что теория ДП нуждается в серьезной корректировке.

Слабые стороны теории фонемы как пучка ДП становятся особенно очевидными, когда она применяется в диахронической фонологии. Автор рецензируемой работы считает неслучайным, что Н. С. Трубецкой не разработал теории применения ДП в диахронии<sup>2</sup>. При описании диахронических процессов только как смены пучков ДП не может быть отражен весь механизм фонологических изменений. За бортом остается целый ряд важных моментов (в частности, изменение дистрибуции фонем, переходные этапы, фонологизация аллофонов и т. п.). В терминах одних ДП нельзя описать изменение фонологического содержания даже одной фонемы, ибо оно предполагает изменение сложнейшего механизма связей всей системы. Г. В. Воронкова критически относится к стремлению фонологов-диахронистов свести историю звуковых изменений к нарушению или восстановлению «симметрии» в системе (или структуре) фонем, объяснить звуковые изменения различного рода формальными факторами, стремлением к экономии, равновесию (ср. работы А. Мартине и многих его последователей). При таком подходе к реконструкции диахронических процессов фактор субъективности становится решающим, поскольку сторонники теории фонемы как пучка ДП могут конструировать пучок весьма произвольно.

Вместе с тем Г. В. Воронкова ни в коем случае не отрицает существования системности в языке, но считает, что это «гораздо более сложная системность, чем та, которая подразумевается под ДП, клетками, кубиками, матрицами...» и пр. (с. 74). Возведение ДП в абсолют приводит в диахронической фонологии к схематизму, упрощению, а порой и к искажению исторического процесса.

Со справедливостью такого вывода нельзя не согласиться. Накопленный багаж диахронических исследований создает картину строго детерминированного развития, где каждое изменение имеет причину, обусловленную положением исследуемого элемента в системе. Однако тот системный подход, который был вполне оправдан на определенном этапе развития диахронической фонологии, требует в настоящее время значительной модификации. В последнее время у фонологов, как советских, так и зарубежных, появился повышенный интерес к исследованию различных вариантов языка, в особенности диалектов, чему в немалой мере способствует развитие социалингви-

<sup>2</sup> Такое предположение автора, хотя и согласуется с общим ходом рассуждений, но не аргументируется. Теория ДП создавалась Н. С. Трубецким на синхронном материале и была окончательно сформулирована в «Основах фонологии» [3], книге, изданной лишь после смерти автора. Не исключена возможность, что Н. С. Трубецкой просто не успел вернуться к диахронии, с которой он начал свой путь в фонологии.

стики. Извлеченный при этом новый обширный материал не только не укладывается в прокрустово ложе систем и схем, но порой полностью разрушает их. Именно сейчас необходимы новые интерпретации и объяснения исторических явлений, что позволило бы совместить старые знания с новым опытом. В связи с этим представляется актуальным предложение Г. В. Воронковой сконцентрировать внимание на «реконструкции аллофонов и анализе их функционирования для установления механизмов диахронических изменений и вскрытия причин этих изменений» (с. 72).

Если в разделе «Дифференциальные признаки» дается, в основном, критический анализ существующих концепций, то в разделе «Аллофоны» отражена также позитивная программа автора. Проблема аллофона логически и неизбежно встает при исследовании соотношения физического и лингвистического в фонеме. Г. В. Воронкова вполне обоснованно считает, что роль аллофонов в фонологических моделях явно недооценивалась. В книге показаны отдельные попытки определения фонологического статуса аллофонов (У. Ф. Туоделл, А. Мартине, Р. Якобсон, Н. С. Трубецкой, Б. Трика и др.). Сюда относятся и попытки исключить аллофоны из фонологического анализа (Х. Пильх, Л. Ельмслев), что, впрочем, тоже можно считать решением вопроса о статусе аллофонов, только в негативном плане. В большинстве существующих теорий аллофон является «реализацией фонемы, ее физическим коррелятом в речи, т. е. исключительно... материально-субстантной реальностью» (с. 43), однако есть и другие теории, согласно которым аллофон — это единица языка (Л. Р. Зиндер, Ю. С. Маслов).

Решение вопроса о лингвистической значимости аллофона Г. В. Воронкова тесно связывает с проблемой дискретности языковых элементов, которую она, как и другие проблемы, рассматривает исторически, показывая развитие и преемственность концепций. Автор показывает, что, считая аллофон звуковой единицей, невозможно выделить его из материально-субстантного континуума: «Выделить дискретную единицу плана выражения (будь то аллофон, или фонема), не используя семантического критерия, представляется... совершенно невозможным. Ведь использование семантического критерия обязательно предполагает так называемую „парадигматическую“ оппозицию значимых элементов» (с. 44). В трактовке аллофона Г. В. Воронкова следует положению, выдвинутому Л. Р. Зиндером, согласно которому аллофон рассматривается как «зародыш» фонемы и как единица языка. Однако в книге проблема аллофона ставится шире, в ней поднимается вопрос о роли аллофонов в языке, о функциональном соотношении фонемы и аллофона, о месте аллофона в системе языка.

Эти проблемы Г. В. Воронкова решает с помощью предлагаемой ею модели «фонема-аллофон», которая направлена на преодоление противоречий, связанных с нечеткой дистрибуцией дискретных единиц в языке и речи. План выражения язы-

ка представляется в виде трех связанных между собой плоскостей фонологической системы: 1) парадигматической, где происходит дискретизация фонемы в множественном противопоставлении всем другим фонемам; 2) плоскости бинарных противопоставлений, или интеруровня, где аллофоны противопоставлены друг другу попарно; 3) синтагматической, где фонема и аллофон представляют последовательности, дающие значимые единицы языка. «Аллофон является, таким образом, как бы результатом дискретизации, полученным на базе бинарных оппозиций значимых элементов языка, минимально различающихся между собой, и имеет однозначную материальную выраженность, тогда как фонема является результатом окончательной дискретизации, полученным на базе множественных противопоставлений значимых элементов языка, и имеет множественную материальную выраженность, в частности, в виде аллофонов, каждый из которых противопоставлен другому аллофону другой фонемы этой же системы» (с. 51). Эта интересная концепция, однако, изложена очень кратко и в таком виде оставляет без ответа некоторые важные вопросы, в частности, процедуру вычисления фонем.

Вторая часть книги «Основные направления фонологии» (с. 73—113) отличается от существующих обзоров такого рода тем, что автор не ставит целью дать исчерпывающую характеристику каждого направления. Наиболее важные концепции и традиции каждой школы, касающиеся базисных проблем фонологии, подробно и всесторонне проанализированы в первой части. Во второй части суммированы сведения о различных фонологических направлениях: пражском, американском и копенгагенском структурализме, просодической школе, генеративной и стратификационной фонологии, московской и ленинградской фонологических школах. Здесь также описаны точки зрения фонологов разных направлений относительно места фонологии среди лингвистических наук, взаимосвязи фонетического и фонологического уровней, в частности, воззрения Н. С. Трубецкого, А. В. де Грота, А. Мартине, Б. Трнки, М. Граммона, Э. Фишер-Ергенсен, Р. Якобсона, М. Халле, Л. Блумфильда, Дж. Трейгера, М. Сводеша, Б. Л. Уорфа, Я. Ф. Хоккета, Д. Джоунза, Дж. Р. Фёрса, Н. Хомского, С. М. Лэма, С. И. Бернштейна, А. А. Реформатского, П. С. Кузнецова, Л. Р. Зиндера.

Вопрос о взаимоотношении фонетиче-

ского и фонологического уровней не потерял своей практической актуальности до сих пор, ибо в новейших, в том числе отечественных описаниях звукового строя национальных языков фонетические описания не всегда мотивированно дифференцируются с фонологическими. Например, в «Русской грамматике» аспекты Фонология и Фонетика даны отдельно. В рецензии на эту книгу В. Н. Ярцева отмечает это обстоятельство, а также то, что в книге «нигде не охарактеризовано отношение фонологии к фонетике в целом» [4]. В монографии Г. В. Воронковой нет эксплицитного ответа на вопрос о взаимосвязи фонетики и фонологии, однако из общемонологической концепции автора монографии следует, что так называемые фонетические реализации — это ступень фонологической модели и что оба аспекта (фонетика и фонология) могли бы рассматриваться как один фонологический аспект.

В третьей части книги Г. В. Воронкова иллюстрирует ряд выдвинутых ею положений на материале норвежского языка и норвежских диалектов. В этом разделе поднимается вопрос о неправомерности использования ДП для синхронного описания звукового строя норвежского языка и особенно для описания диалектов, а также вопрос о фонологическом содержании фонем норвежского языка.

В целом книга является образцом тщательного, компактного, логически построенного анализа. Автор «Проблем фонологии с уважением отдает должное заслуга» лингвистов и вместе с тем серьезно и обоснованно критикует их концепции, привлекая на свет самые завуалированные положения и демонстрируя их истинную сущность. Написанная интересно, порою остроумно, книга может стать справочником и для молодых фонологов и для тех, кто не впервые углубляется в сложнейшие вопросы теории фонемы.

Мячинская Э. И.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Воронкова Г. В., *Стеблин-Каменский М. И.* — Фонема — пучок РП? — ВЯ, 1970, № 6.
2. *Voronkova G. V., Steblin-Kamenskij M. I.* The phoneme — a bundle of DF? — *Linguistics*, 1975, № 146.
3. *Trubetzkoy N. S.* Grundzüge der Phonetik. Prague, 1939.
4. Ярцева В. Н. — ВЯ, 1982, № 2. — Рец. на кн.: Русская грамматика. I—II. М., 1980.

## НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

## ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

13—16 апреля 1982 г. в Ленинграде состоялся симпозиум по лингвистическим проблемам искусственного интеллекта. Организаторы симпозиума — Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена и научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова. В центре внимания участников симпозиума стояли проблемы инженерной лингвистики: конструирование лингвистических автоматов, формализация процесса понимания речи, преодоление барьера между человеком и машиной. Доклады и сообщения рассматривались на четырех секциях, отражающих основные направления работ: общие исследования, распознавание смысла, информационное обеспечение и реализация диалога. Во вступительном слове Р. Г. П и о т р о в с к и й (Ленинград) охарактеризовал современное состояние разработок и выразил уверенность, что развитие естественных языковых интеллектуальных систем не воспрепятствуют открывшиеся парадоксы. Основным парадоксом инженерной лингвистики было названо противоречие между континуальной природой языковых единиц и дискретностью, четкостью всякой формализации. Свою точку зрения на природу и способы преодоления трудностей в создании лингвистического автомата выразили Л. Л. Н е л ю б и н (Москва), Ю. И. Г о р б у н о в (Махачкала), А. И. И о н о в (Москва).

На первой секции — «Семантика и искусственный интеллект» — рассматривались теоретические проблемы. В докладе П. М. А л е к с е в а (Ленинград) ставился вопрос о том, в какой степени текст является знаком. Докладчик исходил из предположения, согласно которому существует предел сложности знака. В качестве коррелята знаковой единицы была выбрана рекуррентность (воспроизводимость). В. В. Б о г д а н о в (Ленинград) в своем докладе провел анализ содержательных понятий современной семантики. Была прослежена эволюция идеи Потебни о «ближайшем» и «дальнейшем» значении слова. Доклад И. Н. Г о р е л о в а (Магнитогорск) был посвящен вопросу о пределах языкового мышления. Показано, что лингвистический процессор системы (например, интегрального робота) не может одновременно служить универсальным логическим решателем. Вербальное и невербальное мышление взаимно дополняют друг друга, и моделировать их может система «персептрон — фрейм — язык».

Вторая секция называлась «Автоматическая переработка текста и искусственный интеллект». Р. Г. П и о т р о в с к и й проанализировал этапы развития машинного перевода в нашей стране, и в частности эволюцию семантических алгоритмов. Основным фактором, задерживающим создание работоспособных систем и семантических анализаторов, является то, что модель перевода становится рано или поздно сложнее самого объекта. Избежать этого можно только при условии строгого соблюдения принципов модульности и уровневого строения. Результаты, полученные всесоюзной группой «Статистика речи», в частности, французско-русский перевод патентов, свидетельствуют о плодотворности применения этих принципов. В докладе Л. Н. Б е л я е в о й (Ленинград) подробно описывалось уровневое строение лингвистической информационной базы. Эта база является универсальной как по тематическому охвату, так и по возможным способам использования (машинный перевод, автоматическое индексирование и реферирование, диалоговые и обучающие системы). Типовой единицей базы является слово, и была поставлена задача наиболее полного описания этой единицы. Одна из основных проблем машинного перевода — снятие омонимии — обсуждалась в докладе Ю. Н. К о н д р а т ь е в о й (Ленинград). При анализе глагольно-именных сочетаний предложено брать за основу дистрибуцию многозначного глагола и различать семантическую (обычно при конкретном существительном) и дополнительную (при абстрактном) функции глагола. Система автоматического индексирования фактографической информации была описана в докладе Е. А. Р у д н е в а (Москва). Х. А. А р з и к у л о в (Самарканд) подчеркнул, что следует всячески приветствовать инициативу Казанского завода ЭВМ относительно выпуска машин с лингвистическим обеспечением.

На третьей секции рассматривались доклады и сообщения по банкам данных в системах искусственного интеллекта. С докладом о структуре терминологического банка данных выступил А. С. Г е р д (Ленинград). Массив лингвистических данных можно рассматривать в двух аспектах — и как толковый словарь на новых носителях, и как автоматизированную информационную систему. Автор доклада подчеркнул, что наиболее сложным является вопрос о проектировании такой информационной системы и способах ее организации. И. П. П а н к о в (Ленин-

град) предложил оригинальную модель представления знаний в системах типа «вопрос-ответ». Е. А. Соловьева (Харьков) выделила некоторые наиболее общие семантические признаки глаголов русского языка, которые можно представить словообразовательными морфемами.

Четвертая секция обсуждала вопросы человеко-машинного диалога. В докладе В. О. Чулкова (Москва) описан программный комплекс для обработки графических документов. Семантические понятия (денотат, десигнат, концепт, имя) применены к смысловому анализу чертежей. Т. Б. Андрусенко и Н. Н. Чемерис (Киев) показали, как сравнительно простые приемы интерпретации обеспечивают легкость общения с информационной базой «Студент» и предоставляют пользователю полную свободу в выборе формы запросов.

Не выделялись в отдельную секцию, но представляли самостоятельный интерес доклады психологов и медиков. А. М. Хон (Ленинград) исследовала процесс

постредактирования в системах машинного перевода. Ю. В. Яценко (Ленинград) сообщил опыт принятия медицинских решений в автоматизированной системе массового обследования. Лингвистические функции правого и левого полушарий мозга, дифференцированные с помощью словесного тестирования больных, были описаны в докладе В. Р. Пиотровской (Ленинград). А. И. Раев (Ленинград) показал, как влияет способ вербализации на эффективность решения, в частности, для задачи обучения грамматике.

В работе секций приняли участие около 150 языковедов, кибернетиков и психологов. Результаты симпозиума говорят прежде всего о том, что дискуссии о сущности искусственного интеллекта и его лингвистических аспектов уступили место практическим разработкам реальных и полезных систем.

*Любич Д. В. (Ленинград)*

## CONTENTS

**Articles:** P a n f i l o v V. Z. (Moscow). Karl Marx and the principal problems of contemporary linguistics; J a r c e v a V. N. (Moscow). Variability and interrelation of different levels of grammatical structure; M i x a i l o v s k a j a N. G. (Moscow). Theoretical and practical study of Russian used as a means of communication between the peoples of the USSR; **Discussions:** A d m o n i V. G. (Leningrad). The zero copula, auxiliary verbs and grammar of dependencies; S p i v a k D. L. (Leningrad). The study of language in artificially induced altered states of consciousness; G v e n c a d z e C. A. (Tbilisi). Constancy and variability of phonotactic elements; F a i z o v M. (Dushanbe). The qualitative characteristics of vowels in modern literary Tadjik; L o k s h t a n o v a L. M. (Moscow). On the structure of the grammatical category of mood in Danish language; **Materials and notes:** A l p a t o v V. M. (Moscow). On typological characteristics of Ainu; K j a m i l e v S. X. (Moscow), M e l ' n i k o v G. P. (Moscow). The problem of minimal sense-distinctive and significative units in Semitic languages; F e d o r o v a L. L. (Moscow). Two reference strata in a dialogue; G r i n a v e c k i s V. L. (Vilnius). On the development of vocalism in Lithuanian dialects; **Surveys; Reviews.**

## SOMMAIRE

**Articles:** P a n f i l o v V. Z. (Moscou). Karl Marx et problèmes principaux de linguistique contemporaine; J a r c e v a V. N. (Moscou). Variabilité et corrélation des différents niveaux de structure grammaticale; M i x a j l o v s k a j a N. G. (Moscou). Sur les tâches théoriques et pratiques de l'étude du russe en tant que moyen de communication entre peuples de l'URSS; **Discussions:** A d m o n i V. G. (Léningrad). Copule zéro, verbes auxiliaires et grammaire des dépendances; S p i v a k D. L. (Léningrad). Etude de la langue dans l'état de l'inconscience artificielle; G v e n c a d z e C. A. (Tbilissi). Constance et variabilité des éléments phonotactiques; F a i z o v M. (Douchanbé). Caractéristiques qualitatives des voyelles en tadjik littéraire contemporain; L o k s t a n o v a L. M. (Moscou). Sur la structure de la catégorie grammaticale du mode en danois. **Matériaux et notices:** A l p a t o v V. M. (Moscou). Caractéristiques typologiques de l'aïnou; K j a m i l e v S. X. (Moscou), M e l ' n i k o v G. P. (Moscou). Unités significatives minimales dans les langues sémitiques; F e d o r o v a L. L. Sur deux plans de référence du dialogue. G r i n a v e c k i s V. Z. (Vilnius). Problèmes historiques du vocalisme des dialectes lituaniens; **Revue; Comptes rendus.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.06.83 Подписано к печати 13.09.83 Т-15858 Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>  
 Высокая печать Усл. печ. л. 12,6 Усл. кр.-отт. 75,9 тыс. Уч.-изд. л. 14,5 Бум. л. 4,5  
 Тираж 5944 экз. Зак. 2945

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

• 2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский, пер., 10